$C \cdot \frac{64}{28}$

ЦВѣТЫ ЗЕМЛИ и НЕБА. БОЛЬНИЧНЫЙ ДЕНЬ. В О Л Н А.

Драматическія сцены въ 4-хъдѣйствіяхъ. Къпредставленію цензурой дозволено 28 ноября 1907 года, за № 700.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО "СОВРЕМЕННЫЯ ПРОВЛЕМЫ".

МОСКВА-1912 г.

ордена Ленина БИБЛЕСТЕКА СОСР им. В. И. ЛЕНИ IA У5735-У7

Тинографія

Небрежно и наскоро онъ осматривалъ больного ребенка и поспъшно бормоталь:

— Э-э!.. все это пройдеть. Кормите киселемъ изъ разныхъ ягодъ; кипятите сливки съ водой, какъ я уже говориль. Яицъ—ни-ни! Куриный бульонъ—безполезенъ. Не закармливайте, а то—ишь, какой скелеть,—не вынесеть и умретъ отъ кроваваго поноса... Ну, тамъ... Гм... Соленыя ванны... Ну, известковая вода... Ну, вотъ!..

Видя, что мать больной крошки, какъ будто бы не понимаеть, что визитъ кончень, онъ заставилъ себя еще на нъсколько словъ вниманія:

— A ну-ка покажите головку ребенка. Мать показала.

Олъ мимолетнымъ взглядомъ скользнулъ по головъ, потомъ, не глядя на голову, провелъ по ней ладонью руки и, милостиво изрекъ:

— Ну, голова—кръпышъ съ мозгомъ. Идите и спите спокойно: такая выживетъ!

Мать натянуто улыбнулась. Эготъ совътъ кормить киселемъ изъ разныхъ ягодь, сливками съ

водой, дёлать соленыя ванны и поить известковой водой—она слышала отъ врача уже въ шестой разъ и все въ однихъ и тёхъ же выраженіяхъ, а ребенку становилось все хуже и хуже, чего врачъ какъ будто бы совсёмъ не замёчалъ. Уже мёсяца два она начала сомнёваться въ правильности леченія, но ни разу не рёшилась этого высказать, теперь же, когда ей еще добавили, что можно "спать спокойно"—она не выдержала:

— Докторъ, а не будете ли вы добры, послушать у ребенка легкія: у него тамъ отчего то хрипы. Такъ же и я... Вы говорите, что у меня только простое переутомленіе, а у меня по ночамъ испарины, сорока-градусный жаръ, за послъдніе дни появилось кровохарканіе. Я сама начинаю понимать...

Тупыми, давно переставшими видъть человъческое страданіе, глазами врачъ взглянулъ на больную женщину и на ея ребенка и раздраженно заговорилъ:

— Нечего мив вашего ребенка слушать. Слава Богу, практика за плечами не маленькая: съ одного взгляда, сударыня, вижу, чвмъ больной болень! Говорять вамъ—у ребенка только бронхить и рахить. Пройдеть рахить—пройдеть и бронхить. Воть и все! А у васъ... кревохарканіе, говорите, появилось, испарины? Гм... значить врачу изволите намекать, что у васъ не переутомленіе, а туберкулезъ легкихъ? Но намекать нечего. Если кровохарканіе—ясно: надо вхать на югъ,

въ Крымъ! Вы сами это должны знать. Слава Богу, уже не дъвочка! Воть и все.

Паціенткъ хотълось крикнуть, что это не все, что гдв же быль врачь раньше, что настолько запоздавшій совъть — издъвательство, но взглянула она на врача и промолчала. Онъ ей показался невыразимо противенъ и жалокъ. Страшно ожиръвшій — до тяжелой одышки, до зловъщей багровой краски, которая обильно заливала не только его лицо и шею, но даже и лысую голову -онъ быль тымь врачемь, которому нужно было лечить не больныхъ, а себя. Человъкъ, нажившій практикой милліонное состояніе, съ мучительнымъ трудомъ принуждавшій свое тёло къ движеніямъ-онъ стоялъ передъ бъдно одътой паціенткой въ злобъ и огчаяніи. То смотрълъ на ея руки,когда же она, наконецъ. догадается, что визитъ конченъ, что надо за визитъ платить и уходить, то поглядываль на дверь кабинета: тамъ, въ пріемной, такая масса паціентовъ и, если каждый паціенть будеть его настолько задерживатьсколько онъ можетъ принять? Онъ видълъ, что больная женщина спъшитъ кое-какъ закутать въ одъяло своего больного ребенка-и все-таки не выдержалъ:

 Сударыня, имъйте ввиду, что вы у меня не одна. Моей помощи ждуть десятки людей!

Паціентка дала ему за визить и тронулась съ полураздётымъ ребенкомъ къ двери. Онъ со злобой скомкалъ трехрублевку и сунулъ ее въ карманъ; паціентка была еще въ дверяхъ, а онъ черезъ ея голову, жаднымъ взглядомъ высматривая, что за публика пришла къ нему, хрипло выкрикивалъ:

— Слъдующій, пожалуйте! Прошу по очереди.

У меня привиллегій не бываетъ!

Черезъ полчаса больная женщина съ больнымъ ребенкомъ была у другого врача. Тотъ осмотрълъ мать и ребенка тщательно, выспросилъ, кто и чъмъ пользовалъ—и возмутился:

— Я, на вашемъ мъсть, такого негодяя привлекъ бы къ суду! У ребенка давнымъ-давно туберкулезълегкихъ, а онъ его все еще лечитъ отъ рахита. У васъ туберкулезъ, который вы, не будучи предупреждены, тоже захватили отъ своего ребенка. На югъ вамъ съ ребенкомъ... Немедленно! Въ Крымъ Тамъ, можетъ быть, еще спасетесь. А его, эту зажиръвшую свинью, подъ судъ! Честное слово. Ради общественныхъ интересовъ вы не должны оставлять этого дъла безъ огласки. Подумать только: человъкъ больныхъ не лечитъ, а въ гробъ вгоняетъ, а больные къ нему валомъ валятъ только потому, что когда-то онъ былъ дъйствительно врачомъ. Но то время давно прошло! Зажирълъ, оскотинълъ, обнаглълъ...

Больная ушла отъ врача, не дослушавъ его. Ей было не до судовъ. Весь міръ для нея сосредоточился въ ея больномъ ребенкъ, и мысль, что его скоро не будетъ, создавала ей то страшное чувство пустоты, въ которой люди не чувствуютъ себя. Что и сама она въ опасности, что она идетъ, дви-

жется, заполняеть собою извъстное пространство
—ничего этого для нея не существовало, кромъ
маленькаго тъльца.

Она шла машинально, не видя никого и ничего, ибо, плакала широко раскрытыми глазами.

Когда пришла домой, какъ сквозь туманъ видъла, что ея мужъ ходить изъ угла въ уголъ по комнатъ, что голова его низко опущена, спина согнута, какъ у очень стараго сгарика.

Онъ подошель къ ней и положилъ свою руку на ея голову.

— Въра, ты *макъ* плачешь, какъ никогда. Значить, наше положение ужъ такъ плохо? Но знаешь-ли, Въра: жизнь такихъ слезъ, пожалуй, и не стоить...

Она еще не поняла смысла его словъ, но прикосновение его руки, звукъ любимаго голоса дали ей силу отчаяния. Кръпко она вцъпилась объими руками въ его руку и сказала, какъ въ бреду:

— У меня и у Нади—туберкулезъ легкихъ! На югъ... въ Крымъ... немедленно! Тамъ еще, можетъ быть, можно спастись. Надо спастись! Пусть умретъ Надя, но ты, у меня еще остаешься ты. Намъ есть еще за что бороться.

Потомъ встала.

— Я иду.

Онъ спросилъ:

— Куда?

— Добывать денегъ. У меня тутъ по гимназіи есть одна подруга. Очень богатая.

У него еще ниже опустилась голова.

Въра все еще плакала, но не тъми уже ослъпляющими слезами—сквозь эти слезы она видъла, что гордый профиль мужа искаженъ болью за то, что ей приходится къ кому-то итти и унижаться.

Она подошла къ нему и поцъловала его въ

— Милый Чаевъ, не унывайте! Вы только что сказали, что жизнь иногда не стоитъ иныхъ слезъ, я вамъ въ свою очередь скажу: люди иногда не стоятъ иного страданія. Милый Чаевъ, когда вы научитесь пользоваться людьми, когда это крайне необходимо, презирая ихъ? Большаго они не достойны.

Онъ отмахнулся рукой:

- Кажется, никогда.
- Напрасно. Ну, я иду.

Еще разъ поцьловала Въра въ лобъ мужа, наскоро умылась и исчезла. Чаевъ присълъ было къ столу, но забезпокоился ребенокъ и онъ взялъ его изъ коляски на руки, ходилъ съ нимъ изъ угла въ уголъ по комнатъ въ той безысходной мукъ, гдъ нътъ ни предъла, ни отзвука, ни просвъта – есть неумолимо—ясное только одно: жертвы принесены!

Его точило предчувствіе, что ни ребенку, ни женъ не поправиться.

Съ четверть часа ребенокъ лежалъ у него на рукахъ безъ движеній, съ закрытыми глазами, поражая худобою своего личика — той худобою,

которая таитъ въ себъ уже неподвижность смерти. Потомъ въки глазъ малютки съ мучительной натугой поднялись, изъ маленькихъ устъ вырвался подавленный стонъ, а личико исказилось гримасой боли.

"Начинается" — съ ужасомъ подумалъ Чаевъ, зная уже, что если съ вечера ребенокъ начинаеть безпокоиться, значить ему во всю ночь будеть очень плохо. И разбитымъ голосомъ, гдъ ничего не было, кромъ скорби и остраго отчаянія, онъ, поддълываясь подъ дътскій лецетъ, залепеталь.

— Больно, Надюша? да? Но ничего, потерпи. Можеть быть, все пройдеть и ты увидишь... ты увидишь, Надюша, такихъ чудесныхъ птиць. Воть есть такая огромная-огромная птица—страусомъ называется. На него, Надюша, можно сесть и повхать, какъ на лошадкъ. Онъ, Надюша, бъгаетъ такъ—не догонишь! Или вотъ есть такая невъроятная, сказочная птичка: колибри. Вся-то она, Надюша, съ твой ноготокъ! Такъ прекрасенъ Божій міръ, Надюша. Въ немъ много такихъ дивныхъ цвътовъ...

При первыхъ словахъ отца на лицъ малютки было выразилось вниманіе, а дальше—она опять начала стонать.

Когда-то она, жадно упиваясь голосомъ отца, — тогда такимъ еще бодрымъ и радостнымъ, — игрой его лица и глазъ, могла безконечно слушать о цвътахъ и птицахъ; когда-то она на вопросъ—

какова колибри?—могла показать свой ноготокъ, а величину страуса представить широко разведенными рученками,—но то уже все минуло.

Ръчь о цвътахъ и птицахъ начинала раздражать и, страданіе маленькой крошки въ силахъ было прислушиваться только къ голосу страданія. Высказывали въ лепетъ съ ней отецъ и мать свои затаенныя, робкія надежды, что "Надюшу они отвоюють", или, падая духомъ, говорили, что "О Надюшъ стараются, а она не хочетъ поправляться" — такой горькій лепетъ заставляль ее замолкать, нагонялъ на ея личико, ту степень приподнятаго муками раздумья, гдъ кричитъ жуть глубины. Стоны ребенка перешли въ плачъ. Слышать эти надорванные сградальческіе крики, видъть какъ лицо маленькаго существа искажается отъ какой-то внутренней боли — сегодня Чаеву было особенно непереносимо.

ганьше, когда была надежда, что ребенокъ выживетъ, онъ находилъ въ себъ необходимыя самообладаніе и териъніе; но со дня, когда эта надежда начала исчезать—у него все чаще и чаще мутилось сознаніе. Онъ забывалъ, что все въ міръ подвержено однимъ и тъмъ же неизмъннымъ законамъ и въ страданіи своей малютки видълъ безсмысленную жестокость. Вслухъ этого никогда еще не высказывалъ—боялся пугать жену. Теперь жены не было и онъ не выдержалъ. Съ бъщенымъ отчаяніемъ, гдъ и мольба и бунтъ, бормоталъ:

— Боже мой! Кому это нужно? За что? Къ чему такія муки? Гдъ же туть милосердіе? Ну, если нужны жертвы не только въ лицъ взрослыхъ, но и въ лицъ дътей—рази дътей, но безъ излишней жестокости. При чемъ дъти? Они чисты и невинны. Къ чему такая агонія?

Изъ глубины души въ немъ поднималось нѣчто, что дерзко готово бы было принять ударъ на себя, лишь быне видъть, что за страданіе розлито на землъ.

Потомъ это состояніе минуло—пришло другое: смиренія и просвътльнія. Оно приходило къ Чаеву уже не разъ, но отъ этого ему было не легче. Оно давило его, какъ камень, о которомъ заикнуться нельзя и, теперь при мысли, что жены нътъ дома, что его никто не услышить, кромъ его больной малютки, на его лицъ мелькнула радость, почти безумнаго.

Въ комнату уже мягко лѣзли сумерки, и страшенъ былъ въ этихъ сумеркахъ этотъ человѣкъ съ зелено-сѣрымъ лицомъ, со страшной усталостью волочившій за собою ноги, качавшійся на ходу такъ, что вотъ-вотъ онъ упадетъ.

Онъ ходилъ и говорилъ, мѣшая свои слова съ илачемъ ребенка, говорилъ съ тѣмъ нестериимымъ трепетомъ боли, когда великая любовь кричитъ о своихъ великихъ утратахъ:

— Тебѣ больно, Надюша? да? Ты умираешь? Пусть. Это, можетъ быть, къ лучшему: долго жить еще больнъе. Вотъ, Надюша, жизнь: нѣтъ

никого у меня ближе, какъ твоя мама и нътъ у твоей мамы никого ближе, какъ я, но мы молчимъ, мы боимся говорить другъ-другу о томъ, что насъ страшить. Ужасъ придвинулъ къ намъ вплотную свое лицо, и мы молчимъ о немъ, дабы не пугать другъ-друга. Жизнь, Надюша, это безумный крикъ того задавленнаго страха, который мы не боимся выдать только передъ Богомъ да передъ младенцемъ, ибо знаемъ, что Тотъ и другой нашу тайну сохранять въ тайнв. Жизнь, Надюща-вырвется изъ твоего маленькаго тельца послъдній вздохъ, умреть за тобою твоя мама и, если послѣ этого я останусь жить поди будутъ думать, что я нъмъ и неподвиженъ, замкнутъ и колоденъ болъе, чъмъ слъдуетъ, а я... Надюща, какъ нестериимо представлять себъ, что тотъ міръ, отъ котораго ты таился, которому ни звукомъ, ни взглядомъ не хотълъ выдать своего страданія, вдругъ увидить въ тебъ лишняго безумца съ силой отчаянія взметывающаго руки въ пространство и незамъчающаго, что крики его души имъютъ единственнаго слушателя-пустоту! Пустоту, Надюша. То нъчто, чего такъ смертельно боится человъкъ, передъ чъмъ въчно трепещетъ. Вотъ жизнь, Надюша: молчать и копить въ себъ сокровища мысли и чувства-и все, можетъ быть, только для того, что бы бросить ихъ въ пустоту и услышать отъ толпы: онъ безуменъ! Отъ той толпы, которая съ одной стороны-образъ и подобіе Божіе, съ другой-чудовище, творецъ всвиъ

несчастій на земль. Жизнь, Надюша, это безчисленныя стада сльпыхь животныхь и великов горе вь этихь стадахь рылкимь особямь—зрячему человьку: зрячій идеть и смотрить, какъ бы кого хоть слегка не зальть, а стыцы пруть и давять и слыцовь и зрячихь. Жизнь, Надюща, это мірь задыхающійся оть преступленій и страданій, мірь, глы ныть виноватыхь, ибодевятьсоть девяносто девять изъ тысячи не имыють права въ немь называться людьми. Жизнь, Надюща, это кошмарь: что въ немь на первый взглядь кажется просто—то таить за своей простотой большую сложность, а что кажется сложно—то поражаеть своей простотой.

Ребенокъ уже замолкъ. Смотрътъ своими бездонными, отъ муки, глазами въ лицо отца, какъ
загипнотизированный, и слушалъ. А Чаевъ ничего
этого не замъчалъ. У него былъ тотъ экстазъ отчаянія, когда не только чей либо посторонній звукъ,
но даже звукъ собственнаго голоса не осязался.
Онъ чувствовалъ только одно: вся жизнь его большого тъла ушла въ жизнь маленькаго умирающаго тъльца. Онъ ходилъ и продолжалъ:

— Тебъ, Надюша, больно? Ты умираешь? Отчего? Это случилось, Надюша, просто. Мы съ мамой безумцы! Въ міръ лжи и условностей, привиллегій и тралицій, гдъ все оцънивается только на въсъ золота, гдъ видять только обстоятельства, а не человъка, гдъ въ кумиры возведены ничтожества—въ такомъ міръ мы, Надюша, взя-

лись съ мамой рука объруку и гордо пошли прямикомъ на встръчу болъе высокимъ цълямъ въ жизни, И вотъ поплатились! Ты была, Надюща, дивной формой съ еще болъе дивнымъ содержаніемъ-и вотъ ты разбита. Разбита такъ глупо и просто! Въ этомъ міръ, Надюша, нътъ виноватыхъ, ибо въ немъ всв правы твмъ, что давнымъ-давно всв прокляты. Въ этомъ міръ, Надюща, не было ни одного человъка, который бы хоть разъ въ своей жизни не послалъ этому міру проклятія. Проклинай, Надюша, и ты этотъ міръ! Этотъ міръ, который за тысячельтія своего существованія не смыль съ себя печати Каина! Проклинай покорнаго рабе и трижды проклинай убійцу-угнетателя. Проклинай видомъ своего измученнаго тългца, каждымъ стономъ своей боли, проклинай послъднимъ вздохомъ своего существо занія. Проклинай, Надюща. Проклинай проклятіемъ младенца!

Потомъ Чаевъ сълъ на постель. И сидълъ въ томъ состояніи, когда человъку кажется, что онъ кричить, а губы его судоржно сжаты, а когда говорить—не осязаетъ собственнаго голоса.

Было темно, когда вернулась его жена. Она зажгла огонь и повернулась къ нему, чтобы подълиться радостной въстью, что на лечене въ Крыму она денегъ достала.

Но посмотрѣла на мужа и промолчала. Ребенокь лежаль у него на колѣняхъ, а онъ, согнув-

шись надъ нимъ, плакалъ широко раскрытыми глазами и лепеталъ:

— И будетъ завтра, Надюща, солнышко. И мы пойдемъ, Надюща, бу-у... бу-у пойдемъ мы, Надюща, въ садикъ! Ты увидишь тамъ птичекъ. Пальчикомъ на нихъ своимъ покажещь. Завтра я тебъ, Надюща, дамъ цыпленочка!..

Присъла къ мужу и жена. И тоже плакала Въ первый разъ они не стыдились своихъ слезъ.

На следующій день Вера давала своиме ученицамь последній урокь. Черезе нёсколько дней наступала пора переэкзаменовоко и Вере выпаль не малый трудь—убедиться, сколько изе приготовлявшихся у ней выдержать.

Чаевъ ходилъ съ ребенкомъ въ саду, гдъ жена занималась въ бесъдкъ съ ученицами и невольно слышалъ, какъ ей приходится долбить великовозрастнымъ гимназисткамъ шестого и седьмого классовъ до хрипоты въ голосъ.

Въ саду было много цвътовъ и райскихъ яблокъ.

Какихъ нибудь еще два мѣсяца назадъ, Надюша тянулась съ восторженнымъ крикомъ къ каждому цвѣтку, ко всякой зелени—теперь все это прошло-Грустно и печально она смотрѣла на цвѣты и только изрѣдка, высмотрѣвъ на яблоняхъ какой

нибудь особенно спълый, волотящійся на солнцъ, плодъ — обращала на него вниманіе отца пальчикомъ.

— Сорвать, Налюша?

Надюща дълала тихое, усталое отрицательное движение головкой.

— Не хочешь. Ну, чтожъ, посмотри такъ. Во-

жій міръ, Надюша, такъ прекрасенъ.

Остатки вчерашняго возбужденія въ Чаевъ еще не улеглись и, мысль, что недолго его крошкъ остается созерцать этотъ прекрасный міръ, внутренно добавляла: "Да, только люди въ этомъ міръ... проклинай ихъ, Налюша!"

Все припоминаль и переживаль онъ теперь

особенно остро.

Вотъ начало болъзни, когда малютка много плакала, потомъ начала затихать. Видно, что недугъ позываеть на плачъ, но кръпится. Льнетъ только къ груди отца и матери кръпче, ибо чувствуеть своимъ маленькимъ сердцемъ, какъ истекъють за нее кровью большія сердца, а облегчить ей страданій все-таки не могуть—льнеть и понимаеть, что, значитъ, надо насколько силъ хватаетъ териъть. Вотъ счастливый періодъ Надющи, когда она была обаятельнымъ символомъ юной, буйноликующей и расцвътающей жизни. Сколько ласкъ и восторговъ, что такой "чудный, ръдкостный ребенокъ!"

Надюща этого времени незабываеть. Смерть къ ней двигается быстрыми шагами и быстро несетъ

ей свою мудрость. Насколько Надюша раньше тянулась къ людямъ, настолько она теперь ихъ чуждается. За пять мъсяцевъ своей бользни она измърила людскую измънчивость — стоило ей забольть и нътъ ласкъ отъ постороннихъ лицъ, всъ смотрять на нее издали такими глазами, отъ которыхъ она или отворачивается, или въ свою очередь въ упоръ смотритъ такимъ взглядомъ, передъ которымъ опускаютъ глаза взрослые, а иные ея отцу и матери даже говорили: "Какіе тяжелые глаза у вашего ребенка!"

О, тупое человъческое стадо! Стадо не понимающее, что, можетъ быть, само небо, глазами этого ребенка говоритъ, что суровое осужденіе— это единственное, что могутъ оставить этому стаду за его равнодушіе и жестокость, за убожество сознанія рано вынужденныя уйдти изъжизни существа.

Всю муку, какую принесла бользнь ребенка, припоминаль Чаевь и внутри его неудержимо клокогало: "Проклинай, Надюша, проклинай!"

И не было мъста, куда бы онъ хоть немного, могъ уйдти отъ этой муки.

На другомъ концъ двора стоялъ большой домъ, около котораго по цълымъ днямъ возилась куча дътворы. Оттуда въ садъ неумолкаемо лились ихъ звонкіе голсса. Три мѣсяца назадъ Надюща сама еще могла принимать участіе въ ихъ вознѣ, потомъ только на нихъ посматривала, а затѣмъ—то, что раньше давало ей восторгъ, начало да-

вать муку. Взглянеть на дѣтишекъ, на одинъ мигъ въ глазахъ вспыхнеть огонекъ—и замретъ. Темнѣе станетъ взглядъ, а на личико—все глубже и жутче прочижетъ его, это ушедшее въ свое страданіе раздумье.

Уже съ недълю, какъ Надюша совсъмъ отказалась отъ дътей. Она не желала ихъ видъть.
Но ихъ голоса — невольно она прислушивалась
къ нимъ, невольно ея рученка поднималась по
направленію къ дому и вдругъ падала, а въ
глазахъ вспыхивала огромная тоска и появлялись слезы. Чувствовала малютка, что жизнь ея
быстро таетъ и не ръзвиться ей на землъ, какъ
тъмъ здоровымъ дътямъ.

Это страданіе одиннадцатим всячнаго ребенка доводило Чаева до бъщенства, граничащаго съ умоизступленіемъ.

То его порывало пойти и розыскать виновницу бользни Надюши; розыскать и раздавить эту старуху и за ребенка, и за себя, и за жену, и за другихъ, ибо, думалъ онъ, кто можетъ поручиться, что эта старуха не навлечетъ такого ужаса и на-кого либо еще?

То-безумно-напряженными глазами, онъ смотръль на уголъ каменнаго сарая съ мыслью, что немного мужества—и всему конецъ.

Ударъ головой объ этотъ уголъ — и всему конецъ.

Ничего не видъть, ничего не чувствовать, ни о чемъ не думать—какое облегчение!

Но передъ появленіемъ этого бѣшенства у него сильно кружилась голова, когда кажется, что снизу почва убѣгаетъ изъ подъ ногъ, а сверху небо падаетъ и, изъ боязни, какъ бы не упасть съ ребенкомъ, онъ садился на скамью или прямо на землю.

И, пока головокруженіе проходило—сидъль долго, а когда вставаль,— мысль принимала уже другое теченіе: "А Въра съ Надюшей? Онъ, будуть видъть, чувствовать, думать влвойнъ, ощущая его отсутствіе... Какое позорное малодушіе!"

Въ этотъ день, когда Въра закончила уроки, она захватила мужа именно въ такомъ состояніи. Онъ сидълъ на скамьъ и, присаживаясь къ нему, она заговорила съ чувствомъ большой радости и облегченія:

— Слава Богу! если бы ты зналь, какую гору я съ себя свалила? Когда я была здорова, то и тогда для меня семь ученицъ были не шуткой. А теперь,—какъ я протянула съ ними все лъто—и сама не знаю. Ну, да ладно: тяжелое позади! Теперь будемъ отдыхать и надъяться на лучшее. Послъ завтра отправляй меня съ Падющей въ Крымъ. Я такъ рада!

Чаевъ молчалъ. Помолчала и Въра.

Потомъ спросила:

- Ты слышишь?

Онъ молчалъ. Она заглянула ему въ лицоэта застывшая маска скорби, страданія и усталости была для нея уже не нова, но его глазаглаза полураздавленнаго на смерть животнаго — тусклые и покорные, ничего не видящіе кром'в своей муки—эти глаза заставили Въру содрогнуться.

То, что завтра не явятся ученицы, о чемъ въ теченіе двухъ посліднихъ мізсяцевъ Візра по окончаніи уроковъ думала со страхомъ, то, что черезъ день она повдеть въ Крымъ, въ Крымъ, сулящій ей и ея ребенку блага здоровья—все это забылось, погасло и давило только одно—темь и безнадежность.

Не надо говорить, не надо двигаться, сидъть вотъ такъ, какъ сидитъ она, какъ мужъ, какъ лежитъ у него на колъняхъ ребенокъ и покорно ждать смерти. Въръ казалось, что всъ они настолько обезсилены и измучены, что всъ настолько спаяны общей мукой и привязанностью—стоитъ умереть одному, сейчасъ же за нимъ умреть другой, за другимъ трегій.

Темнъло уже, когда ребенокъ, которому стало свъжо, привелъ ихъ въ себя.

Молча они пошли домой.

Ночь выпала тяжелая. Ребенокъ все время быль въ забыть и требовалъ, чтобы его коляска была въ непрерывномъ движени взадъ и впередъ.

Съ вечерэ у малютки началось сильное разстройство желудка. Отецъ далъ ей каломель. Приходилось часто мънять простынки и тюфячки. И когда отецъ съ этимъ возился—малютка въ это время лежала на его постели. Если онъ забываль прикрыть ея одвяломъ — она терпвливо выжидала, когда онъ кончить, вздрагивая отъ сввжести своимъ худенькимъ обнаженнымъ тъльцемъ.

Онъ подходилъ къ ней и, замвчая дрожь холода, съ упрекомъ бормоталъ: "Вотъ это ужъ, Надюща, не хорощо. Нало было мнв объ этомъ напомнить", — малютка смотрвла въ лицо отца съ глубокой любовью, а вмвств съ твмъ и съ той мольбой, которая проситъ понять, что она и сама сознаетъ — насколько тяжелъ за ней уходъ, но что же она можетъ сдвлать, если она такъ безпомощна, кромъ того — потерпъть, когда на это въ силахъ.

Онъ укладывалъ малютку въ коляску, а по щекамъ его медленно струились слезы.

Къ полночи разстройство желудка у малютки прекратилось, но сонъ къ ней все-таки не приходилъ.

Стоило Чаеву на минуту остановить коляску отгуда черезъ минуту раздавался тихій и скорбный крикъ.

Онъ двигалъ коляску—крикъ замолкалъ. Но иногда не помогало и это. Тогда онъ бралъ ребенка на руки. Онъ зналъ, что чъмъ ни ближе Надюща къ смерти, тъмъ чаще у нея этотъ страхъ—страхъ не выносящій тишины, страхъ, покидающій Надющу только тогда, когда она почувствуетъ своимъ тъльцемъ тъло отца или матери.

Очутившись на рукахъ отца Надюша замолкала. То она съ безмърной радостью всматривалась въ его суровое, окаменъвшее лицо, которое въ слабомъ свътъ ночника могло бы напугать взрослаго человъка, и въ ея глазахъ была все та же мольба, просящая понять, какъ велика ея безпомощность; то жуткими, глубоко ушедшими въ свое страданіе, глазами смотръла куда то внъстънъ, внъ-пространства, а крошечная изсохшая рученка цъпко-цъпко держалась за руку Чаева, по временамъ вздрагивая такъ, точно и въ эти минуты ей приходило опасеніе, что не иллюзія-ли близкое присутствіе ея къ отцу.

Чаевъ давно забылъ, когда онъ спалъ по ночамъ не одътый. Ночь его заставала въ томъ, въ чемъ онъ былъ одътъ днемъ. Такъ же было и съ Върой. Она спала на постели въ своемъ неизмънномъ черномъ платъв. Уже нъсколько ночей Чаеву приходилось коротать ночи одному. Часовъ съ десяти вечера у ней начинался жаръ и бредъ.

Среди невнятнаго бормотанія чаще и яснѣе всего проскальзывала фраза: "Вонъ, вонъ, старая дура! Какая чудовищная тупость! Вонъ немедленю".

Чаевъ зналъ къ кому это относится.

Эго случипось семь мѣсяцевъ назадъ. Обстоятельства заставили Чаевыхъ на нѣсколько времени разъѣхаться. Онъ оставался въ столицѣ, Вѣра пріѣхала въ этотъ провинціальный городъ

за заработкомъ. Каждый день она должна была отлучаться на три часа изъ дому на уроки—съ ребенкомъ въ это время оставалась нянька. Старуха скучала съ Надюшей и украдкой на эти часы уходила къ своимъ знакомымъ. И попала однажды къ такимъ, которые только что перебрались въ другую квартиру. Поболтать старухъ кое о чемъ много надо,—а ребенокъ мъщаетъ. Старая голова нашлась: "Сдамъ-ка я его ребятишкамъ. И мнъ не будетъ мъшать, и имъ веселъе". Квартира пустовала три зимнихъ мъсяца—и въ такомъ то холодъ дътишки играя съ Надющей сбросили съ нея одъяло, оставивъ въ одной рубащенкъ.

А старуха, занятая разговорами ничего не замъчала, ей холодно не было: въ чемъ пришла съ улицы, въ томъ и сидъла!

Вернулась Въра съ урока домой—нътъ ни ребенка, ни старухи. И хотя сосъди успокаивали Въру, что старуха уходитъ съ ребенкомъ не впервые, что скоро, въроятно, она вернется—Въра, чуя недоброе, бросилась старуху искать.

Когда нашла--едва отворила дверь и видить, какъ старуха, торопливо кутая посивъвшаго ребенка въ одъяло, подносить его къ ней и... удивляется:

— Диву, барыня, даюсь! Рабеночекъ то, кажись, забольлъ. Съ чего бы? Всегда такой веселенькій —и вдругъ сразу приключилось ни въсть што и отчего!

Ребенокъ перенесъ сильное воспаление легкихъ.

27

Въра мужу объ этомъ не писала. Когда онъ прівкалъ самъ—ребенокъ какъ будто уже поправился. Особенно ръзкихъ внъшнихъ примътъ болъзнь послъ себя не оставила, кромъ небольшой блъдности и, когда Чаевъ замътилъ, что "Надюща почему то немножко поблъднъла"—Въра разсказала ему исторію съ Надющей.

Онъ нахмурился:

— Эго не шутка!

А Въра, вертвла ребенка върукахъ и, со счастливой улыбкой говорила:

— Ничего. Успокойся! Теперь всякая опасность миновала, кром'в рахита. Но я и на этотъ счетъ м'вры принимаю: лечу Надюшу у того же врача. Кръпенькая она у насъ: такую штуку перенесла, что даже и самъ врачъ удивился. Ну, не хмурься! Теперь это для тебя—только тема для разсказа!

Эту заключительную фразу Чаевъ припомнилъ черезъ мъсяцъ, когда ребенокъ сильно похирълъ:

— Хороша тема для разсказа!

Черезъ три мъсяца онъ горько думалъ::

— Тема для драмы.

А теперь, наканунъ отъъздажены съребенкомъ въ Крымъ, когда уже его грызли злыя предчувствія, что не только ребенка, но ижены, пожалуй, онъ больше не увидитъ въ живыхъ—онъ находилъ, что тема для разсказа расширилась до темы для трагедіи.

Кому мъшала эта вотъ еще нъсколько мъсяцевъ

назадъ обаятельная малютка, а теперь страшная тънь?

Никому! За что свержена въ преждевременную могилу молодая женщина, жизнь которой была единымъ свътлымъ порывомъ къ вершинамъ бытія? Ни за что! Кто его пойметъ, какъ это чувствуетъ онъ, когда погаснутъ для него эти два свъта—сколько бодрости, радости, счастья черпалъ онъ въ этихъ двухъ раздавленныхъ жизняхъ? Никто! никто не повъритъ ему и никто не пойметъ его, что онъ нуждался въ жизни только въ этой женщинъ и въ этомъ ребенкъ.

Пришла слъпая, черствая и безсердечная тупость и предательски нанесла свой ударъ, а за
этимъ ударомъ послъдовалъ ударъ отъ ожиръвшей алчности—и вотъ отъ двухъ больщихъ жизней, полныхъ гордыхъ порывовъ человъческаго
духа, и отъ одной маленькой, вопіющей къ нему
о своемъ правъ жить остался только никому ненужный ужасъ сграданіи, а за страданіемъ—
смерть!

Вь эту ночь Чаевъ перешелъ за черту, гдѣ человѣка уже ничѣмъ нельзя поразить, а только тронуть. И когда наступилъ разсвѣтъ—онъ встрѣтилъ его глазами проклинающими и любящими, ненавидящими и благословляющими уже не во имя свое.

День тянулся безконечно.

Въра лежала въ постели, набираясь силъ на дорогу; Надюща покоилась около матери, думая

свои строгія думы и, поглядывая любовно то на мать, то на отца, занятаго сборомъ и упаковкой вещей.

Къ шести часамъ вечера все было кончено. До отъйзда еще оставалось семь часовъ и эти часы Чаевымъ казались вйчностью. При сборй вещей они еще перекидывались словемъ-другимъ о томъ, что взять и что не надо, теперь ихъ давило то молчаніе, въ которомъ кроется страхъ и о кото ромъ ни тотъ ни другой не рфшается обмолвиться.

Чаевъ думалъ, что ждетъ жену и ребенка, когда они очутятся въ Крыму, при томъ еще съ очень ограниченными средствами, Въра думала тоже самое, но заговаривать объ этомъ считала лишнимъ.

Такъ они промолчали четыре часа и потомъ не выдержали. Страхъ покорилъ ихъ и кинулъ другъ къ другу.

Они лежали каждый на своей постели, притворяясь, что отдыхають, и вдругь оба поднялись, подошли къ окну, потомъ Чаевъ наклономъ головы сказалъ женъ, что ребенокъ спить, и, тъсно обнявшись, они пошли изъ комнаты, не обмолвившись ни однимъ звукомъ о томъ, куда идутъ.

Миновали дворъ, отворили калитку и очутились на двухъ аршинной полосъ: съ одной стороны заборъ, съ другой—крутой скатъ къ ръкъ. На краю этого ската виднълось возвышение. Въ темнотъ это возвышение Чаевъ принялъ за естест-

венную выпуклость почвы и, опустившись на него, жестомъруки указалъ Въръ на мъсто рядомъ съ собой.

Присъла и она. Возвышеніе дрогнуло и начало подъ ними понемногу раздаваться.

Оказалось, что это была груда мусора изъ мелкой щены и битаго кирпича, сидъть на которой далеко не безопасно. Стоило кому (нибудь изъ нихъ сдълать болъе или менъе ръзкое движеніе и они съ кучей мусора скатились бы въ ръку.

Въра замътила:

- Имъй въ виду, что мъсто тутъ не мелкое.
- Знаю, отозвался Чаевъ.
- Я плавать не умъю.
- А я умъю, но, если мнъ очутиться въ водъ я пойду ко дну, какъ топоръ. Я очень, Въра, усталъ.
- По себъ върю, родной. Но, однако, давай отсюда переберемся на другое мъсто.

Чаевъ отвътиль пожатіемъ плечъ. Въра сказала:

- Но въдь, это безуміе! Подумай: мы не одни? Чаевъ тихо отвътиль:
- Можетъ быть. Но върь мит или не върь състь я сълъ, а встать не могу. Силъ нътъ.
- Упрямый,—устало бросила Вѣра и, обнявъ мужа объими руками, кръпко прильнула къ нему: если ужъ гибнуть, такъ вмѣстъ!

И они сидъли на опасной кучъ мусора. Сидъли и мучались, что они дожили до того часа, ког-

да позорно бъжали отъ своей больной малютки.

Прошло все льто, идуть первыя числа августа—и за все это время ночи для нихъ были страшными ночами, когда у нихъ слипающіеся глаза и боязнь, что вотъ-вотъ кто нибудь изъ нихъ отъ усталости сейчасъ упадетъ и не поднимется. И каждая ночь была для нихъ страстнымъ ожиданіемъ разсвъта: настанетъ день и они увидять, что ихъ мучительно - чахнущей крошкъ легче!

Ради этого крѣпились и надѣялись. Теперь все это рухнуло. Надежда умерла, а на ея мѣсто пришло отчаяніе.

Много, конечно, ночей видёль Чаевъ въ 29 лѣтъ, а Въра въ 25, но въ эту ночь они вглядывались такими широкими и жадными глазами, точно видъли ночь впервые.

Бдкая тоска заполняла ихъ: имъ казалось, что за время болъзни ребенка мимо нихъ проплыло какое-то большое счастье.

Слухъ ихъ былъ остро напряженъ и плакать имъ котълось горько и безпомощно, какъ плачутъ дъти, отъ тяжести этого мучительнаго ожи давія что вотъ-вотъ Надюша проснется и подастъ голосъ—и они уйдутъ, ихъ не будетъ на этой кучъ мусора.

Жаждой полнаго забвенія всему, что прошло и что грядеть, жили они: созерцать, только бы спокойно созерцать эту ночь, а тамъ будь, что будеть.

Голова Въры безсильно приникла къ плечу мужа:

— Родной, тишины... только тишины! Его рука безсильно легла на ея талію.

Да, Въра, тишины и мира.

Все Чаеву въ это время хотвлось забыть, все простить. Замирало застарвлое бышенство, что гдв-то есть злостно-тупая старуха, которую, нужно раздавить, если не за себя, то за другихъ, дабы она не принесла такого несчастья комулибо еще.

Хотвлось ему тишины и мира — и тишина и миръ пришли: забыть старуху онъ, конечно, немогъ, но простить — отъ глубины души онъ простиль и пожалвль эту старую несчастную голову, мыкавшуюся всю свою жизнь по чужимъ угламъ.

И уже не жадными, а тихими и благодарными глазами Чаевъ и Въра смотръли на черный и тяжелый—тяжелый бархатъ воды: кажется—очутись подъ нимъ и онъ мягко раздавитъ.

Въ одномъ мъстъ ръки лунный свътъ ложился на воду косымъ свътлымъ полотномъ — тамъ съ мелодичнымъ всплескомъ игралъ серебристый метъ мелкой рыбешки.

За ръкой, на песчанномъ берегу, высятся темныя кошмы льса. Дальше, за кошмами—большая степь, откуда сильн въяло смъшаннымъ ароматомъ всевозможныхъ травъ.

Не подалеку отъ кошмъ костеръ, надъ костромъ--котелъ.

Въ ожиданіи ужина вокругъ костра сидятъ, лежать и стоять плотовые рабочіе. Босые, съ разстегнутыми воротами рубахъ. Одинъ голосъ чтото разсказываеть — словъ не разобрать.

Небо мягкое, низкое, такое же бархатное, какъ вода. Звёздъ было много, но такъ оне были робки и отдалены — вся земля въ эту ночь была отдана во власть тихой, загадочно-глубокой тьмы.

Всюду какое то острое раздумье; всюду тишина -полная какихъ то невнятныхъ шороховъ; всюду покой, но покой пронизанный жутью чьихъ то неуловимыхъ движеній, тайной тайныхъ неслышныхъ рвчей.

Загадочная ночь! Многое въ такія ночи явное становится тайнымъ и тайное явнымъ.

Были или небылицы разсказываеть этотъ плотовой рабочій своимъ товарищамъ-это не важно; важенъ его жесть, перемъна позы — тогда тънь его фигуры на водъ взметнется, потомъ дрогнетъ и замретъ, пугая и маня своею неподвижностью.

Огблески огня играютъ на суровыхъ бородатыхъ лицахъ и нельзя повърить, что это обыкновенные мирные люди, люди тяжкаго труда: такъ они фантастичны!

— Родной, —внезапно заговорила Вфра: — Когда я была еще дъвченкой лътъ семи-съ тъхъ поръ во мнъ проснулось стремление къ небу. И какъ тогда меня подавляло это величіе, такъ и теперь. Посмотри на небо даже простымъ глазомъ-какъ все безмърно, безгранично, непостижимо! А когда

подумаешь, что земля наша только атомъ, что кромъ земли въ мірозданіи еще тысячи тысячъ невъдомыхъ и никогда недостижимыхъ міровъ, тогпа кажешься себъ такой маленькой-маленькой, такой ничтожной, что какъ то даже странно, что ты живешь. Такимъ огромнымъ счастьемъ кажется жизнь и смерть: жить ли, умереть ли все счастье! Такъ я чувствую жизнь и смерть. Небо подавляеть своимъ величіемъ человъка. И когда созерцаешь это величіе, то, по моему мижнію, только слжной не видить, что стыдно быть такойдрянью, каковы люди на землв. Думаль-ли ты, когда объ этомъ, родной?

Чаевъ согласился съ женой, что въ мірозданіи дъйствительно, все безмърно, но внутрение уже, насторожился: къ чему это она такую ръчь завела? И не успълъ догадаться, какъ слезы тоски прожгли легкую рубашку на немъ; плотнъе своимъ горячимъ теломъ Вера приникла къ телу мужа, голову спрятала у него на груди и говорила

тихо и медленно:

- Умреть, Надя... Раньше казалось, что этого не переживу. Теперь не то. Больно оторвать отъ своего сердца этотъ большой кусокъ, но, знаешь: когда женіцина любить отца своего ребенка, она при утратъ ребенка будетъ тъшить себя надеждой, что утрата одного вознаградится другимъ. Тъщила себя такой надеждой и я; потомъ отказалась и отъ этого: чувствую, что не жить мнв. Умреть наша Надя, умру я, а ты останешься

одинъ. Одинъ! Будетъ у тебя тоска по Надѣ, будутъ иныя невзгоды, а подълить тебъ всего горькаго будетъ не съ къмъ. И вотъ, не ради радостей, не ради счастья, а ради горя твоего хотѣлось бы при тебъ немножко пожить. Изжилъ бы ты его немного, полегчало бы тебъ— тогда я спокойнъе

Чаевъ весь похолодълъ и забормоталъ:

— Что за вздоръ! Въдь, ты же ъдешь въ Крымъ. И если Надюща не поправится, такъ ты...

И не договорилъ. Онъ передъ этимъ только что думалъ о томъ, какъ бы отговорить жену отъ поъздки въ Крымъ.

— Что я?—спрашивала Вёра.

Но онъ молчалъ. До этой ночи, когда онъ видёлъ, какъ быстро таетъ фигура жены, какъ все плотнъе и гуще връзывается въ кожу лица зловъще землистый оттънокъ, какъ лицо отъ худобы, съ сильно заостряющимся носомъ начинаетъ принимать уже птичье выражевіе — тогда ему ярко припоминалась жена, когда была здорова.

Гдѣ тотъ прекрасный матовый цвѣтъ лица, тѣ вьющіеся нѣжно-пепельные волосы? Гдѣ тѣ два локона, брошенные на виски съ такой безумной расточительностью, передъ чѣмъ блѣднѣетъ самая изысканно-утонченная фантазія и, какую можетъ позволить себѣ только природа? Этихъ локоновъ уже нѣтъ; волосы день ото-дня все больше тускнѣютъ въ непріятно-желтый цвѣтъ. Въ мірѣ бездна богатства, умономрачающей роскоши, соб-

лазнительнаго могущества власти — онъ шель мимо всвхъ этихъ благъ земли, не оглядываясь на нихъ, счастливый обладаніемъ только одной женщины. И вотъ у него красоту этой единственной для него женщины отняли!

За что? Въдь, одной неисчислимо-малой тъхъ богатствъ, какими располагаютъ богатые классы было бы достаточно сохранить ему дорогую женщину, но...

Такія мысли пронизывали его глубиной того бъщенства, когда, будь бы у него сила и власть онъ не задумался бы раздавить весь тотъ господствующій надъ жизнью лицемърный міръ, который кричить, что превыше всего поклоняется красоть и топчеть ту красоту, которая не желаеть ему продаваться.

Но тоже самое бъщенство сознавало, что такой силы и власти нътъ и безсильно изливалось во внутреннихъ крикахъ, что этотъ міръ можетъ только шествовать побъдоносно по трупамъ, а зернуть хотя бы одинъ упавшій волосъ съ головы—на такое чудо онъ не способенъ

Теперь-же, въ эту ночь, онъ отказался отъ такой роскопи, какъ былая красота жены — ему котълось плакать и, неслышимая мольба неслась изъ души отчаявшагося человъка къ Богу: "Оставь мнъ эту маленькую, сольную женщину. Съ этимъ чахоточнымъ, птичьимъ лицомъ, съ этимъ въчнымъ жаромъ оставь мнъ жизнь этой маленькой женщины!"

А Въра уже поборола себя и съ тихой нъжной усмъшкой говорила:

— Въ самомъ дѣлѣ: къ чему себя обманывать, когда нельзя обмануть? Старенькая я стала, слабенькая—можно и умирать. Но, знаешь, родной—не забывай меня совсѣмъ! Полное забыеніе больнѣе всего. Будетъ у тебя горе—вообрази, какъ бы я его подѣлила съ тобой; будетъ у тебя радость—приномни, какъ я радовалась съ тобой, когда намъ жизнь немного улыбалась. Больше ничего.

— Видишь, какая я эгоистка: даже тамъ, за гробовой доской не хочу, чтобы ты забылъ меня! До глубины души пронизалъ Чаева такой "эгоизмъ" и онъ заплакалъ. Тѣми, широко раскрытыми глазами—тѣми тихими, но огненными по глубинѣ скорби слезами, когда плачутъ безъ звука. Это—слезы неба!

Плакалъ онъ долго. А Въра—она чувствовала, что эти слезы ведутъ мужа къ той тишинъ, ко-торую уже обръла она и молчала.

Онъ выплакался. И въ первый моментъ послъ этихъ слезъ его охватила тревога; ему показалось, что въ немъ уже ни мысли, ни чувства—все ушло въ одну огромную пустоту и, чтобы внъ его не случилось—все будетъ подобно паденю камня въ колодецъ: одинъ звукъ и жуткая тишина—этотъ въчный голосъ пустоты!

И сколько бы онъ на то или другое явленіе не прислушивался — мысли и чувства его будутъ одной только тревогой, ибо пустота не родить ни образа, ни мысли, ни чувства, кром'в неопредівленнаго, безобразнаго страха.

"Туда, скорве въ эту темную гладь воды!—и онъ сдвлалъ молчаливую попытку освободиться изъ рукъ жены. Въра инстинктивно поняла его намъреніе, и голосъ ея зазвучалъ сурово:

_ Ой, родной, какъ стыдно!

И онъ сразу виновато притихъ, какъ школьникъ пойманный на мъстъ проступка. Ему хотълось сказать, что онъ виноватъ, но упрямая мысль, подсказывающая ему что виноватъ ли въ данномъ случать онъ—это еще вопросъ, останавливала его отъ признанія. Онъ подбиралъ слова, какими бы можно было начать объясненіе въ свое оправданіе, но слова не подбирались, а внутренній голосъ твердилъ, что онъ "виноватъ".

И когда онъ покорился этому внутреннему голосу, тогда въ первый разъ онъ такъ полно почувствоваль всю власть и все величіе смерти надъ міромъ. Все пусто, все ничтожно передъ смертью, она нерушимая власть въ прошломъ и будущемъ—и это могущество ея роднило его не сънеизбъжностью, несътой темной и страшной неизбъжностью, какъ эточувствовалъ раньше, а съ новымъ для него чувствомъ—великимъ и свътлымъ: съ одной стороны—въ воду метаться съ отчаянія гръшно и стыдно, съ другой—если бы кто-нибудь въ этотъ моментъ внушилъ Чаеву, что онъ безсмертенъ, онъ пришелъ бы въ ужасъ и закричалъ бы, что

39

величайшаго несчастія, какъ безсмертіе, для человъка нельзя придумать. Смерть чудилась ему какъ благо, какъ послъдній благословляющій и жизнь и смерть вздохъ, о которомъ думалось ему такъ легко и кротко: "что-жъ, всё умремъ и, можетъ быть, всё вновь будемъ жить. Только слъпой съ ропотомъ принимаетъ свой конецъ, да тотъ, кто имъетъ право роптать".

Все шире и глубже раскрывалось передъ нимъ преступленіе человъчества передъ человъкомъ, вознося его на міровую Голгоеу, гдъ власть однихъ надъжизнью и смертью другихъ обнажалась съ цинично-чудовищной откровенностью.

Сколько ихъ, этихъ имъющихъ право на ропотъ, не осъненныхъ близостью смерти, а распятыхъ на крестахъ жизни? Обильны, какъ морской песокъ! Идетъ холодная и злая сила и кто стонетъ, кто раздавленъ подъ ея пятой—старецъ-ли, младенецъ-ли?—она ничего не видитъ и не слышитъ. Ему приноминалась его малютка—ея ропотъ—слезы, когда она видитъ или слышитъ ръзвящихся дътей.

Ему было больно такъ же, какъ и раньше, но впервые къ этой боли примъшалось чувство тайной радости: "Надюша умретъ и не увидитъ и не содрогнется отъ всего этого ужаса земли!"

Онъ зналъ, что сегодня, въ эту же ночь онъ при взглядъ на маленькое изстрадавшееся тъльце почувствуетъ, какъ у него окаменъетъ лицо, глаза застынутъ въ тяжелой неподвижности отъ этой

муки—видъть, какъ мучительно-медленно умираетъ маленькая жизнь, видъть, какъ изъ цвътущаго еще недавно ребенка остался скелеть, обтянутый высохшей кожей—и все таки внутренно повторяль: "Надюща умретъ и не увидитъ и не содрогнется отъ всего этого ужаса земли".

Онъ чувствоваль, что боль утраты ребенка, будеть утратой незабываемой, но на ряду сь этой болью будеть постоянно жить и это чувство тайной радости, что ранняя гибель малютки отняла у нея возможность знать ту крайную степень содроганія передъ жизнью, какую пережиль онь, взрослый человъкъ.

Осторожно онъ началъ подниматься съ груды мусора, помогая встать и женъ. Она вставала и говорила:

— Къ Надюшъ ? Да, да, пора. Мы передъ ней виноваты! Идемъ-ка искупать передъ ней свою вину. Хотя она у насъ добренькая: долго не сердится.

Лунный свъть падаль на лицо Въры и Чаеву хорошо было видно, что это лицо внашло уже въ себъ силу отръшиться отъ жизни. Такъ оно было свътло, спокойно, такъ глубоко пронизано послъднимъ, тихимъ примиреніемъ: "Прости земля!"

Онъ благоговъйно поцъловалъ жену въ лобъ и опять было въ немъ вспыхнулъ взрывъ отчаянія: умретъ маленькій, добрый скелетикъ, за нимъ его жена, а онъ останется одинъ—къ чему и съ чъмъ?

И опять темная гладь воды показалась ему спасеніемъ. Въра было тронулась къ калиткъ, но онъ ее задержалъ:

— Слушай, родная. Умретъ Надя, допустимъ, что умрешь ты—послѣ васъ я никчемный человъкъ въ жизни. Для чего жить, когда разбито въ жизни самое дорогое? Какой смыслъ въ той жизни, когда она только мука? Какъ не озвъръть, когда кругомъ звъри?

Въра не дала мужу высказаться до конца, съ улыбкой его оборвала:

— Ну, вотъ. Легко жить всё хотятъ. Ты поживи, когда тебё трудно. Будетъ тяжко, весь міръ покажется безсердеченъ и теменъ, какъ черная ночь — противупоставь міру наличность своихъ лучшихъ чувствъ и помысловъ. И повёрь: будетъ легче!

Чаевъ отмахнулся рукой:

- Будеть ли? Родная, ты забываешь, что такое одиночество!
- Вовсе нъть. Когда ты почувствуещь себя, что ты большой одинокій, въ средѣ маленькихъ одинокихъ—тогда вспомни, что у человѣка есть величайшій другъ: природа! Люби, родной, землю и небо, какъ земля и небо любятъ насъ. Ненавидь все дурное въ человѣкѣ, но если не перестанешь любить хорошаго въ немъ, ты никогда не будешь одинокъ.

Такой огромный наплывъ новыхъ мыслей и

чувствъ надвинулся на Чаева, котораго онъ всего пъликомъ сразу осознать не могъ.

Онъ смотръль на груду мусора и видълъ, что его первые шаги по безусловно върному пути— это отъ этой груды мусора; на этой грудъ онъ оставилъ многое изъ собственнаго мусора души, накопленнаго за 29 лътъ жизни—такъ ему было очевидно, что не будъ сегодняшней ночи, онъ, можетъ быть, въ этомъ собственномъ мусоръ рылся бы всю свою жизнь, принимая во многомъ ложь за истину, а истину за ложь.

Они тронулись. Шли тихо, не спѣша. Когда вошли въ комнату и подошли къ коляскъ ребенка—удивились: Надя не спала. На ея лицъ было то строгое раздумье, которое все строже и глубже, чъмъ ни ближе она къ концу.

Съ минуту она отца и мать какъ будто бы не замъчала, но видъли они, что она ихъ хорошо видить и понимаеть ихъ больше, чъмъ они ее, ибо она ближе ихъ къ въчности.

Потомъ Надюша вдругъ вскинула на нихъ огромные отъ худобы и отъ страданія глаза и обожгла ихъ тишиной радости: изъ глазъ ея струилась полоса свъта, а маленькія уста внятно, съ невыразимой нъжностью произнесли:

— Ма-ма... Па-на...

За время бользни ребенка они только два раза слышали отъ него эти слова; и было это въ моменты, когда ребенокъ изнемогалъ отъ муки, а они впадали въ безсильное отчаяние.



И вотъ тогда изъ груди маленькой крошки вырывался призывъ къ терпънію, звучавшій для нихъ величайшей наградой.

Теперь тонъ у малютки былъ другой. Она ихъ ни о чемъ не просила: со своихъ незримыхъ высотъ, гдъ близящійся духъ смерти пріобщилъ ея больше къ тайнамъ бытія и небытія, чъмъ то доступно человъческому сознанію, находящемуся еще подъ властью плоти—она ихъ только привътствовала!

Очарованные, они нѣсколько минутъ въ молчаніи смотрѣли на малютку. Потомъ Вѣра взяла ее на руки и съ тѣмъ свѣтлымъ лицомъ, какое можетъ быть только у человѣка, пребывающаго въ бреду и бредящаго о чемъ то прекрасномъ говорила:

— Да, Надюша... Мы скоро отдохнемъ... Мы, родная, скоро отдохнемъ! Мы, Надюша, очень устали!

По лицу Въры медленно струились слезы. Чаевъ смотрълъ на жену и на дочь и слезы слъпили и его. Но эти слезы не были слезами упадка. Онъ видълъ, что тънь смерти неотступно легла на жену и ребенка—но это уже его не пугало, ибо всталъ и онъ на върный путь: на путь къ смерти. И чувствовалъ онъ, что будутъ тверды и спокойны его шаги по этому пути, какъ человъка, хорошо знающаго не куда онъ идетъ, а что онъ обязанъ итти по этому пути—по пути къ смерти. И чтобы его не ждало—радость отдыха на землъ

или длинная полоса бѣдъ и несчастій—ни въ радости, ни въ несчастіи онъ не свернетъ съ этого пути и не дрогнетъ на немъ и не забудетъ, что человѣкъ на землѣ долженъ быть не врагомъ смерти, а другомъ ея.

Онъ оглядывался назадъ- въ прошлое-такъ не легокъ былъ пройденный путь, что какъ то непонятно, какъ можно такой путь выдержать не упасть на немъ; взглядъ впередъ, въ будущееодиночество, темь и страхъ, но въ эти минуты прозрвнія онъ видвль, что страхъ передъ жизнью - это только крикъ немощной плоти. Ему котълось силы огромной, нечеловъческой-не той, которая воть какъ теперь въ немъ родила больную боль сладкаго мученичества распятаго на крестъ жизни, а той, въ которой не было бы крика плоти, хотя бы и самовозвышающагося. Силы не чувствительной къ уколамъ жизни, силы, мудро-спокойно принимающей на себя всв удары, какъ фатальныя последствія допущеннаго зла на землю, силы-достойной быть другомъ смерти.

Смерть ему чудилась, какъ величайшая любовь къ человъчеству и какъ величайшая мученица въ въчности: она грозно обрываетъ біеніе жесткихъ сердецъ палачей жизни и со скорбей принимаетъ послъдній вздохъ рано раздавленныхъжизнью.

Онъ подошель къ женѣ и сказалъ ей съ точно такимъ же выраженіемъ, какъ и она—точно былъ въ бреду и бредилъ о чемъ то прекрасномъ:

— Родная! Силы хочу, силы. Неизмѣримой бы мощи для того, чтобы бороться съ палачами жизни. Сколько ихъ? Тьма! А вотъ не страшно. Вспыхнуло и горитъ во мнѣ чувство, что надо выпить всю чашу жизни, какъ бы она не была велика и горька, ибо дано намъ нѣчто для того, чтобы переживать не однъ только радости!

И, когда онъ кончилъ, Въра сейчасъ же под-

— Вотъ, вотъ! Върно! Ты не думалъ, что моя поъздка въ Крымъ—безуміе?

Чаевъ подтвердилъ, что—думалъ, что намъревался сегодня даже Въръ объ этомъ говорить.

- Въ какомъ тонъ?
- Да котълъ тебя отъ поъздки отговорить. Лучше, молъ, остаться здъсь и ждать, когда смерть подберетъ.
 - Ну, а теперь, какъ думаешь?
 - У Чаева понурилась голова.
 - Надо, родная, вхать. А, можеть, быть...
- Вотъ, вотъ! И я такъ думаю. Не сдамся. Ни за что до конца не сдамся!—и Въра принала къ плечу мужа головой и, говорила послъ бодраго, энергичнаго тона, уже съ тоской:—Ахъ, родной, когда вотъ такъ хорошо пострадаешь, какъ пострадали мы и, когда смотришь на жизнь черезъ это страданіе—какія тогда безграничныя перспективы радостей жизни открываются! Радостей чистыхъ, возвышенныхъ. Радостей, которыми будешь наслаждаться, какъ человъкъ, а не какъ

слъпое и жадное животное, готовое всегда и у всъхъ отнять то, чего нельзя отнимать... Всегда я думала: лучше съъсть свой маленькій кусокъ, чъмъ большой, да ворованный.

Чаевъ настоялъ, чтобы Въра вхала во второмъ классь. Въра было пыталась протестовать:

— Дорого. Лучше въ третьемъ.

Чаевъ хмурился.

— Экономь на чемъ либо другомъ. Дорога дальняя: четверо сутокъ. И въ третьемъ классъ съ мужиками и махоркой ты Надю и до Крыма не довезешь.

И онъ пошелъ и взялъ билетъ второго класса. Вагонъ былъ полонъ. Присутствіе постороннихъ лицъ, а главнымъ образомъ эта тягостная повздка, заставляли Чаевыхъ быть сдержанными.

Они говорили о пустякахъ, какими стараются замаскировать внутреннюю тревогу.

Въра просила мужа, чтобы онъ чаще писалъ, съ нъжной шуткой въ голосъ упрекая, что онъ на это «большой лънтяй», Чаевъ говорилъ, чтобы она поэнергичнъе лечилась.

Дали второй звонокъ. Надюща смирно лежала въ углу дивана. Чаевъ взялъ ее на руки и съ замъчаніемъ, что «должно быть, ужъ спитъ», подошель съ ней поближе къ свъту.

Надюща оказывается не спала. И когда онъ наклонялся, чтобы поцёловать ее въ лобикъ—на него изъ ея глазъ хлынула такая любовь и нёжность, что онъ сразу понялъ: «Такъ прощаются только тё умирающіе, которые чувствують, что больше не увидятся».

Ему хотълось сказать, чтобы жена ъхала одна, что этимъ она избавится отъ лишнихъ мученій, а ребенка онъ похоронить здъсь, но онъ промолчалъ, ибо зналъ, что жена на это не пойдетъ.

Въ глазахъ у него помутнъло и, какъ въ туманъ онъ видълъ—подошла Въра, сдержанная, но съ испугомъ во взоръ, съ лицомъ блъднымъ, какъ полотно. Еще мигъ и ея руки судорожно кръпко обвили его шею, а уста приблизившись къ его уху, шептали:

 Родной, фдемъ вмъстъ. Прости, но... не могу представить, какъ я останусь безъ тебя.

У него невольно вырвалось:

— Я тоже не могу представить. Но на что же я съ тобой поъду? Дай Богь тебъ перебиваться на эти средства.

Это заставило Въру опомниться. Покорно и кръпко она поцъловала мужа, взяла у него ребенка и сказала:

- Иди.
- Но итъ еще третьяго звонка?
- Ничего. Такъ будетъ легче.
- Да. "Такъ будетъ легче",—повторилъ Чаевъ

и, поцъловавъ руку жены, вышелъ изъ вагона. Стоялъ противъ окна вагона и смотрълъ.

Дали звонокъ и повздъ черезъ три минуты исчезъ за лъсомъ.

Тихо пошелъ Чаевъ домой, переживая то мучительное чувство, когда человъкъ не знаетъ, куда себя дъть.

Некуда торониться, нечего дёлать, велика вемля, а отъ горя своего на ней иногда никуда не уйдешь—такія мысли медленно вели его въ уголъ его жилья, гдё тема для разсказа развернулась для него въ тему для трагедіи.

Когда онъ пришелъ домой—первое, что ему бросилось въ глаза—это котъ, съ расширенными отъ отчаянія глазами, мечущійся по комнать. Чаевъ его понялъ: котъ вообразилъ, что его бросили.

Шесть мѣсяцевъ назадъ Чаевъ привезъ его сосункомъ, былъ онъ тогда жалокъ, еле ползалъ, но такъ дикъ, что при появленіи всякаго посторонняго лица шипѣлъ и щетинился. Пищу принималь только отъ Чаева, но кромѣ пищи требовалъ и еще кое чего.

Въ дни и ночи, когда уходъ за ребенкомъ затягивался по цълымъ днямъ или ночамъ—этотъ звърокъ въ то время иногда раздражалъ. Присядетъ Чаевъ—котенокъ лъзетъ на колъни; пойдетъ съ ребенкомъ по комнатъ—нужно глядъть, чтобы котенка не раздавить. Неустанно онъ кружился подъ ногами и, стоило Чаеву замедлить шагъ

или остановиться—ввёрокъ при помощи слабыхъ еще безсильныхъ когтей добирался по брюкамъ только до колънъ, а дальше не могъ и висълъ Чаевъ его отшвыривалъ или бросалъ на кровать Въры съ просьбой, чтобы она его отъ него избавила, но котенокъ отъ Въры не принималъ ласкъ и стремился къ Чаеву.

Вновь упорно, сколько бы его не скидывали, льзъ не выше кольнъ и висьль тамъ, судорожно стараясь удержаться, крошечный и неуклюжій жалкій и трогательный: съ мольбой животнаго смотрълъ онъ вверхъ и пищалъ, чтобы взяли и его.

И Чаева пронимала жалость; онъ бранъ его и сажалъ на плечо-тамъ звёрокъ успокаивался, причиняя, однако, Чаеву иногда боль. Стоило ему наклониться впередъ-котенокъ, чтобы удержаться, впускаль ему въ плечо когти.

Приходилось терпёть, ибо и самому было жаль эту крошечную дикую жизнь, да и Въра заявляла. что звірокъ въ конців-концовъ ее трогаеть до слезъ.

И часто тогда у Чаева съ горькой улыбкой вырывалось: "Вотъ еще наказаніе то!" — теперь котъ для него сталъ дорогимъ воспоминаніемъ.

Отъ двери онъ позвалъ:

- Васька!

И мечущійся по комнать коть могучимь прыжкомъ очутился у него на плечв и жался къ лицу; все его твло дрожало отъ нервной дрожи, глаза, расширенные и возбужденные, въ слабомъ свътъ ночника ярко горъвшіе, какъ два круглыхъ зеленыхъ огня, съ недоумъніемъ смотрыли на разбросанныя по комнать вещи, а въ особенности на-то мъсто, гдъ всегда стояла коляска ребенка. Приходъ Чаева его обрадовалъ, но отсутствіе коляски для него тоже было, очевидно, не малымъ безпокойствомъ. Онъ смотрълъ на пустое мъсто и мяукалъ.

Чаевъ снялъ его съ плеча и прижалъ къ

груди.

— Милый авъры! И тебъ больно? И ты тоскуешь?

Припомнилась пора, когда котъ подросъ. Въ два мъсяца онъ уже не висълъ на колъняхъ: ловкій прыжокъ и онъ на плечь. Освоился съ Върой, съ Надюшей подружилъ: любилъ спать въ ея коляскъ, игралъ съ ней, что не всегда сходило ей безнаказанно: на ея рученкахъ оставались царанины. А потомъ котъ сталъ задумываться. Въ его тълъ все больше гибкости, задора, жизни, требующей движенія и развлеченія, а его маленькій другь ничего этого не разділяетъ. Напрасно онъ своими мягкими, бархатными лапочками, которыя уже научились скрывать когти тамъ, гдъ это не у мъста, нъжно заигрываеть съ Надюшей—Надюща равнодушно взглянеть на него и отвернется. И сидить тогда коть, посматривая на Надюшу, немного обиженный и недоумъвающій: отчего она не принимаеть его ласкъ? А подъ конецъ онъ, должно быть, кое что понялъ: самъ Надюши не безпокоилъ, но если замъчалъ, что она не прочь посмотръть на него—онъ всегда готовъ былъ показать ей, сколько въ немъ неистощимой граціи, красивыхъ движеній, могучихъ прыжковъ и хитрыхъ уловокъ звъря.

И вотъ нътъ Надюши!

Теперь Васька—великольпный экземпляръ изъ ръдкихъ сибирскихъ породъ: шесть мъсяцевъ, а восемь фунтовъ въсу.

Тигръ въ миніатюръ. Дикій, неприступный для постороннихъ. Уже не шипитъ и не щетинится. Красивъ такъ, что рука невольно тянется къ его блестящей, выхоленной спинъ съ причудливой шерстью, а Васька этого не проститъ: взмахъ лапкой и рука въ крови! Потомъ немного отойдетъ и сядетъ и смотритъ на пострадавшаго гордыми, злыми глазами, точно говорящими: ласки твоей не прошу—значитъ не трогай меня!

И такой звърь теперь вотъ мяукаетъ!

Гладилъ Чаевъ кота и повторялъ, чувствуя, что въ этихъ словахъ выливается еся его боль и тоска:

— Милый звърь! И тебъ больно? И ты тоскуешь?

Такъ они, человъкъ и звърь сидъли до разсвъта, привязанные другъ къ другу свято и нерушимо: звърь тъмъ, что полюбилъ человъка, а человъкъ къ звърю за то, что привязанность звъря болъе благородна, чъмъ то бываетъ у людей. И когда встало солнце—юное, горячее и ликующее надъ землей, какъ въчный даръ неба, какъ символъ безпредъльной любви, дающей жизнь былинкъ и букашкъ, человъку и палачамъ его въ образъ человъка!—тогда звърь равнодушно отъ солнца отвернулся, а человъкъ звърю съ тоской сказалъ:

— Васька, Васька! Если бы ты зналъ, какъ иногда больно жить на землъ.

И тоже отвернулся отъ солнца... съ ненавистью! Въ этотъ день, къ вечеру, Чаевъ изъ этого города убхалъ, увозя съ собою и кота.

Сутки пробыла Въра въ пути благополучно. А дальше...

Пассажиры въ вагонъ принадлежали къ той публикъ, которая въ пути безъ книгъ и газетъ не можетъ обходиться.

Всв читали. У кого въ рукахъ газета, у кого--

Всв постепенно знакомились другъ съ другомъ, всв предупредительно оказывали другъ другу дорожныя услуги, кромъ Въры: отъ нея сторонились.

Она относилась къ этому спокойно, ибо принадлежала къ тъмъ натурамъ, у которыхъ хватаетъ силы на человъческую низость отзываться холоднымъ взглядомъ. Но за свою малютку она глубоко страдала, когда видъла, что Надюща чувствуетъ эти косые взгляды на нее и на ея мать.

"Какъ мало истиннаго состраданія и милосердія на земль, —думала она: —Неужели изъ всвхъ этихъ господъ ни у кого нътъ настолько сознанія, чтобы понять, что ребенокъ въ подтачивающемъ его недугь виновать менье всего!".

И ее порывало крикнуть: "Скоты!"

Но встрѣчалась она съ глазами своей малютки и они ей давали самообладаніе: такъ хорошо читала она въ этихъ огромныхъ и одухотворенныхъ отъ страданія глазахъ сознательное презрѣніе "къ эстетикъ" окружающихъ господъ.

Одна красивая, выхоленная барынька изъ тѣхъ, которыя вѣчно отъ чего-то лечатся—весной была въ Самарской губерніи на кумысѣ, лѣтомъ на Кавказѣ, теперь ѣхала въ Крымъ,—сумѣла задѣлаться кумиромъ всего вагона. Тонко кокетничая, она томно говорила о несчастьѣ быть нездоровой и ея жалобы звучали такъ мило, за что иначе нельзя платить, какъ трогательнымъ вниманіемъ. И дань вниманія ей несли обильно: мужчины передъ ней и по вагону ходили на цыпочкахъ, дамы соболѣзновали о ея нездоровьѣ. Утопая въ шелку, обложенная бархатными подупками, о которыхъ говорила, что "въ дорогѣ можетъ выносить только такія", кутаясь въ огромное мѣховое боа изъ соболя, она благосклонно—снисходи-

тельно принимала поклоненіе дамъ и мужчинъ. Ей оказывали "милосердія и состраданія" много,

ем оказывали "милосердія и состраданія" много, слишкомъ много! И всё эти ухаживающіе за ней пассажиры обоего пола создавали иллюзію, когда нельзя неподумать: "Какіе милые, воспитанные люди!".

И вдругъ эта иллюзія исчезла по винъ больного ребенка Въры: отъ перемъны воды у него появилось разстройство желудка.

Вотъ тутъ то и началось!

Отъ ръзей въ животъ малютка плакала.

Пассажиры глухо зароптали.

— Тутъ не лазаретъ. Такіе должны вздить въ особыхь вагонахъ.

А такъ какъ мать ребенка не хотвла этого ропота слышать— ей сочли нужнымъ заявить вслухъ:

- Сударыня! Вы бы отсюда потрудились убраться.
- Куда прикажете? холоднымъ взглядомъ уставилась Въра на господина съ носомъ алкоголика, съ обильными прыщами на физіономіи, но съ великолъпнымъ проборомъ волосъ на головъ и въ идеально сшитомъ сюртукъ.
 - Куда нибудь въ другой вагонъ, сударыня.
- Я полагаю, что и въ этомъ вагонъ имъю право ъхать, сударь!

Господинъ ретировался.

Въра дала ребенку каломеля. И когда его начало слабить, когда въ атмосферу вагона насы-

щеннаго духами вошель слегка кисловатый запахъ совершенно жидкихъ испражненій, ибо малютка кромъ небольшого количества муки Нестле за сутки ничего не принимала — тогда уже поднялась барынька.

Она лежала на своихъ бархатныхъ подушкахъ въ позъ, точно умирала, но голосъ былъ крикливъ, по животному-пронзителенъ:

— Ахъ, не могу! Одеколону, спирту, чего нибудь... Бога ради, тамъ у меня въ дорожномъ несессеръ пульверизаторъ! Я больна... Мнъ нуженъ покой... У меня нътъ ни малъйшаго желанія отъ кого то заразиться холерой!

И двое изъ ея наиболье ярыхъ поклонниковъ начали дъйствовать. Господинъ, въ идеально сшитомъ сюртукъ, ревълъ на Въру: "Вонъ! Немедленно вонъ отсюда!", другой, въ формъ инженера, носками сапогъ выбрасывалъ дътскія простынки за дверь вагона—двъ замаранныхъ, а нъсколько чистыхъ, должно быть, ужъ для болъе полнаго счета!

У Въры замеръ голосъ. Ищущими глазами она смогръла на столпившихся нассажировъ и ждала: неужели никто не запротестуетъ? Если не мужчины, такъ женщины, по лицамъ которыхъ видно, что многія изъ нихъ не разъ были матерями? Но тщетно ждала Въра. Изъ всей этой воспитанной и выхоленной на сокахъ народныхъ рафинированной черни было много что то кричавшихъ противъ Въры злыхъ лицъ и нъсколько—смущен-

ныхъ, которые, пожалуй, и желали бы замолвить словечко за больную женщину съ больнымъ ребенкомъ, да не осмъливались!

Барынька завопила:

— Невыносимо! Кондуктора!

Инженеръ бросился за кондукторомъ, а "идеальный сюртукъ" началъ аттестовать себя передъ пассажирами "рыцаремъ":

— Господа! Эту строптивую женщину, по правилу, надо взять за плечи и вывести, если она упорно не желаетъ подчиниться общему протесту. Но господа, я привыкъ рыдарски относиться къ женщинъ. Я уважаю женщину и не могу допустить себя до грубыхъ мъръ, хотя бы она этого и была достойна. Извините, господа, ничего не могу подълать. Тутъ ужъ дъло кондуктора!

И онъ, отодвинувшись на нѣсколько шаговъ отъ Вѣры, поклонился пассажирамъ, прижимая руку къ груди, какъ актеръ на сценѣ, когда отвѣчаетъ на аплодисменты.

Вначалѣ этого позора ребенокъ отъ рѣзи въ животѣ плакалъ, но потомъ, очевидно, забылъ боль и притихъ: онъ молча смотрѣлъ на злыя лица вслушивался въ крики.

И когда Въра заглянула въ лицо своей малютки—съ лица малютки и изъ глазъ на нее илинулъ такой ужасъ, отъ котораго она застыла сама. Стояла и уже не видъла ни толпы пассажировъ, ни вагона, ни своего ребенка—безъ мысли, безъ чувства, съ однимъ ощущеніемъ непередаваемаго ужаса.

Явился въ сопровожденіи инженера старшій кондукторъ.

— Вотъ, эта мадамъ! — ткнулъ на Въру пальцемъ инженеръ.

Оть возбужденія онь задыхался.

Кондукторъ взглянулъ на Въру, на ея ребенка, на пассажировъ — и заявилъ:

— Не могу, господа! Не вправъ. Пассажирка имъетъ такія же права, какъ и всъ. А что касается непріятности—со взрослыми это случается, а тутъ... Примите, господа, во вниманіе: тутъ и вовсе—больной маленькій ребенокъ!

И кондукторъ тронулся изъ вагона.

Инженеръ грозилъ кондуктору:

— Я знаю порядки! На первой же станціи я заставлю начальника станціи объяснить вамъ их.

Слышались голоса, что "туть не лазареть", что "жельзнодорожная прислуга въ Россіи по грубости убійственна", что "эту прислугу нужно учить жалобами"—кондукторъ шель изъ вагона не обращая вниманія.

И вдругъ вернулся къ Въръ:

— Мадамъ, прошу васъ състь. Такъ вы унадете! Гдъ ваше мъсто?

И онъ взялъ Въру за руку. И только тогда Въра пріобръла способность ръчи:

Бога ради, переведите меня отсюда въ третій классъ!

Кондукторъ возразилъ, что такъ какъ у ней билетъ второго класса, онъ ее и переведетъ во второй; Въра стояла передъ нимъ умоляющая:

— Бога ради, въ третій! Вотъ мои вещи. Не будете ли добры?

Кондукторъ прежде отвелъ Въру, потомъ пришелъ за вещами, послъ вещей пришелъ въ третій разъ—собиралъ у двери вагона и за дверью разбросанныя дътскія простынки и качалъ головой.

Рафинированная чернь посматривала на него и уже не кричала: прятала свои когти, тихо перешептываясь.

Въ третьемъ классъ къ Въръ отнеслись сочувственнъе.

Простымъ бабамъ и мужикамъ горе матери оказалось понятнъе. Женщина лътъ подъ 50 помогала Въръ положить ребенку на животъ согръвающій компрессъ и говорила:

— Дѣло знакомое. Чужихъ лобановъ изъ богатыхъ своей грудью вскармливала, а свои дѣтишки мерли! Народишь младенца, бросишь его въ деревнѣ на соску, а сама въ городъ: нужда то и отъ родного дитя оторветъ! Откормишься тамъ, а своего младенца то ужъ нѣтъ. Такъ то, молодица! Богатство то все дѣлаетъ. Родить барыни умѣютъ, а кормить не желаютъ. Имъ удовольствіе, а намъ — поднимай-ка своей бабьей кровью господскихъ дѣтей.

Пожилой рабочій, въ страшно засаленной блузь, со злобой потеръ руками и подхватиль:

— Върно, тетка! Да и поднимай то еще на свою шею: мужицкой кровью вспоены, а мужика давять. Кровопійцы! Эхъ, большой непорядокъ на земль!

Такая тема захватила въ вагонъ многихъ. Мужики, бабы, ремесленники обсуждали свое "житьебытье", да житье "баръ" и, хотя по внъшности Въры видъли, что она "не народъ", но со свойственнымъ народу великодушіемъ не добивать человъка въ несчастьъ, поглядывали на Въру участливо.

А Въра посматривала на эти грубыя лица, прислушивалась къ ръчамъ и думала: "Живъ Богъ въ душъ простыхъ людей".

Когда ребенокъ успокоился и заснулъ, она нъсколько разъ принималась за письмо къ мужу.

Написала:

"До сихъ поръ я не знала—до какой степени интеллигентные люди способны быть звърями! Немыслимо забыть этотъ ужасъ, гдъ толпа упитанныхъ негодяевъ и негодяекъ гнала меня съребенкомъ изъ вагона вонъ".

И разорвала.

"Я хотъла двумъ негодяямъ дать по пощечинъ и не могла: меня охватилъ столбнякъ. Я думала—какимъ словомъ назвать цълый вагонъ людей, изъ котерыхъ не нашлось ни одного голоса, который бы вступился за меня и за Надющу, словомъ, ко-

торое бы передавало всю омерзительную сущность этихъ господъ—и такого слова не могла придумать. Отнынъ звукъ— "культурные люди"—вызываетъ у меня представление существа, въ гадливости съ которымъ ни что не можетъ сравниться"!

Разорвала.

"Родной, если бы ты видълъ, какой ужасъ видъла я въ глазахъ Надюши, когда она смотръла на то, какъ насъ гонятъ?! Умирать буду, этого ужаса не забуду".

Разорвала.

"Чего еще ждать отъ этихъ людей? Развъ недостаточно одного этого факта, о которомъ буду говорить ниже, чтобы оставить за собою правоненависти на всю жиззь къ этому классу?".

Разорвала и это. Все ей казалось недостаточно выразительнымъ. Рѣшила отложить письмо до другого дня, когда немного успокоится; но на другой день мысль о такомъ письмъ отбросила совсъмъ.

Представила себъ, какъ такой фактъ отзовется на слишкомъ нервной возбудимости мужа и пришла къ заключенію, что о такихъ вещахълучше всего разсказать лично.

Дорога длилась четверо сутокъ. Трое сутокъ проведенныхъ въ третьемъ классъ отозвались на Въръ и на ея ребенкъ тяжко. Отъ жесткихъ неудобныхъ скамей Въра чувствовала себя совершенно разбитой, все тъло точно было налито свинцомъ и неустанно болъзненно ныло; ребенокъ—отъ густо накуреннаго воздуха онъ такъ кашлялъ, что вызывалъ опасеніе у матери, какъ бы онъ не задохнулся.

Нъсколько разъ Въра готова была перебраться во второй классъ—но такъ и не—ръшилась.

Пережитая сцена во второмъ классѣ вошла въ нее жуткимъ страхомъ, неустанно томящимъ и терзающимъ: стоило ей только увидѣть лицо, на которомъ не лежало печати низовъжизни,—скрытый страхъ переходилъ въ открытый кспугъ.

Сытыя и выхоленныя лица, куда трудъ не наложилъ своего облагораживающаго лицо отпечатка—той мудрости, которая знаетъ, какъ велика и мучительна борьба за существованіе трудящагося человѣка,—и куда голодъ не занесъ своей ни одной угрюмой морщины—были Върѣ противны.

Блестящіе туалеты дамъ и модные костюмы мужчинъ сдёлались для Вёры пугаломъ. Она вглядывалась изъ окна вагона въ пышно разодётыхъ господъ, когда они во время остановокъ на станціяхъ совершали прогулки и видёла, что кромё пресыщенія жизнью, а одновременно и безмёрной жадности къ ней на лицахъ этихъ людей ничего не было.

И раньше она относилась къ празднымъ клас-

самъ отрицательно, но все же иногда не могла себъ отказать въ удовольствіи посмотръть на изящныя элегантныя фигуры; отнынъ же, каждая такая фигура стала ей говорить отомъ чудовищномъ міръ, гдъ каждый охваченъ безуміемъ имъть больше, чъмъ у другихъ—почетъ, власть, деньги, роскошь, наслажденія—все ему одному, а когда все будетъ имъться, тогда мучиться желаніемъ того, чего нъть!

Трогался повздъ. Хотвлось Вврв отдохнуть на чемъ нибудь—она смотрвла въ окно, но такъ безнадежно мчались безконечныя оголенныя поля—эти долины надрывного труда, горькихъ слезъ и страшныхъ смертей, что у ней начинала кружиться голова и теряться представленіе о времени и мъстъ.

«Куда она такъ безконечно ъдетъ и зачъмъ? Что за люди окружаютъ ее? Къ чему эта пытка, когда она всъмъ своимъ существомъ жаждетъ покоя?

Но кашель и илачъ ребенка, приводили ее въ себя и мысленно она стонала: "Боже мой! когда же конецъ?"

Но до конца Въра такъ и не добралась. Въ Севастополъ, проъзжая изъ Ялты, повъдала Въръ, что за бъщеныя цъны вздуты на жизнь въ Ялть, какъ относятся тамъ къ несостоятельнымъ больнымъ—и Въра окончательно упала духомъ: сидъла въ Севастополъ и думала, что иного исхода нъть, какъ вернуться назадъ.

62

Но назадъ вхать не пришлось. Встрвтилась Въръ знакомая по гимназіи-графиня. Въра не хотъла дълиться съ ней своимъ горемъ, но графиня сама подошла къ ней, ибо ея цель жизни была «поднимать духомъ страждущихъ и обремененныхъ».

Настойчиво она лъзла въ душу Въры, дабы посвять тамъ благія свиена, но Ввра въ свою душу графиню не пустила, посвятивъ ее только въ свое положение даннаго момента.

Графиня много не задумалась. Торжественнымъ тономъ объявила:

- Вы, значить, боитесь тать въ Ялту потому, что тамъ все дорого и, что съ небогатыми больными тамъ обращаются плохо, не по христіански? Но, дорогая моя, повзжайте. Стыдно падать духомъ! Помните одно: "Пріидите ко мнв всв страждущіе и обремененные и Азъ упокою вы!" Всъ мы должны нести въ этой жизни свой крестъ безропотно. Вотъ я, видите дорогая, -я вижу спасеніе міра въ одномъ только Евангеліи и взяла на себя скромную роль быть проповедницей Евангельскихъ истинъ. Не забывайте ихъ, дорогая, никогда! Вотъ вамъ отъ меня на память...

И она дала Въръ Евангеліе, которыя, оказалось, всегда имъла въ запасъ.

Въра взглянула на графиню-на пышущую здоровьемъ, шумящую шелками, —и губы ея зло дрогнули:

- Графиня, и это все?

Графиня развела руками.

- Дорогая, я васъ не понимаю.

— Не понимаете, графиня? Графиня, я какъ видите, больная женщина, мать умирающаго ребенка. Въ другое время, я, можетъ быть, нуждалась бы въ поученіяхь, сейчась я нуждаюсь только въ номощи.

У графини закатились глаза.

- Въ помощи, дорогая? Вы больны и вашъребенокъ боленъ? А Онъ? Вы Его забыли? Того, безъ воли кого ни единый волось не упадеть съ головы? Надълтесь на Него: на великаго врача міра!

— Да, графиня, я надёюсь на врача небеснаго, но и земные, въдь, нужны? Или, графиня, не нужны?

Графиня молчала. А Вфра смотрфла на эту «скромпую» проповъдницу Евангелія и хотълось ей этой проповеднице сказать текстомъ изъ Луки: "Нътъ добраго дерева, которое бы приносило худой плодъ; и нътъ худого дерева, которое бы приносило плодъ добрый". Но сдержалась отъ открытой колкости и обощлась помягче. Открыла только что данное Евангеліе и указала:

- Вотъ, графиня, прочтите.

Графиня взглянула, и опять ея глаза въ экстазъ закатились вверхъ.

- О. да. Это все, дорогая, я знаю наизусть. "Ибо алкалъ Я, и вы не дали Мнъ ъсть; жаждалъ, и вы не напоили Меня; былъ странчикомъ, и не приняли Меня; былъ нагъ, и не одъли Меня; боленъ и въ темницъ, и не посътили Меня". Прекрасныя слова!

И, опять губы Въры зло дрогнули.

— И я, графиня, думаю, что—прекрасныя. Какъвидите, Евангеліе учитъ "нуждающихся и обремененныхъ" не однимъ только упованіямъ за гробомъ, но и земнымъ.

И тогда только графиня поняла, что дачей Евангелія и совътами, что въ немъ истина, не всегда можно отдълаться. Она поспъшно начала увърять Въру, что прекрасно понимаеть, что "слово безъ дъла мертво есть" и дала Въръ два письма — одно къ доктору, другое — къ генералу.

— Вотъ вамъ, дорогая. Васъ тамъ примутъ по христіански! Пишите. И не падайте духомъ!

И графиня простилась—величественно—счастливая тъмъ, что она христіанка не на однихъ только словахъ.

Вмъсто Ялты Въра повхала въ Балаклаву.

Первый день, проведенный Върою въ Балаклавъ, остался въ ея памяти смутно, какъ иногда остаются тяжелые сны.

Прівхала она въ Балаклаву подъвечеръ, измученная дорогой до той степени, когда на ногахъ держатся исключительно только нервнымъ подъемомъ. Ночь она и ея ребенокъ про спали хорошо

Въра проснулась около девяти утра. Чистый воздухъ, тишина, видъ, уютно обставленной, но незнакомой комнаты, коляска ребенка около ея кровати—все это показалось ей сномъ, отъ котораго боятся очнуться.

Она закрыла глаза и въ теченіе нѣсколькихъ минутъ не могла вспомнить, какъ она здѣсь очутилась. Наконецъ, вспомнила все. И мучительную дорогу, и второй классъ, и Севастопольскій вокзалъ, откуда, если бы не встрѣться ей графиня, она бы теперь уже ѣхала обратно домой.

Но пережитый страхъ былъ до того великъ, что даже и вспомнивъ все до мельчайшихъ подробностей, Въра не ръшалась открыть глазъ: а вдругъ эта внезапная перемъна къ лучшему злой сонъ?

Съ такой мыслью она лежала до тъхъ поръ, пока не проснулся ребенокъ.

Тогда она поднялась съ кровати, подошла къ окну, отдернула занавъску—на нее хлынулъ такой ослъпительный потокъ свъта, что съ этого момента она уже дъйствительно поддалась самообману.

Съ необычайнымъ приливомъ бодрости она быстро одълась, взяла ребенка и съ письмомъ графини отправилась къ доктору.

Докторъ прежде осмотрълъ Въру и успокоительно промычалъ:

— Ну, ваша бъда еще поправима.

Но, когда осматривалъ ея ребенка, Въра по его лицу поняла, что ея малютка плоха. Онъ не от-

нималъ надежды; говорилъ, что "младенецъ боленъ трудновато, но будемъ надвяться"—и Вврв почудилось, что онъ недосказалъ: "на чудо!" Дальше докторъ началъ давать длинный рядъ соввтовъ, чъмъ лечиться и какъ питаться, но видя, что его паціентка въ такомъ состояніи, что едва ли его соввты запомнитъ, ръшилъ записать все на бумагъ.

— Забудете, сударыня! Потружусь ужь для васъ. Главное—не теряйте духа... Для больного уныніе—ядъ для его бользии. Лечитесь и лечите своего младенца аккуратнье.

А Въра слушала его и думала, что изъ всъхъ его совътовъ не исполнитъ ни одного.

Когда она вышла отъ доктора—первымъ ея желаніемъ было бросить рецептъ. Но взглянула она на небо и, судорожно сжатая рука, въ которой былъ смятъ рецептъ, готовая разжаться для того, чтобы кинуть эту бумажку, сжалась еще кръпче, уже съ другимъ чувствомъ.

Тихо тронулась Въра съ этимъ рецептомъ въ аптеку. Изъ аптеки прошла въ городской садъ и долго тамъ сидъла, поглядывая на небо. Эта безконечная изумительно голубая высь, огнящаяся отъ солнца до того, что на нее больно было смотръть, навъвала на Въру тотъ чудесный міръ иллюзій, когда кажется, что нътъ тъхъ надеждъ, которыя были бы несбыточны.

Все прошлое до настоящаго дня—нужда и гнетъ всъхъ мелочей жизни, то пошлое прозябаніе, ко-

торое она видѣла въ людяхъ, вся нравственная тьма человъческаго общежитія—все отошло на вадъ, покрылось дымкой того рода воспоминаній которыя хочется забыть, скинуть съ себя, какъ тяжесть. На душѣ у Вѣры было легко, свѣтло и безконечно такъ, какъ легка, свѣтла и безконечна, была надъ ея головою высь неба.

Незамътно для себя она улыбалась. Ребенокъ отъ невыносимо яркаго свъта дня жмурился, по его исхудавшему личику струилось наслажденіе. И когда мать въ лицъ своей малютки уловила этотъ восторгъ бытія—на ея глазахъ выступили слезы счастья. Ей казалось, что подъ такимъ небомъ и подъ такимъ солнцемъ смерти нечего бояться.

И цълуя ребенка, она ему лепетала:

— Не унывай, Надюня! Тутъ мы воскреснемъ! Посмотри на небо: сплошная огненная бирюза. Тутъ, Надюня, люди рано не умираютъ. Это было бы дико!

Но на слъдующій день погода ръзко измѣнилась. Солнце, на которое Въра возложила надежду, какъ на самаго великаго врача міра, не выглядывало весь день. Съ утра тучи, словно крышкой нахлобучили городъ—и Въра почувствовала, что въ этомъ городъ, который еще вчера казался могучимъ источникомъ жизненныхъ силъ, ей тъсно и душно.

Послъ полудня пошелъ дождь, какъ поздней осенью.

Сильный вътеръ неустанно бушевалъ въ деревья сада и отъ его злобныхъ порывовъ деревья страдальчески бились и гнулись и шумъли, какъ отъ боли.

Нъсколько десятковъ разъ въ теченіе дня Въра подходила къ окну своей комнаты и смотръла на городъ. Сжатый съ трехъ сторонъ горами, онъ казался маленькимъ и мрачнымъ.

Горы каменистыя, голыя, съ изръдка торчащими клочками тощей растительности, такъ уныло и печально поднимались въ небо, точно онъ застыл въ скорбныхъ воспоминаніяхъ о томъ далекомъ времени, когда онъ были покрыты густо-дъвственнымъ лъсомъ.

Въру охватывало отчаяніе, ей хотвлось плакать но она сдерживалась. Подходила къ своей малюткъ и виновато говорила:

— Крымъ — а такая погода! Вотъ никогда ничего подобнаго отъ Крыма не ожидала. Потерпи Надюща, потерпи. Завтра будетъ солнышко!

Ребенокъ сидълъ на кровати, обложенный подушками, печально и покорно прислушиваясь и къ словамъ матери и къ вою бушующаго вътра.

Скверная погода установилась на цѣлую недѣлю. Непрерывный холодъ, вѣтеръ и сырость держали Вѣру всю эту недѣлю въ комнатѣ. У ребенка появилось ръзкое ухудшение: онъ уже не могъ пересиливать своего недуга и стоналъ по цълымъ днямъ и ночамъ.

По днямъ Въра кое-какъ перемогалась, но когда наступала ночь—липкій ужасъ казалъ ей свое лицо отовсюду.

Въ окно глядъла страшная темь, на дворъ скорбно выла огромная цъпная собака, которую откуда то недавно привезли, а подъ этотъ скорбный вой неумолкаемо звенъли цыкады.

Крики цыкадъ Въру мучили и раздражали, вой собаки вызывалъ дрожь страха, стоны ребенка казались страшны не по-человъчески.

Едва волоча ноги отъ слабости, охваченная сорока-градуснымъ жаромъ—Въра съ вечера еще пыталась предотвратить эти стоны, натирая спинку и грудь ребенка эвкалиптовымъ масломъ.

Но это масло уже не помогало.

Ребенокъ стоналъ. И эти стоны въ усталомъ и воспаленномъ мозгу матери родили кошмаръ: иногда ей казалось, что это маленькое, высох-шее тъльце никогда не умретъ, что это олице-твореніе страданія—страданія безъ конца и безъ крика, данное ей за какую-то вину.

За какую?

Въ экстазъ отчаянія и въры она бросалась на кольни и молилась: плакала и рвала на себъ вслосы и бросала ихъ на полъ, и волосы на полу смъшивались съ ея слезами въры.

А ребенокъ стоналъ.

Тогда она валилась на постель и ея тихій плачь переходиль въ тѣ вопли, когда люди не помнять, глѣ они.

Но злой и ръзкій стукъ въ стъну—стукъ требующій тишины,—приводилъ Въру въ себя.

Стараясь заглушить свое отчаяние скрипомъ зубовъ, она умолкала, а рука ея невольно хваталась за сердце: чудилось, что все оно у ней въ безчисленныхъ уколахъ, и изъ каждаго укола сочится кровь. Это представление переходило въ то чисто физическое ощущение, когда не сомиввенотся.

Въра начинала думать, что вотъ-вотъ ея сердце сейчасъ перестанетъ работать, но, что же тогда станется съ ея малюткой? Кто позаботится о ней, какъ она?

Это чувство приближало ее къ ребенку. Долго она всматривалась въ восковое, заострившее личико и спрашивала:

— Надя, родная моя, что ты стонешь? Чего тебъ? чего? Ну скажи!

И слезы матери падали на тѣльце и личико малютки, заставляя малютку умолкать. Огромными и глубокими глазами, гдѣ молчаливыя страданія кричать яснѣе всякихъ словъ, она глядѣла на мать.

— Неужели я, Надюня, виновата, что ты сейчасъ стонешь? Не надо стонать... Кровь у меня льется изъ сердца. Милая моя крошка—потерпи: завтра, можеть быть, будеть солнышко!

Изъ тихаго, нъжнаго лепета голосъ Въры пере-

ходилъ въ полный тонъ, тихія слезы—въ неудержимыя рыданія.

— И понесетъ мама Надюшу бу-у... на солнышко! На то солнышко, Надюша, гдъ небо — сплошная огненная бирюза. И ножки у Надюши будутъ тепленькія. Тогда Надюша будетъ поправляться...

Ребенокъ слушалъ, стоная глуше и слабъе, по временамъ раскрывалъ ротикъ, какъ бы желая что-то сказать.

А мать лепетала, повторяя одно и то же по нъсколько разъ. Потомъ лепетъ обрывался и переходилъ въ бредъ, куда вплетались жалобы и на цыкадъ, и на вой собаки, на тьму ночи, на сърые тусклые дни, на то, что она такъ страшно одинока, что есть у ней одинъ близкій человъкъ, но и того почему-то около нея нътъ.

А къ полночи она уже лежала на постели безъ движеній, безъ силь, въ такомъ жару, — когда казалось, что сейчасъ на ней вспыхнеть бълье. Потомъ чудилось ей, что по потолку ползаютъ огромные черви съ огромными усами, ловятъ тамъ мухъ, собираются какъ разъ надъ ней—вотъ отдъляются отъ потолка и падаютъ на нее.

Она испуганно вскрикивала.

Въ ствнку стучали. Такъ сильно и раздраженно, что вся ствна дрожала. И опять Въра приходила въ себя. Чувство зависимости на нъсколько минуть возвращало ей остроту сознанія. Своего крика она не помнила и полагала, что виною стоны

ребенка. Бралась рукой за коляску ребенка и тихо двигая ее взадъ и впередъ умоляла:

— Надюша, Бога ради, нестонай! Бога рад л. Понимаешь: намъ здъсь за недорогую плату дали комнату и столъ, а больше ничего знать не хотятъ. Чтобъ съ нами не случилось—мы не должны безнокоить хозяевъ. Это человъческая доброта, Надюша. Бога ради, не стонай!

А затъмъ Въра опять впадала въ забытье.

Она не слышала уже стоновъ ребенка, но рука инстинктивно тянулась къ коляскъ — настолько безсильная, что сейчасъ же тяжело падала назадъ, больно ударяясь о желъзо кровати.

Бредила о мужъ, жалуясь ему, что ей "совсъмъ невыносимо". Потомъ вскакивала, лихорадочно—блестящими глазами разыскивая по комнатъ мужа и, не находя его, съ тупымъ ужасомъ бормотала:

— Его нътъ. Значитъ, я одна. Почему—я одна? Какъ я могу быть одна?

Но слабость и жаръ опять клонили ея голову къ подушкъ. Ребенокъ сиротливо стоналъ. Мать чуть поднимала голову и тихо, какъ умирающая шептала:

— Крошка, прости меня.

На девятый день по прівадв въ Балаклаву, Ввра проснулась около семи утра. Ей показалось, что ее кто то толкнуль исказаль: "Солнце!" Она вскочила съ постели, подбъжала къ окну и, вдругь

почувствовала, что вся наполняется голубымъ свътомъ: небо было голубое!

Со слезами радости, съ невольно протянутыми къ солнцу руками, она стояла передъ окномъ и говорила себъ: "Глупая, въдь это же невозможно...",—а сама тянулась всъмъ тъломъ вверхъ.

Ей припомнились всв одинокіе дни и ночи проведенныя въ этомъ городв и, какъ двти въ минуты страха мчатся къ платью матери, такъ и ей хотвлось вмаств со своимъ ребенкомъ помчаться къ солнцу и прильнуть къ нему.

Потомъ она подошла къ своей малюткъ и стояла надъ ней, не замъчая, какъ слезы любви и молитвы катились по ея щекамъ.

Вспомнилась пора, когда ребенокъ былъ здоровъ.

Сквозь туманъ обильныхъ слезъ, она видѣла жизнерадостное, розовое, полненькое личико своей былой Надюши. Большіе синіе глаза съ роскошными рѣсницами искрились потоками жизни, мѣняя въ одну минуту десятки неизъяснимо очаровательныхъ выраженій: въ отдѣльности каждое не поймешь, а въ общемъ—восторженный гимнъбытію.

Особенно ярко припомнился Въръ день въ на чалъ весны. Она была съ ребенкомъ въ саду. Унылыя и жалкія деревья, грубо обнаженная земля — вся картина наслъдія зимы вызывали у Надющи печаль и состраданіе. Надюща смотръла и молчала. Въра пришла съ ней въ этоть садъ

вторично черезъ двѣ недѣли. Весна не дремала: тамъ, гдѣ двѣ недѣли назадъ было уныніе и запустѣніе, теперь буйно расцвѣтали очаги новой, дивной жизни.

Но и маленькая жизнь не дремала. Попадался на глаза пышно распускающійся газонь—Надя сь удивленнымъ крикомъ показывала на него матери: вѣдь, она видѣла и не забыла, что здѣсь была грубо обнаженная земля, а теперь?..

И крошка рвалась къ этому изумрудному царству, чтобы насладиться имъ чисто физическимъ ощущеніемъ. Мать нарвала ей пучекъ травы—малютка жадно зажала его въ рученку и не выпускала.

А туть уже новыя впечатленія.

Березки обвъяны уже дымкой молодой листвы, яблони распускають свои душистыя почки, цвъты, точно въ сладостной тревогъ, еще смущенно и робко раскрывають свои лепестки—и все это для Надюши источникъ непрерывнаго наслажденія и изумленія, то сказочное царство, въ которое чтобы повърить—надо его непремънно осязать.

И мать удовлетворяла любопытство крошки, листьями березы, почками яблонь, цвътами—все надя утащила съ собою въ свою колясочку и до поздней ночи упивалась дарами весны.

А на другой день уже сама запросилась настойчиво изъ комнаты туда, гдъ благодать яркаго весенняго солица, неисчерпаемыхъ красокъ—въ царство, гдъ маленькая жизнь не могла удержаться отъ криковъ буйнаго восторга!

— Да, Надя была сама жизнь—страстная и чуткая, таинственная и святая, какъ весна. А теперь?—спросила себя мать и въ отчаяніи сжала руки у подбородка.

Въ отвъть въ глаза матери лъзъ призракъ чего-то страшно необъяснимаго для нее. Она смотръла на маленькій скелетикъ и глаза ея съ изумленнымъ ужасомъ спрашивали и отвъчали: "Чъмъ держится эта жизнь? Нътъ, она не выживетъ. Она умретъ".

Глухо и безнадежно зарыдала. Но рыдала не долго. Въ отчаяніе начала пробиваться въраголубымъ потокомъ, какъ голубое небо, ослъпляющимъ свътомъ, какъ свътъ солнца. И внутри Въры эта надежда радостно кричала: "А солнце? Оно Надюшу подниметъ!"

Вслухъ Въра сказала:

- Нътъ, надо взять себя въ руки.

И съ той трогательной бодростью, когда кръпятся очень обезсиленые и слабые больные люди, Въра пошла въ кухню варить ребенку овсянку. Даже улыбалась робко, той чуть замътной улыбкой, которая и върить сильно и сильно боится.

Малютка проснулась въ девять утра. Въра ее слегка покормила овсянкой и стала одъвать на прогулку. Въ это время малютка произнесла:

⁻ Мама!

По прівздв въ Балаклаву эго было въ первый разъ.

Въра вздрогнула и, счастливо улыбаясь, отоявалась:

— Что ты, моя родная?—"Мама!" Боже мой, какь это ты сказала? Милая Надюня.

Потомъ взглянула въ глаза малютки и не могла оторваться. Эти глаза были давно не дътскими глазами—въ нихъ слишкомъ много было стреданія, теперь страданіе ушло въ глубину глазъ, уступивъ мъсто слишкомъ большому чувству любви,—любви одухотворенной страданіемъ.

На прогулкъ Надюща была тиха и какъ-то особенно вдумчиво печальна.

Весь этотъ день малютка провела спокойно. Ей хотълось только одного: лежатъ безъ движеній. То же самое и ночью. Мать нъсколько разъ заглядывала въ коляску и иногда натыкалась на открытые глаза, но во всю ночь ребенокъ не издалъ ни одного звука.

Это спокойствіе заставляло мать думать, что ребенку легче. Утромъ она хотіла дать ребенку молока. Онъ не принималь. Но когда мать тоскливо и ніжно начала упрекать его:

— Господи! Господи... То хорошо, то опять нътъ аппетита. Надюня, такъ нельзя! Ну, ради меня, хоть немного.

Тогда ребенокъ слегка улыбнулся и принялъ нъсколько чайныхъ ложекъ.

Мать эту улыбку поняла. Качала головой и говорила: — А я-я-яй! Воть, значить, Надюня, какъ наши роли перемънились. Теперь будемъ знать, что мы изъ младенческаго состоянія выросли и насъ, если о чемъ просить, такъ просить не иначе, какъ тономъ къ взрослому лицу.

Потомъ Въра пошла на прогулку съ ребенкомъ въ городской садъ.

Опять было голубое небо, ослёпительное солнце, въ саду масса всевозможныхъ цвётовъ.

Мать было попыталась заинтересовать малютку цвътами, но она съ такой печалью взглянула на цвъты, что мать инстинктивно почувствовала въ этомъ взглядъ что-то жуткое и отнесла ее отъ пвътовъ подальше.

Минутъ на десять малютка успокоилась. Смотрѣла куда то глубоко-сосредоточеннымъ взглядомъ, взглядомъ существа, находящагося уже на грани отъ времени и пространства къ внѣ-времени и внѣ-пространству и, точно въ тактъ ходу своихъ тайныхъ переживаній, тихо перебирала пальчики своихъ рукъ.

Потомъ вдругъ застонала разъ, другой, третій, какъ отъ назойливой боли.

Въра не понимала: отчего? Лепетала:

— Надюня. Милая, что ты? Посмотри — какое небо: сплошная огненная бирюза! А солнце? Гръхъ стонать и капризничать въ такую погоду.

Надя стонала все чаще и чаще, со страдальческой гримасой жмурила оть солнца глаза.

И только тогда, когда Въра разглядъла на гла-

захъ ребенка странный тусклый налеть — она поняла, что этотъ налеть не выносить солнца.

Чувствуя въ этомъ явление недоброе, она поспѣшила съ ребенкомъ домой. Ребенокъ во всю дорогу отъ солнца страдалъ, но когда очутился въ тѣни комнаты—затихъ.

Съ полчаса онъ лежалъ на рукахъ матери неподвижно, съ закрытыми глазами, потомъ открылъ глаза и, такъ же, какъ вчера. произнесъ:

- Мама!

И опять мать вздрогнула и замерла.

Въ этомъ словъ она чувствовала какой то огромный, глубокій, сокровенный смысль: ей казалось, что ее внезапно поднимають на голово-кружительную высь и тамъ приносять дань тайной величайшей почести.

Комната, вся обстановка въ ней — всё видимые предметы уплыли изъ поля зрёнія Вёры: чудилось, что передъ ней хрустальная стёна, а за этой стёной — неизъяснимо прекрасная даль.

Азвукъ "мама" онъ такъ звучаль—ни отъ одного человъка въ своей жизни Въра не слышала ничего подобнаго, и даже въ музыкъ она никогда не улавливала такихъ нъжно-красивыхъ обаятельныхъ нотъ.

Это быль звукъ полно выраженныхь любви, молитви, благодарности — звукъ, вся глубина и красота котораго переходять за область человъческаго сознанія и чувствь.

Въра замерла и думала: что это? И какъ въ

отвътъ—ребенокъ вдругъ затрепеталъ на рукахъ матери, томно склоняя голову то на право, то на лъво.

Мать взглянула въ глаза ребенка и сердце ея заколотилось съ бъщеной силой: въ глазахъ ребенка вспыхнулъ послъдній ослъпительный свътъ и погасъ. Глаза начали быстро тускить, теряя сознаніе.

Въра положила ребенка на кровать и крикнула безумнымъ голосомъ:

- Боже, умираетъ!

Въ комнату вбъжала старушка-генеральша.

Указательный палецъ ея былъ предостерегающе поднягъ вверхъ, на лицъ таинственная улыбка; наклонилась къ Въръ и шептала:

— Тише, тише, Господь съ вами. Вы ребенка испугаете? Развъ такъ можно? Видите: отходитъ.

"Отходитъ?" Въра смотръла на генеральшу безсмысленными глазами.

А генеральша помолчала и продолжала.

— Это къ лучшему: меньше муки. Вамъ докторъ этого не сказалъ—вы мать, — но намъ объяснилъ. Вы прівхали слишкомъ поздно: праваго легкаго у вашего ребенка совсвиъ не было, а лъвое почти все разрушено. Богъ съ вами: тутъ и убиваться то грѣшно.

Мелькомъ припомнила Въра выражение лица у врача, когда онъ впервые осматривалъ ребенка, но генеральшъ объ этомъ ничего не сказала, а отозвалась о другомъ:

— Солнце-вотъ было мое упованіе!

Генеральша неопредъленно отмахнулась рукой и, съ видомъ, повидавшей на своемъ въку всякіе виды, возразила:

— Не вы первая, не вы послъдняя. Ведите ка себя попристойнъе, пока ребенокъ томится, а я пойду платьице шить.

Въра плохо поняла, что сказала генеральша и только слово "попристойнъе" връзалось ей въ сознаніе и она взглянула вслъдъ генеральшъ съ ненавистью и подумала: "А за своихъ дътей слишкомъ дрожишь!"

Малютка умирала.

Отъ физической ли боли, или свъть ее раздражаль—сильно жмурила глаза, три раза правая ручка поднималась къ лицу и тогда на лицъ появлялись судорожныя страдальческія гримасы; по временамъ раскрывала ротикъ—иногда, чтобы схватить воздуху, иногда что-то сказать.

Потомъ наступила неподвижность.

"Конецъ" — подумала Въра и наклонилась ухомъ къ груди ребенка. Нътъ, сердце еще тихо билось.

И слушая это замирающее біеніе, Въра чувствовала, что ея сердце леденъетъ, что отъ остроты этого ощущенія какъ то странно кружится голова: все —и мысль и чувства напряжены до величайшей степени, но нътъ ни одной мысли и ни одного чувства, которые бы опредъляли эти моменты.

Все въ ожиданіи... И, когда наступиль послёдній моменть, когда Вёра уловила послёднее біе-

ніе сердца—тогда Вѣра отшатнулась отъ ребенка и смотрѣла по комнатѣ дико недоумѣвающими глазами: она ясно слышала, что съ послѣднимъ ударомъ сердца малютки въ комнатѣ послышались чьи-то удаляющіеся шаги.

И она смотрѣла: кто? Конечно, никого не видѣла, но звукъ удаляющихся шаговъ все еще слышался: тише, тише, вотъ замерли совсѣмъ.

И тогда у Въры прекратилось странное головокруженіе, но почувствовалась невыносимая, жуткая тишина.

Она съла въ кресло у окна. Въ маленькомъ садикъ у окна чирикали какія то итички, дрались, съ пронзительнымъ пискомъ и комичнозлобно ощетинившись, два воробья, на дворъ лаяла собака, городъ несъ свои звуки — человъческіе голоса и стукъ колесъ, но Въру давила невыносимая, жуткая тишина.

До вечера просидъла у окна Въра и, припоминая таинственные шаги, про себя повторяла.

— Оторвали!.. Унесли!..

И была уже убъждена, что эти шаги она услышить еще разъ, но только не уходящіе, а приближающіеся: когда будеть умирать сама.

На ночь Въра попросилась переночевать въ какой нибудь другой комнатъ.

Ея просьба была уважена.

Въра боялась не трупа своего ребенка, а той тайны, которая оборвала въ ребенкъ жизнь.

Малютку хоронили на другой день. Всё хлопоты и приготовленія взяла на себя генеральша.

Надюща лежала въ розовомъ гробикъ, въ кисейномъ платьицъ, вся осыпанная тъми живыми цвътами изъ городского сада, на которые она вчера не хотъла смотръть.

Личико ея и безъ того очень худое—со смертью еще болье удлиннилось. Но въ этой худобъ была своя красота: всъ линіи лица были строго отточены и озарены покоемъ. Губы плотно сжаты, а въ уголкахъ губъ застыла чуть замътная улыбка и эта улыбка придавала всему личику выражение необычайной доброты.

Но больше всего притягивали мать глаза ея ребенка. Отъ слишкомъ большой худобы ихъ не удалось сомкнуть. Глубоко впавшіе, съ застывшимъ взмахомъ роскошныхъ рѣсницъ, отъ которыхъ ниже глазъ падала тѣнь, широко открытые — они затаили въ себѣ какую то остро сосредоточенную печаль. Тотъ тусклый налетъ, который помрачалъ ихъ передъ смертью, исчезъ: они были ясны и свѣжи, и выразительны больше, чѣмъ у живого существа.

Въ нихъ не было ни упрека за рано прерванную жизнь, ни пережитаго страданія, такъ ярко свътящагося изъ глазъ при жизни—была только одна огромная, бездонная печаль. О чемъ?

Въръ казалось, что въ этихъ поразительно живихъ глазахъ маленькаго трупика Смерть и

Жизнь одинаково вопіють противъ человъческой тупости и жестокости.

Она смотрѣла въ эти глаза и эти глаза говорили ей, что вотъ была живая, свѣтлая жизнь, жизнь, то прозрачная, какъ хрусталь, то манящая къ себѣ своимъ непонятнымъ. таинственнымъ обаяніемъ тайны живого существа.

Была-и нътъ ее.

Была жизнь, въ могучемъ движеніи которой не было ни одного движенія въ состояніи покоя —и вотъ теперь загадочный покой.

Была жызнь, похожая на великую ръку, тайное течение водъ которой никто не учтетъ и не увидитъ, и вотъ эта неизжитая жизнь, прекрасная и ранняя, святая и волшебно-многообъщающая какъ юная весна—раздавлена.

Кто знаетъ, куда утекъ избытокъ этой неизжитой жизни? И кто скажетъ, какъ велика или мала отвътственность человъчества за преждевремен ныя смерти, если у человъчества нътъ строго опредъленной мъры на то, что такое во всемъ ея объемъ есть Жизнь?

Около гробика малютки, пока онъ былъ въ комнать, побывалъ генералъ, три гостившихъ у него дамы, вертълась прислуга—Въра не помнила, кому и что отвъчала на вопросы и соболъзнованія, не помнила ихъ лицъ, кромъ старушки генеральши которая одна съ истиннымъ участіемъ относилась къ горю матери. Смотря, какъ она сустится, Въра говорила ей:

— Дай вамъ Богъ всего хорошаго за все ваше участіе. Не будь васъ — я совершенно не представляю себъ, какъ бы я могла управиться съ хлопотами по похоронамъ.

Потомъ забывала и говорила генеральшъ то же самое.

По дорогв на кладбище, Ввра была какъ будто бы спокойна. За гробикомъ шли генералъ и три гостившія у него дамы. Съ недоумвніемъ она смотрвла на нихъ: зачвмъ они идуть — эти колодные, равнодушные къ ея горю, люди? И когда мысль подсказывала ей, что они идутъ, чтобы скрасить ея горе, что это шествіе одинъ изъ твхъ излюбленныхъ людьми пріемовъ, когда люди показываютъ, что человвка въ несчастіи они не оставляютъ одинокимъ—тогда Ввра невольно обдавала ихъ колоднымъ блескомъ глазъ и презрительной усмъшкой. Ихъ присутствіе казалось Ввръ оскорбленіемъ.

Не лишней при этомъ была одна только генеральша. Она шла и молчала, но видъла Въра въ этомъ молчаніи то, что старушка и до сихъ поръ не можетъ забыть, когда весь міръ кажется пустъ.

Священникъ на могилъ, его ослъпительно блестящая риза на солнцъ и жиденькій теноровый голосокъ съ могучей октавой дьякона — томили Въру.

Съ нетерпъніемъ она ждала конца этой обычной процедуры, чтобы остаться одной.

Но вотъ наступилъ послъдній моменть и съ этого момента Въра ничего уже не замъчала и не помнила, кромъ одного чувства: когда она припала къ губамъ своей малютки — ей показалось, что застывшій взглядъ широко открытыхъ печальныхъ глазъ какъ-то странно дрогнулъ, а когда генеральша оттаскивала ее, Въру, отъ малютки — ей чудилось, что малютка приподнималась, чтобы прильнуть своими губами къ губамъ матери

Когда 13 вра немного очнулась—она поняла, что теперь все уже кончено.

Свъжій, маленькій холмикъ могилки, на которомъ она сидить, не вдалекъ, сторожащая ее, Въру— генеральша. — Это все, чъмъ зъключился ея міръ— міръ, когда то огромной радости, теперь міръ огромнаго страданія.

И то, что заключеніе это такъ просто, по-прежнему голубѣетъ небо, свѣтитъ солнце, по-прежнему вездѣ и всюду съ той же силой торжествуетъ жизнь, но никогда ея малютка не увидитъ этой жизни, а она, мать, своей малютки—Вѣрѣ казалось, что отъ одного только этого можно сойти съ ума.

Долго сидъла Въра на холмикъ безъ мысли о себъ, о томъ, что надо-же итти домой и, когда генеральша подошла къ ней, она не сразу поняла, чего отъ нея генеральша хочетъ.

Потомъ встала и усмъхнулась:

— Домой? Да, домой, конечно, нужно итти. Но что же дома?

Шла за генеральшей покорно. Но подъ этой внёшней покорностью клокотали мысли и чувства, которыя по глубине и силё находятся въ подсознаніи человёка. Если бы спросить Вёру, что она переживаеть—она не сумёла бы выразить.

И все, что она во время дороги до дому улавливала въ себъ — это внутренній задавленный крикъ.

Шла, смотръла на небо голубое—сплошное, какъ огненная бирюза, на жгучее солнце и, съ большимъ трудомъ сдерживала себя, чтобы не крикнуть вслухъ:

— 0, солнце, солнце, зачъмъ ты меня обмануло?

Въръ казалось, что если бы солнце не создало ей тъхъ иллюзій, какія у ней явились по пріъздъ, тогда бы ей не было такъ больно.

Цълую недълю провела Въра въ своей комнатъ безъ выходу. Весь міръ казался ей кладбищемъ, алюди—безсмысленными палачами. Чъмъ ни сильнье въ ней была боль утраты ребенка, тъмъ сильнъе отвращеніе къ людямъ.

Когда прислуга приносила ей чай и объдъона смотръла на нее съ тъмъ чувствомъ, которое заставляетъ умирающаго звъря забиваться въ берлогу. Ей котълось куда нибудь спрятаться, что бы никто не видёлъ ея страданія, безсилія и тоски.

Тоска была странная.

Просыпаясь по утру, Въра ловила себя на мысли,—что сейчасъ нужно сварить овсянку, скииятить молоко, дать ребенку лекарства. Но черезъ минуту являлось сознаніе, что ничего этого не
нужно: Надюши нъть! Не довъряя себъ, Въра
вставала съ постели и шла къ коляскъ. Въ глубинъ сознанія змъилась издъвающаяся надъ собою мысль, что эти самообманы смъшны, малодушны, а глаза жадно искали маленькое, изсохшее
тъльце и, не находя, вспыхивали мучительнымъ
недоумъніемъ.

Напрасно Въра убъждала себя, что ни овсянокъ, ни молока теперь не надо—ей все-таки было непонятно, какъ она можетъ не варить овсянокъ и не кипятить молока, не заботиться в лекарствахъ для ребенка.

И день безъ этихъ хлопотъ вставалъ передъ Върой до такой степени длинный и пустой, что ее охватывалъ страхъ: какъ она его проведетъ, чъмъ заполнитъ?

Заполнить, казалось, нечёмъ.

Въра ложилась на постель и плакала, а плача боялась, какъ бы кто въ комнату не вошелъ.

Давила тоска—мертвящая, зловѣщая, порывающая на безуміе: Вѣрѣ страстно хотѣлось пойти въ кухню и варить тамъ овсянку, кипятить молоко: чудилось, что отъ этого будеть ей легче.

Но какъ взглянутъ на эту явную несообразность генеральша и прислуга?

Этотъ вопросъ удерживалъ Въру въ постели. А по ночамъ Въру преслъдовалъ одинъ и тотъ же бредъ.

Видъла мужа. Онъ стоялъ передъ ней такой блъдный, слабый, съ такой страдальческой улыб-кой на устахъ, какимъ она никогда его не видала. Она обрадованно тянулась къ нему:

— Прівхаль, родной! Не выдержаль? Это хорошо. Я такъ больно чувствовала отдъляющую насъ даль разстоянія.

Мужъ молчалъ. И Въръ въ эгомъ молчании чудился упрекъ.

— Винишь меня въ смерти Нади? Но виноватали я передъ ней? Я ей отдала все, что могла.

Мужъ молчалъ. Тогда Въръ казалось, что онъ ее не винитъ, но скорбитъ объ утратъ и, горячечные уста больной женщины говорили то, что она уже писала мужу:

— Не скорби, родной, не скорби! Видишь: смерть ея была неизбъжна. Велики были наши общія страданія и это сознаніе должно примирить насъ съ тъмъ, что мы утратили безконечно любимое существо, которому отдали все, что имъли въ своей горемычной жизни! Намъ не за что упрекнуть себя: наше чувство къ ней было неизмъримо по величинъ и ослъпительно по чистотъ. Сбережемъ, родной, это чувство для нашей крошки.

Привставала Въра на постели и тянула къ мужу руки.

— Да, Надюща для насъ будетъ въчно жить, котя жить далеко... Да, у насъ нътъ ее, но есть много сокровищь: воспоминаній!

Тогда Въръ казалось, что мужъ приближается къ ней и... вдругъ изчезаетъ.

Она просыпалась. И, какъ раньше при ребенкъ ей жутко было безъ мужа, такъ и теперь она испытывала эту жуть. Смотръла въ полуосвъщенную слабымъ свътомъ ночника комнату и бормотала съ тупымъ ужасомъ въ глазахъ:

— Я-одна? Какъ я могу быть одна?

На восьмой день по кончинъ ребенка, въ одиннадцатомъ часу вечера, когда Въра лежала въ 40 градусномъ жару, къ ней зашла генеральша.

Поправила у Въры подъ головой подушку, освъдомилась о самочувстви, а затъмъ, смущенно помявшись, сказала:

— Знаете, Въра Александровна, у насъ находятся выгодные квартиранты на весь домъ, кромъ нашего помъщенія, конечно. Но, вотъ бъда...

Въра поняла сразу, чего отъ нея хотятъ, и недала договорить генеральшъ.

— Вы хотите сказать, что этимъ квартирантамъ нужна и моя комната? Что же дълать? Уъду домой. Черезъ день-черезъ два ваша комната будетъ свободна.

Генеральша хотъла что то сказать, но подумала и поняла, что лучше всего ничего не говорить. И пожелавъ Въръ "спокойной ночи", она ушла. А Въръ ея комната вдругъ сдълалась настолько противной, что она поднялась съ постели, и вышла на балконъ.

Минутъ черезъ пять туда же, какъ будто бы случайно, навернулся генералъ:

- A, здравствуйте! Воть неожиданность! Вась такъ ръдко приходится видъть. Какъ ваше драгоцъннъйшее?

Въра холодно отозвалась:

- Ничего. Спасибо.
- Да-а,—въ раздумъв протянулъ генералъ. И вдругъ заговорилъ очень любезно: —Вы такъ рвдко показываетесь на свътъ Божій... Я человъкъ военный, прямолинейный и прямо вамъ скажу: въ моихъ глазахъ вы стоите выше всъхъ здъшнихъ барынь. Я помню наши съ вами бесёды и, предпочелъ бы проводить время больше съ вами, чъмъ съ мъстнымъ бомондомъ. Удивительно безсодержателенъ этотъ бомондъ!

Въра въ комплиментъ "прямолинейнаго человъка" почувствовала грубую лесть; изъ какого источника эта лесть—она тоже догадалась. И спросила съ усмъшкой:

— Если это такъ, то почему же вы, генералъ, не проводили со мной время? Генералъ развелъ руками.

— Увы! виноваты вы. Настоящая затворница! Въ началъ своего прівзда вы удостоили меня двумя бесъдами, а дальше—забыли, очевидно, старика. А я эти бесъды вспоминаю съ удовольствіемъ: серьезныя бесъды!

Отвращение поднялось въ Въръ и подступило къ самому горлу. Къ чему этотъ старикъ лжетъ? Для Въры было слишкомъ очевидно, что генераль только что узналъ отъ генеральши о ея готовности очистить комнату, и вотъ, чтобы чтиъ нибудь успокоить свою маленькую совъсть—явился съ любезностями.

Когда отвращение немного схлынуло — Въръ стало старика жаль и тихо она ему сказала:

— Генералъ, будемъ откровенны. Можетъ быть, мои бесъды и доставили вамъ удовольствіе, но въ то, что вы желали ихъ еще—я не върю. Въдь, я же въ вашемъ домъ была изолирована, какъ прокаженная, и встръчъ со мной вы избъгали.

Генералъ молчалъ. Въра видъла, что онъ думаетъ, какъ бы потактичнъе выбраться изъ неудобнаго положенія. Усмъхнулась и напомнила:

— Генераль, вы только-что сказали, что вы прямолинейный человъкъ.

И тогда только генералъ сознался. Онъ немного наклонилъ голову внизъ и въ тонъ Върътихо отвътилъ:

— Да, да, вы правы. Но... понимаете, какъ я люблю своихъ дътей? Страшно люблю. А въдь, всякій трясется больше за свое! Вашъ покойный ребенокъ и вы больны опасно. За себя я не боюсь, я уже старикъ, но за дътей встръчъ съ вами избъгалъ. Сознаюсь. Надъюсь, поймете меня?

Откровенность примирила Въру съ старикомъ. Ей захотълось надъ нимъ немного пошутить.

- Такъ за себя, значитъ, генералъ, не бойтесь?
- Нътъ. Пожилъ довольно. Пора, пожалуй, и умирать.
- Не ошибаетесь-ли, генераль? Я, лично, напримъръ, думаю, что жизнь неизмъримо страшнъе смерти, но въдь такъ думаютъ только тъ, кто въ жизни очень много страдалъ.

При яркомъ свъть луны генераль быль видънъ Въръ ясно. Средняго роста, хорошо упитанный, съ безмятежнымъ лицомъ тъхъ счастливыхъ людей, которыхъ ни жизнь и ни складъ души не заставляли глубоко засматривать въ вопросы жизни и смерти. Жизнь шла легко и свободно, какъ по рельсамъ, безъ подъемовъ, срывовъ и паденій, а мысль и чувство довольствовались тъмъ, что есть, и не искали того, что должно быть или будеть. Укладъ привилегированнаго положенія, традиціи, присущія этому положенію—вотъ рефлекторъ, который освъщалъ генералу путь жизни. Ему было свътло и спокойно, а жизнь другихъ при своемъ убогомъ свътикъ онъ не видълъ и не чувствовалъ.

Но генералъ кое-что читалъ, и прочитанное

сложилось въ его памяти, какъ непоколебимая истина для другихъ, но... не для себя.

Самодовольно и убъжденно онъ заговорилъ.

— Нъть, я смерти не боюсь. Чего бояться? Пиеагорейцы бились надъ вопросами: изъ чего и
откуда является духъ, куда стремится и что такое есть печальное таинство смерти? Гюго на эту
тему тоже говориль—и тоже въ духъ пиеагорейцевь. Что такое, молъ, смерть? Что она намъ
даетъ и что отнимаетъ и т. д. въ этомъ родъ.
А Сократъ этотъ узелъ просто разрубилъ. Смерть
въ его представленіи была состояніемъ кръпкаго
сна безъ сновидъній, страданій и радостей. Словомъ, безъ всякой земной суеты. Нирвана блаженнъйшая, полная забвенія— вотъ какъ понималъ
Сократъ смерть. И, по моему—онъ глубоко правъ!

Помолчалъ генералъ и вдругъ:

— Когда вы хоронили своего младенца—я, собственно, думаль поговорить съ вами на эту тему. Отчаивались вы страшно, ну, я и хотълъ сказать вамъ, что страшнаго въ смерти ничего нътъ.

Въра вздрогнула. И пріязнь къ старику опять смънилась огвращеніемъ. Она приблизилась къ нему и ръзко у ней вырвалось:

— Если вы такъ разсуждаете, то зачёмъ же вы такъ трепещете за жиз ъ своихъ дътей? Или ваши дъти изъ особеннаго тъста?

Генераль опъшилъ. Онъ стоялъ, потиралъ руки и не зналъ, что сказать.

А Въра приблизилась къ нему еще ближе-

вплотную, и придавленнымъ шепотомъ бросила:

— Генералъ, увъряя меня, что вы смерти не боитесь—вы лжете! Вамъ смерть никогда еще не казала своего лица, но у меня недавно умеръ ребенокъ, я сама скоро умру, я много, генералъ, думала и думаю о смерти—загляните въ мои глаза, генералъ!

Генералъ заглянулъ и отшатнулся. Ему припомнилось одно ничтожное обстоятельство: когдато онъ въ молодости подстрълиль птицу и, когда она умирала, онъ съ интересомъ слъдилъ, какъ въ полузакрытыхъ глазахъ птицы замирала жизнь.

И теперь, глаза больной женщины поразительно напомнили ему глаза умирающей птицы, и это напоминаніе показалось генералу страшно жуткимъ. Онъ пытался насильственно улыбнуться—вышла жалкая, плачущая гримаса. Потомъ пошелъ отъ Въры и бормоталъ:

— Богъ знаетъ, что говорите. Вамъ нужно лечь въ постель. У васъ жаръ и вы.... ненормальны!

А Въра съ хохотомъ просила генерала:

-- Генералъ, вернитесь! Смерть не такъ страшна, какъ вы думаете. У смерти для иныхъ людей есть преимущества... Вотъ объ этомъ я вамъ и поразскажу!

Но генераль шель. Спина его содрогалась животнымь страхомь, а крыпко-упругія военныя ноги плохо повиновались: онь спышиль впередь, а оны подгибались, дрожали, заставляя его, прежде чымь осилить шагь впередь, толочься на мы-

стъ. Когда старикъ исчезъ, Въра взглянула на небо. Темное, бездонное, съ мягко-печальнымъ свътомъ неисчислимыхъ звъздъ, оно было надъ землей, какъ необъятный покровъ безконечнаго милосердія и кротости.

"Это небо, — подумала Въра, — а вотъ земля"... Городъ еще не спалъ. Бухта блестъла огнями; съ военной миноноски наводили рефлекторъ то на дачи, то на башни старой разрушенной кръпости: было похоже на то, какъ будто бы дъти пускаютъ зайчика". Воздухъ неутомимо ръзали трещавшія цыкады и, въ эти мелкіе, надоъдливые тягучіе звуки по временамъ вдругъ врывался неистовый вой: невыносимо скорбно плакала на дворъ собака.

И этеть вой одинокаго, тоскующаго о чемъ-то звъря, быль Въръ ближе и дороже, чъмъ всъ люди этого города. Ейхотълось спуститься внизъ, обнять кудлатую голову этой огромной собаки и плакать вмъстъ съ ней: человъкъ стъ горя человъческаго бъжить, а песъ никогда не шарахнется!

Въра разрыдалась. Назойливый кашель охватилъ и пригнулъ ее къ периламъ балкона. Итакъ, мъшая слезы съ кашлемъ, она плакала долго, а когда выплакалась—въ душъ было принято безповоротное ръшеніе ъхать къ мужу.

Умиротворенными, счастливыми глазами она еще разъ взглянула на небо, пошла въ комнату и написала письмо мужу.

"Черезъ два дня выъзжаю къ тебъ. Я поняла, что вылечиться бъдному человъку въ крымскихъ курортахъ такъ же трудно, какъ воскреснуть! Изъ Балаклавы я могла бы увхать куда-нибудь еще, но я не хочу мучить себя. Быть всюду одинокой, презираемой, отверженной только потому, что у тебя тощъ кошелекъ; видъть, что несчастье карается на землъ тяжелъе, чъмъ людской порокъ—когда воочію увидишь всю мерзость этихъ двухъ данныхъ, тогда поймешь, что счастливъ тотъ человъкъ на землъ, который имъетъ человъка, на рукахъ котораго бы онъ могъ умирать. За этимъ, родной, къ тебъ и ъду. Твоя Въра".

Въра не ошиблась: она пережила своего ребенка только на три мъсяца. И день смерти ея быль для Чаева днемъ, когда въ представлении человъка жизнь теряетъ все, чъмъ она раньше казалась величава и обаятельна.

Шли дни, недъли, мъсяцы не принося Чаеву облегченія, а засасывая его все глубже въ тотъ тупикъ, гдъ живое человъческое существо становится уже отмежеваннымъ отъ міра. Онъ погрузился въ ту бездну чистаго страданія, гдъ гаснутъ краски жизни, жалкимъ эхомъ звучатъ ея призывные голоса, гдъ пошлая тьма и безсмысленная суматоха человъческаго существованія проръзываются однимъ взглядомъ, какъ лучъ солнца глубину колодца.

Въ Чаевъ боролись двъ тайны—жизнь и смерть —и смерть подавляла жизнь.

Ежедневно онъ вставалъ ровно въ восемь утра,

пиль стаканъ-два чаю и принимался за неизмѣнное: начиналъ ходить изъ угла въ уголъ по комнатъ.

До смерти жены и со дня смерти ея онъ неисчислимое число разъ прошелъ по этому пути то печальный, съ покорнымъ примиреніемъ, то съ гнъвнымъ подъемомъ бунта блуждалъ онъ въ темномъ кругу темныхъ загадокъ и выбилъ слъдъ—-косую линію изъ угла въ уголъ.

Иногда это было для него той болью, которая уже не есть боль, а сладострастное созерцаніе въ ен глубину; иногда—повторять пройденное съ однимъ и тъмъ же результатомъ, заходить со всёхъ сторонъ и натыкаться на одно, имя чему: Тайна—это было такимъ страшинымъ, страдальческимъ однообразіемъ, отъ котораго онъ пытался спастись бъгствомъ.

Съ ужасомъ онъ смотрвлъ на свой следъ—на косую линію изъ угла въ уголъ — и эта линія казалась ему грознымъ символомъ.

Въ мысляхъ о смерти онъ не измъримо далеко ушелъ, чъмъ бы человъкъ никогда о ней не думавшій, но, когда онъ спрашивалъ себя, что же у него въ конечномъ счетъ положительнаго, тогда приходилъ къ заключенію, что всъ его размышленія о смерти въ сущности сводились къ нулю.

Онъ могъ выставить тысячи положеній, что смерть—величайшее благо и, тысячи положеній, что она—величайшее зло, но какъ то, такъ и другое все это было изъ области видимаго чёлове-

комъ, а въ области невидимаго—съ момента, когда смерть кладетъ на уста человъка печать молчанія—тамъ онъ зналъ не больше животнаго.

И эта мысль, унижающая, выгоняла его на улицу. Огромные дома, снующіе извозчики, мчащієся трамваи и автомобили, челов'яческія лица на каждомъ шагу — вначал'я этотъ мощный потокъ жизни успокаивалъ его и, даже слегка захватывалъ: гд'я то въ глубин'я его уставшаго и подавленнаго существа поднимала голову жажда жизни и робко говорила, что нужно набраться силъ на подъемъ, а не поддаваться на упадок'ъ духа.

Но потомъ все это движение жизни показалось ему ненужной сустой настолько, что онъ почувствовалъ себя въ ней лишнимъ.

И съ тъхъ поръ, стоило ему только показаться на улицу—ледяное спокойствіе охватывало его и сильнъе ръзало граздвоеніе: одно робко и запуганно спрашивало: "Жить?" — другое властно отвъчало: "Не стоитъ"!

Это "другое" говорило ему, что и скучно и стыдно жить въ жизни, гдъ въ порядокъ вещей вошло принимать естественное и необходимое для однихъ за преступленіе, а преступленія другихъ—за норму.

И губы Чаева холодно кривились, когда онъ думалъ:

«Сколько идіотовъ и звъриныхъ сердецъ сладко и невинно отдыхаютъ подъ тънью своихъ преступленій противъ человъка въ этомъ огромномъ городъ?»

Онъ остро чувствоваль и видёль, что въ томъ общеномъ темив, на какой обречена жизнь однихъ и, въ томъ мертвомъ поков, которымъ нагло пользуются другіе — нътъ великаго чувства отвётственности за каждое "Сегодня": какъ въ стонахъ и проклятіяхъ погибающихъ, такъ и въ шумномъ, безсмысленно-веселомъ время-провожденіи живыхъ мертвецовъ есть одно только слъпое и жадное: "Завтра"!..

И вся трагедія человіческой жизни, гді хозяева жизни громоздятся на пасынковъ жизни, казалась ему отвратительной комедіей: живые трупы ведуть свой безконечный танець на трупахъ!

И такъ онь бродилъ по улицамъ города до тъхъ поръ, пока не пустъли его глаза. И тогда его охватывалъ необъяснимый страхъ: а вдругъ кто нябудь почувствуетъ, что сътчатка его глазъ неотражаетъ ни домовъ, ни извозчиковъ, ни трамваевъ, ни человъческихъ лицъ?

И эта мысль родила у него не менте странную мысль: онъ начиналъ думать, что мертвому не менте страшно среди живыхъ, чтмъ живому среди мертвыхъ.

Спѣшно онъ шелъ домой. А жуткій страхъ заставляль его все болье и болье надбавлять шагу: онъ хорошо видѣль все воодушевленное и невоодушевленные предметы, но все видънное имъ странно преломлялось въ его зрѣніи въ пустоту—и эта пустота была нестерпима.

Очутившись въ своей комнатъ, Чаевъ чувство-

валь некоторое облегчение. И грозная косая линія изъ угла въ уголь, казалась не такъ уже страшна. Съ горькой улыбкой онъ смотрель на следъ своихъ ногь и думаль, что когла нибудь после него придеть плотникъ и рубанкомъ сострогаеть, а маляръ закрасить безплодный путь его исканій, где разумъ жалко спотыкается на первыхъ же шагахъ.

Это безсиліе человіческой мысли тянуло его къ столу. Онъ присаживался, но работа не шла. У него не было необходимаго для него условія: тишины.

За одной ствной его комнаты жила консерваторка, терзающая рояль по 16 часовъ въ сутки, за другой безголосый хористь, мнящій себя великимъ артистомъ и неутомимо работающій надъсвоимъ голосомъ, а за дверью его комнать—хозяйка, въчно грызущаяся съ кухаркой, что "то сожгла, другое не дожарила".

Невольно прислушиваясь къ визгливо-пронзительному крику хозяйки, къ голосу надрывающагося "артиста" и къ треску клавишей рояля— Чаевъ съ непередаваемой тоской смотрълъ на чистые листы бумаги: роднъе и дороже этихъ листовъ бумаги у него въ жизни уже ничего не было.

Эта бумага манила его къ себъ, объщала отдыхъ, забвение всей остроты его переживаний. Ему казалось, что она смотритъ на него съ мучительнымъ укоромъ за то, что она чиста. Онъ

нервно набрасывалъ какой нибудь отрывокъ мысли и, не читая, смотрълъ: черныя строки вспыхивали въ его глазахъ далекимъ, блъднымъ, мерцающимъ свътомъ и, бумага говорила ему, что для всякаго страданія, если оно претворено на ней въ образы, есть предълъ, гдъ страданіе утрачиваетъ отчаяніе, гдъ боль становится дорогой и гордой болью.

И, подобно человъку, измученному мракомъ ночи и грезящимъ о солнцъ, Чаевъ заламывалъ руки за голову: чтобы онъ теперь создалъ, если бы у него была тишина?

Но дикіе, смітанные звуки человіческой злобы и глупости били по слуху Чаева, какъ камни, и та чудесная, страшно глубокая музыка, которая вдохновенно рвалась изъ него, замирала: мысли и чувства его тупітли.

И съ оглушительнымъ, внутреннимъ крикомъ: "Творить!", съ сознаніемъ, что только въ творчествъ онъ можетъ подавить весь этотъ безконечный трепетъ своихъ переживаній—онъ хватался съ отчаяніемъ за перо и начиналъ писать.

Но начатая вещь на первомъ же листь невольно скомканная летьла подъ столь. А дальше уже шло то безумное напряжение, отчего съдъеть волось, тухнеть ваглядь и стынеть кровь, или тоть экставь, когда мятежный духъ человъка и изъ муки творить себь высшую радость.

Много такихъ часовъ провель за столомъ Чаевъ, когда весь вижший міръ утрачиваль для пего всъ свои звуки и краски, когда всъ пять чувствъ его были до такой степени нечувствительны, точно не существовали.

Съ бълымъ, какъ мълъ лицомъ, съ лихорадочно горящими, глубоко ушедшими въ себя глазами, съ низко склоненной надъ чистыми листами бумаги головой, сидълъ человъкъ и думалъ, что только откровеніями страданія человъкъ когда нибудь поднимется на ту высочайшую грань, гдъ съ одной стороны раскроется жизнъ со всъми своими тайнами смертей и рожденій, съ другой—будетъ стоять обнаженное Лицо Въчности.

А потомъ у Чаева наступалъ упадокъ. Онъ незнакомъ былъ съ чувствомъ страха передъ грозой, но рояль, хористъ, перебранка хозяйки съ кухаркой, дълали съ нимъ нъчто подобное этому чувству: онъ затыкалъ уши ватой, бросался въ постель и зарывалъ голову въ подушки.

И такъ лежалъ, трепеща отъ мысли, что соъжать ему изъ этой обстановки нельзя, ибо тутъ, когда у него безденежье, онъ можеть должаться за комнату за мъсяцъ—за два, чего въ другомъ мъстъ не позволятъ.

Когда хористъ уходилъ въ театръ — становилось потише; въ одиннадцать ночи хозяйка съ кухаркой прекращала свои распри, въ двънадцать дъвица оставляла въ покоъ свой рояль.

Въ квартиръ наступала тишина. И тогда Чаевъ поднимался съ постели, раздъвался и ложился опять. Прислушиваясь къ тишинъ, и чувствуя,

что все тише и тише эти непереносимые приливы и отливы бользненно-приподнятой чувствительности, которые терзали его днемъ, что взамънъ къ нему грядетъ тихое озарение напряженнаго самоуглубления только въ область духа—онъ привътствовалъ ночь:

«Благословенны часы ночи: часы тишины и покоя! Когда узнаешь жуть дня—о, какъ тогда глубоко поймешь, что за великая мудрость вътомъ, что день смъняется ночью».

Потомъ онъ припоминалъ весь свой день—такой страшно-длительный и всегда однообразный, что память о немъ, казалось Чаеву, нельзя хранить до другого дня.

Онъ закрывалъ глаза съ огромнымъ облегченіемъ, что еще день пережитъ и, сухія, безкровныя губы его шептали этому дню съ кроткой и чистосердечной улыбкой:

- Нынъ отпущаеши...

И едва Чаевъ закрывалъ глаза, какъ въ непроницаемомъ мракъ ему начинала чудиться ярко освъщенная безъ начала и конца широкая полоса свъта, въ которой тихо идутъ убъленные съдинами старцы въ бълыхъ одеждахъ. Лицъ этихъ старцевъ невидео: скрыты оборотомъ головы вправо. Они идутъ такой тихой, медлительностранной, точно знакомой съ въчностью поступью.

Это не было сномъ.

Стоило Чаеву открыть глаза—видение исчезало; закрываль — и вновь эта безконечная, светлая

цвиь былыхь одвяний, дававшая Чаеву то необы чайно блаженное ощущение, когда человыку кажется, что онъ изъ невысомой матеріи.

Онъ лежалъ боясь пошевельнуться, думая, что такое необычайное ощущение легкости должно быть у умирающихъ, когда они испускаютъ послъдний вздохъ, а сквозь его сомкнутыя въки выбивались слезы тоски, желающей невозможнаго:

«О, если бы такъ оторваться отъ земли навсегда»!—тихо проносилось въ немъ и, моментами ему казалось, что раскрывается потолокъ и онъ поднимается ввысь.

Но проходилъ этотъ моментъ и съ горькимъ страхомъ сознавалъ человъкъ, что путь земной еще не конченъ, что страшное лицо жизни все еще стоитъ передъ нимъ и требуетъ отъ него новыхъ жертвъ—какихъ же еще?

И отъ этого вопроса онъ содрогался, ибо зналь, что страданія того, кто сумълъ заглянуть въ бездны страданія, подобны миническому дракону: отруби одну голову—выростуть десять!

И тогда въ намяти раздавленнаго человъка авучало проклятіе жизни—ужасающее своей грозной глубиной, вопіющее о томъ, насколько же должна быть страшна жизнь, когда отъ нее отказываются съ такимъ кроткимъ крикомъ: "Дорогая, я такъ устала. Надо отдохнуть…"

Эти нъсколько словъ Чаевъ когда-то прочиталъ въ отдёлъ происшествій, которыя отравившаяся курсистка на клочкъ бумаги оставила своей подругъ, и съ тъхъ поръ этихъ словъ не забывалъ.

Всю страстную недёлю стояли ярко-весенніе дни—и въ эти дни Чаевъ рёшилъ поёхать на первый день Насхи на кладбище.

Наступиль первый день свътлаго праздника, но съ утра Чаеву стало видно, что о поъздкъ на кладбище нечего и думать: было пасмурно, небо клубилось черными тучами, непереставаемо моросиль мелкій, какъ сквозь сато, дождь. Глубоко несчастный, какъ можетъ быть несчастенъ только человъкъ затравленный до того, что уже отмежеванъ отъ всего міра, Чаевъ долго стоялъ у окна въ томъ жалкомъ, слъпомъ помраченіи, когда ему казалось, что его путь—это роковой путь.

Происходило величіе атмосферических измівненій, явленіе, можеть быть, необходимое для равновіть міровых законовіть или для плодородія земли, а ему чудилось, что стоить ему чего либо пожелать, такъ во всемъ противъ него зная сила темнаго неумолимаго рока.

— Что же я еще жду?—спрашиваль онь себя:
—Въдь, отнято все, что человъку скрашиваеть жизнь; больше нечего отнимать, кромъ твоей

жалкой, одинокой, никому ненужной жизни. Къ чему же цъпляться за нее?

Наконецъ, онъ опомнился и сообразилъ, что есть же завтра, послъ-завтра, словомъ, будетъ же когда-нибудь хорошая погода?

И тогда ему стало стыдно за затемивніе мысли и, зло онъ поглумился надъ собой и надъ всёми, кто вь такомъ грехе повиненъ.

Фатъ, гоняющійся за любой юбкой, клянетъ такую погоду. Скучающая и незнающая чъмъ убить время какая-нибудь барынька — киснетъ съ видомъ мученицы, когда погода дурна. Да, мы очень и очень добры, мы зла никому не желаемъ, но если погода намъ въ чемъ-либо помъщаетъ или просто не нравится, тогда мы клянемъ небо и землю, забудемъ мужика, который въ это время, можетъ быть, Бога благодаритъ, забудемъ все и всъхъ, кромъ себя, ибо желаемъ очень немногаго: власти вліять на стихію!

Звонъ колоколовъ густымъ гуломъ шелъ въ окно и этотъ гулъ былъ Чаеву нестерпимъ; онъ ему напоминалъ пору, когда онъ въ такіе дни не былъ такъ одинокъ.

Знакомые, къ которымъ можно было бы пойти не только въ эти дни, но и всегда, у Чаева имълись, но никого изъ этихъ знакомыхъ онъ видъть не хотълъ. Ему въ этотъ день безумно, до невольныхъ слезъ, которыхъ онъ удержать не могъ, хотълось видъть одно существо—своего кота.

Все безконечное разнообразіе сотенъ знакомых ему человъческихъ лицъ расплывалось въ ничто и во всемъ міръ милое и дорогое для него было только въ образъ этого животнаго, котораго ужене было.

Этотъ звърь много скрашивалъ тяжелые дни своего хозяина. Къ постороннимъ онъ оставался по-прежнему неприступенъ; онъ очень нравился хозяйкъ, но при попыткахъ ея приручить его къ себъ—давалъ отпоръ когтями и зубами.

Такая же участь постигла кухарку и хориста. Звърь точно чувствовалъ, что человъкъ по своей природъ опаснъе всякаго звъря, что довъряться людямъ нужно съ выборомъ, ибо звърь никогда и ничего не продастъ, а человъкъ—чъмъ онъ не пожертвуетъ ради денегъ?

Особенно сильно котъ ненавидълъ кухарку. При каждомъ ея появленіи, онъ, хотя бы она его и не трогала, былъ готовъ броситься на нее, а когда Чаевъ, взявъ его на руки, начиналъ его сдерживать, котъ такъ къ нему жался, какъ будто бы просилъ беречь его отъ этой бабы.

И не даромъ. Кухарка два раза заводила съ Чаевымъ разговоръ, предлагая продать кота за пять рублей. Чаевъ хмурился и оба раза просилъ ни съ какими продажами не приставать.

Баба уходила за дверь и оттуда ворчала:

— Тоже... Самому иногда ъсть нечего, а туда же—тварь держитъ. Самъ безъ хлъба сидитъ, а

его напарываеть: что ни день — на пятакъ пе-

Однажды Чаевъ вышель изъ дому и когда вернулся—кота не было. Онъ сразу понялъ, кто виновникъ пропажи и пошелъ на кухню. Улики были налицо: руки кухарки были поцарапаны. Чаевъ пошелъ не съ цълью заводить скандалъ, а съ миролюбивымъ предложеніемъ откунить кота, но при взглядъ на кухарку, на ея наглую усмъшку, которой она встрътила его—понялъ, что она въ кражъ ни за что не сознается и молча, съ поникшей головой, вернулся въ свою комнату.

Съ недълю Чаевъ тосковалъ по котъ сильно, потомъ острота утраты какъ будто бы сгладилась, но въ этотъ день, въ день свътлаго праздника, подъ звонъ колоколовъ проснулась съ новой силой.

Онъ припоминалъ всю трогательную привязанность звъря къ себъ.

Вотъ часы, когда онъ, Чаевъ, особенно угнетенъ, тогда котъ забирается къ нему на илечи и, мурлыча, трется своей великолъпной шерстью о лицо Чаева такъ ласково, а вмъстъ съ тъмъ и настойчиво, точно говоритъ: "А я? Ты обо мнъ забытъ? Я тутъ, съ тобой!"

Воть его жалобы звърю: "Милый, Васька! Больно, больно жить на землъ. Если бы ты зналъ, какъ больно..." А Васка, если онъ всей боли земли не зналъ, такъ чувствовалъ: переставалъ мурмыкать, а въ умныхъ, дико-гордыхъ глазахъ свътилось тяжкое раздумье звъря.

Весь день Чаевъ протолкался изъ угла въ уголъ по комнатъ, а когда наступила ночь и онъ улегся въ постель—онъ думалъ все о томъ же: какъ бы теперь этотъ звърь выгибалъ свою спинку колесомъ, терся мягкими, бархатистыми лапками о его грудь, и пълъ бы свои непонятныя пъсни такъ вдохновенно, что у него перехватывало бы горло и до тъхъ поръ, пока онъ не засыпалъ.

Некому теперь тихимъ любящимъ голосомъ сказать: "Ну, ну, вижу, что любишь. Но зачъмъ же надрываться-то: я и такъ повърю". Не объ комъ, засыпая, думать, что это живое, дикое, существо—единственное, что дорого, что надо беречь, что любить тебя, что, можетъ быть, такъ же больне переживаетъ въ себъ воспоминаніе объ исчезнувшей дътской колясочкъ...

Не на комъ остановить своего взгляда съ мыслью, что вотъ существо, одаренное благороднымъ инстинктомъ, но во сколько разъ оно выше человъчества, у котораго очень утонченъ разсудокъ, но атрофированы возвышенныя чувства души и сердца, атрофировано то, что ставитъ человъка ниже звъря?

Чаеву казалось, что въ лицѣ Васьки у него отняли мостикъ, который соединялъ его съ жизнью: звѣрь давалъ ему свою любовь, тепло, свѣтъ— отняли у него этого звѣря — отняли послѣднее, что примиряло его хоть немного съ жизнью.

И лежа въ постели, онъ метался въ тоскливой безсильной злобь, что и туть у него на дорогъ

встали деньги богатыхъ людей, ибо бъднякъ не будетъ покупать кота за пять рублей; метался и плакалъ, съ тупымъ оччаяніемъ, думая: "Все отняли! Все украли! Все на землъ идетъ такъ: однимъ слишкомъ всего много, другимъ, кромъ пустоты, мукъ жизни и злобы—ничего!"

Чаеву было очень странно видъть на необъятно пустынномъ мъстъ храмъ, но онъ къ этому храму двигался неудержимо, ибо думалъ, что, если здъсь онъ не осмълится искать разгадки, тогда упустить случай, который никогда не повторится.

Воть небольшая паперть и, когда Чаевъ встучиль на нее—онъ увидаль, что дверь въ храмъ открыта; постоявъ въ нерѣшимости на паперти, онъ робко вошель во внутренность храма. Внутри было тоже странно: ни иконъ, ни живописи по стѣнамъ, ни иконостаса,—вмѣсто него темная завѣса. Правая сторона храма совсѣмъ пуста, а на лѣвой—рядъ гробовъ подъ золотыми покровами. Озираясь по сторонамъ и видя, что кромъ него ни единой живой души, Чаевъ ощутилъ въ себѣ невыразимую жуть при мысли двигаться впередъ, но и вернуться назадъ также былъ не въ силахъ.

Вотъ первый гробъ, вотъ второй, третій, чет-

вертый и, каждый гробъ создаваль величащее колебаніе: не въ этомъ-ли?!

Необходимо подойти и поднять съ головы покровъ, но на это Чаевъ не рѣшался: казалось, что если онъ ошибется—эта ошибка будетъ той роковой ошибкой, послѣ которой у него будетъ отнята возможность дальнѣйшихъ поисковъ нужнаго лица.

И воть онъ останавливается передъ каждымъ гробомъ, стараясь подъ покровомъ угадать форму знакомой фигуры. И когда оказывалось, что это не то тъло, которое онъ зналъ, что одно больше, другое—меньше, что нужно пойти дальше, тогда съ каждымъ новымъ шагомъ впередъ Чаевъ переживалъ тотъ сверхъестественный ужасъ, при которомъ человъкъ прибъгаетъ къ молитвъ: то ему мнилось, что онъ зашелъ слишкомъ уже далеко—стоитъ ему сдълать шагъ назадъ и расплата за дерзость прикуетъ его на этомъ шагъ тутъ навъчно, то, что этимъ шагомъ расплаты будетъ слъдующій шагъ впередъ.

Назадъ—страшно, и впередъ—тоже. Какъ же быть? И рѣшая мысленно, что лучше ужъ—впередъ, Чаевъ съ величайшимъ усиліемъ дѣлалъ шагъ впередъ и творилъ про себя странную молитву: "Я въ тоскъ и тоска во мнъ... Что же страшнѣе этого для человъка?"

Итакъ онъ миновалъ восемь гробовъ, вотъ восьмой-около самого клироса и въ немъ Чаевъ нашель то, что искаль и, что боялся найтти: свою покойную жену.

До входа въ этотъ храмъ онъ томился мыслью, что если въ этомъ храмъ онъ не найдетъ жены—тогда значитъ она не умерла, а жива, но затерялась гдъ-то отъ него на землъ, гдъ, конечно, онъ и будетъ ее искать.

Но кромъ жены, Чаевъ натолкнулся въ этомъ крамъ и еще на нъчто, о чемъ совстмъ не думалъ: въ маленькомъ и уютномъ гробикъ рядомъ съгробомъ матери покоился его покойный ребенокъ.

Чаевъ былъ пораженъ: и тъмъ, что жена и малютка безъ покрововъ, и тъмъ—какимъ же образомъ ребенокъ могъ очутиться съ матерью, когда похороненъ отъ матери за нъсколько тысячъ верстъ? Но надъ этимъ вопросомъ онъ долго не задумывался.

Наличность жены въ этомъ храмв послужила для него доказательствомъ, что она двиствительно умерла; до этого онъ помнилъ, что жена какъ будго бы умерла, что онъ ее какъ будто бы по-хоронилъ, но жилъ этотъ фактъ въ его памяти такъ смутно и зыбко, какъ чье то злое внушеніе.

Въ храмъ была необычайная тишина. Изъ узкихъ и высокихъ оконъ готическаго стиля въ храмъ лились полосы свъта—не свъта земли: этотъ свътъ давалъ увъренность, что его никогда не коснулось солнце.

Какой то непостижимый покой чувствовался въ

этомъ неземномъ свътъ, гдъ [тишина тысячами неслышимыхъ для человъческаго уха голосовъ, возносила гимны Непостижимому Величію!

Чаевъ не дышалъ. Онъ замеръ передъ женой и ребенкомъ отъ счастья за нихъ. Онъ ушли отъ него страшными тънями человъка, съ печатью "обезславленной и обезображенной смертью красоты"— теперь же передъ нимъ было нъчто такое прекрасное, чего онъ никогда не могъ себъ представить.

Были у нихъ всъ тъ же знакомыя ему лица, но лица точно никогда не переживавшія страданій духа и тъла.

Ничего не скрала съ этихъ лицъ смерть, что онв имъли въ себъ въ пору цвътущаго здоровья, кромъ одного только румянца. Лежали безкровныя тъла и, чувствовалось Чаеву, что между этимъ неземнымъ свътомъ и цвътомъ ихъ лицъ —безкровно-матовымъ—есть какая то неуловимая гармонія.

Все было здёсь тайной, дивнымъ очарованіемъ. Малютка и женщина покоились въ своихъ гробахъ въ вёчно бодрствующемъ божественномъ снё: не дрогнетъ ни одинъ мускулъ лица, все оно—полная неподвижность смерти, но эта же неподвижность каждой линіей лица говоритъ, что смерть таитъ за собой высшую форму жизни.

Молись, бейся въ изступленіи головой объ эти гроба—лица лежащія въ нихъ не нарушать печати молчанія, не скажуть болье того, что имъ

можно сказать: своимъ счастьемъ и покоемъ жеңщина и малютка говорили Чаеву, что о жизни на землъ онъ не сожальють, что земля со своими маленькими радостями, печалями и страданіями имъ чужда, кромъ одной жемчужины земли: Любви!

Помимо счастья и покоя Чаевъ видѣлъ на этихъ лицахъ улыбку—улыбку тихой радости свиданія, привѣта, улыбку безъ тѣни скорби о томъ, какимъ страданіемъ онъ искупаетъ утрату ихъ; ему чудилось, что сквозь сомкнутыя вѣки женщины и малютки на него смотрятъ съ кроткой лаской глаза и просятъ: "Не тоскуй о насъ. Смотри—развъ вамъ плохо?"

Имъ было хорошо—на столько, что рядомъ съ чувствомъ счастья за нихъ у Чаева выросло чувство отчаянія, что а онъ вотъ не можетъ быть съ ними, не знаетъ того, что знаютъ онъ.

Онъ имъ не чужой совсъмъ, но все-таки чужой, ибо онъ слишкомъ родны между собою: это родство не только въ совершенно похожихъ выраженіяхъ лицъ, но даже и въ гробахъ.

Чаевъ зналъ, какъ велико иногда бываетъ обаяніе видъть, какъ ребенокъ никнетъ къ груди матери, а мать застываетъ въ блаженномъ упоеніи материнства, но то, что онъ видълъ здъсь, его поражало.

Маленькій гробикъ ребенка ютился около гроба матери такъ, какъ могла поставить только рука Невидимаго.

Что можетъ быть печальнее, если рядомъ съ

гробомъ матери стоитъ гробъея малютки, но тутъ въ этой постановкъ гробовъ былъ выявленъ такой символъ, сила и красота котораго полностью недоступны пониманію человъка.

И своимъ немощнымъ человъческимъ разумъніемъ Чаевъ постигъ изъ этого символа лишь то, что этотъ символъ, символъ жестокости человъка: жизнь каждаго существа на землъ величайшая святыня, даръ неба и проклятъ на землъ тотъ, кто топчетъ этотъ даръ, кто самъ хочетъ жить, а другихъ толкаетъ въ могилу.

Чаевъ передъ гробами стоялъ въ ногахъ и не было у него ни одного движенія, ни одной мысли прикоснуться своими устами до тълъ женщины и ребенка, ибо, хотя эти тъла и говорили ему, что онъ для нихъ близокъ, дорогъ, что ихъ связь съ нимъ не порвана смертью, что онъ съ своей любовью для него то, чего не отнимаетъ отъ него само небо, но пока онъ плоть и кровь—ни онъ, ни онъ не могутъ переступить той священной дали, гдъ бы плоть въ силахъ была осязать своимъ цълованіемъ духъ освобожденный отъ плоти.

И съ мыслью, что тайна близка, а руками ея не коснешься, Чаевъ стоялъ и не дышалъ отъ экстаза передъ величіемъ смерти. И не смълъ даже желать смерти—стоялъ и всъмъ существомъ своимъ молилъ объ одномъ: «Такъ бы стоять въчно!»

На этомъ Чаевъ проснулся; и проснулся въ обычное время: въ восемь утра.

Этотъ сонъ онъ принялъ, какъ милость неба указаніе свыше страдающему человъку на то, какъ онъ долженъ принимать Жизнь и Смерть.

День Чаева тоже радоваль: съ постели ему солнца не было видно—не то оно въ сторонъ, не то выше оконъ,—а комната напоена чудеснымъ, розовато-золотистымъ тепломъ.

Не спѣша онъ поднялся съ постели и присѣлъ къ столу. Ему захотълось запечатлѣть свой сонъ на бумагѣ и, когда онъ его набросалъ и прочелъ и сопоставилъ со всѣми тѣми впечатлѣніями, которыя остались въ немъ отъ сна—ему стало понятно, какъ жалко лепечетъ человѣкъ, когда начинаетъ говорить о тайнахъ смерти. Ея красоту и величіе можно только чувствовать, но передать нельзя.

Въ одномъ только человъкъ слишкомъ преуспълъ передъ смертью: это оклеветать ее.

Чаеву представилась ужасная картина: что представляль бы изъ себя міръ, если бы та измученная и раздавленная часть человъчества, которая стонеть на землъ подъ игомъ наглыхъ и безстыдныхъ, никогда бы не умирала?

Отъ этой картины Чаевъ содрогнулся.

Потомъ онъ неспъша пилъ чай и размышлялъ все о томъ же снъ.

И казалось ему, что не измѣнитъ небо своихъ непреложныхъ законовъ—дать болѣе, чѣмъ дано что не дасть оно міру, міру преждевременных могиль, міру, гдв лучшій цввть жизни вь лицв высокихь духомь людей всегда затравлень и затоптань—не дасть оно этому проклятому самопроклятьемь міру такь желаемаго имь чуда, ибо небо слишкомь велико для роли няньки къ своимь блудливымь, трусливымь и преступнымь дътямь!

Не дрогнетъ твердь небесъ отъ гула слѣпого страданія, ибо никто не созданъ рабомъ и у каждаго человъка есть возможность бороться противъ своего поработителя: платить за ударъ ударомъ.

Вышель Чаевъ изъ дому съ тъмъ, что ему въ цълости и молчании хотълось принести на дорегую могилу.

Было въ немъ какое-то необычайное ощущение кротости и та острая, больная, застарълая тоска по покойной женъ, которая точила его еще задолго до ея смерти, претворялась въ этой кротости въ ту мягкую, свътлую печаль, когда человъть можетъ плакать легкими, возвышающими его и облегчающими слезами.

Такимъ Чаеву и хотълось прибыть на кладбище. Но это ему оказалось не подъсилу. На одной площади, онъ простоялъ болъе часа. Слъдовалъ вагонъ за вагономъ и каждый вагонъ брался приступомъ.

Было что то дикое, унижающее человъка безмърно, въ этой свалкъ. Кто сильнъе и наглъе, брали, конечно, мъста раньше. Сотни людей толпились и увзжали, вновь наплывали сотни лицъ —и ни одного лица не видель Чаевъ, где бы была печать духа, мысли, достоинства: всюду злыя, свиръпыя рожи!

Онъ смотрълъ на эти рожи и съ отвращениемъ думалъ:

«Мы прогрессируемъ! Вотъ онъ современный, культурный человъкъ, являющій дикое зрълище такой свалки, когда онъ отвратительнъе стада животныхъ, гонимаго бичемъ пастуха. И въ какой день-въ день, когда празднують Имя распятаго за нихъ?>

Чуть не случилось несчастіе: какой-то рабочій съ груднымъ ребенкомъ на рукахъ резкимъ движеніемъ толпы былъ сброшенъ на рельсы и, если бы кондукторъ во время не затормозилъ вагона, рабочій и ребенокъ были бы раздавлены.

Всв ахнули, шарахнулись въ стороны, ни одна рука не протянулась къ находящемуся въ опасности, а когда рабочій поднялся и, судорожно прижимая къ груди свою крошку отошелъ поодаль отъ толпы, толпа 'начала ту же давку и свалку, глумясь надъ рабочимъ:

— Ротозъй!

118

- Вотъ дуракъ! Тутъ взрослому невмоготу, а онъ съ ребенкомъ лезетъ!

Чаевъ пошелъ пъшкомъ, пытаясь представить себъ, какое лицо было бы у Христа, если бы онъ видълъ этихъ "христіанъ" въ эти дви, когда они примска во Имя Его, или говорять поздравляю

съ высокоторжественнымъ днемъ Воскресенія Христова?"

Итти ему было далеко, но во всю дорогу у него быль на душъ скверный и острый осадокъ. А когда онъ дошелъ до воротъ кладбища-стало еще хуже.

Какъ передъ оградой, такъ и за ней стояли длинной цъпью въ два ряда нищіе. Еще издали они тянули руки и хоръ канючащихъ голосовъ, гнусавыхъ и надтреснутыхъ, рёзкихъ и хриплыхъ, умоляюще придавленныхъи свиръпо озлобленныхъ нестерпимо противно вылъ въ воздухв:

— Баринъ, за упокой души...

Зловонныя рубища, вм' сто лицъ на каждомъ шагу чудовищныя маски, откуда глубина паденія смотритъ на весь міръ Божій съ ненавистью дьявола—необычайно страшны были эти лица въ этотъ ярко-весенній день, когда воздухъ благоухалъ отъ солнца и отъ распускающейся зелени!

Было Чаеву и стыдно и больно.

«Вотъ, - думалъ онъ: - обратная сторона современной культуры, у которой ни въ чемъ нътъ мужества итти до конца: карать смертной жизнью за нищенство - на это ръшиться не можеть и отъ удовольствія доводить людей до нищенства отказаться не желаеть. Слава тебъ родъ людской, ибо безобразишь ты землю отъ банкира до нишаго!»

Было Чаеву и стыдно и больно до того-хотълось остановиться и зло сказать:

— Идіоты! Просите за упокой душъ не мертвыхъ, а живыхъ. Отпъвайте заживо себя и все человъчество своими дикими гнусными голосами.

Съ темными глазами, угрюмую остроту и тяжесть которыхъ человъкъ ввъряетъ только земль, Чаевъ шелъ къ могилъ жены. Увянула и сгинула по дорогъ на кладбище, какъ роза затоптанная ногами, та его необычайная кротость, съ которой онъ вышелъ изъ дому, та свътлая, мягкая печаль, когда человъкъ можетъ плакать легкими, возвышающими его и облегчающими слезами.

Не поднимая на ходу головы онъ шелъ почти до самаго конца кладбища не замъчая, какимъ тонкимъ очарованіемъ пронизанъ этотъ пріютъ смерти.

Въ одномъ только мъстъ онъ кинулъ взглядъ въ сторону: молодая женщина сидъла и плакала надъ свъжей могилой.

И уже далеко отошелъ онъ отъ этой могилы, а внутри его все еще зло звенъло:

«Рюнить баба? Рюнь, рюнь!..»

Долго стояль онъ передъ крестомъ своей жены и такъ странно ему было видъть на этомъ крестъ свою фамилію: казалось, что онъ—это уже не онъ—одной этой надписью здъсь онъ похорониль себя.

Когда у него ноги устали—онъ не рѣшился сѣсть на могилу жены и опустился на могилу рядомъ. Но сейчасъ же пересълъ на свою съ укоризненной мыслью:

«Дорогую пощадиль, а на чужую не постъснялся. Вездъ и всюду нашь эгоизмъ!»

Долго онъ сидълъ съ наклоненной къ землъ головой, съ темными, ничего не видящими глазами.

Опять точила его тоскливая боль, бѣшеное непримиреніе, что то, что подъ крестомъ, подъ тонкимъ слоемъ земли "никогда невозвратимо, никогда!"

Эти слова звучали въ немъ, какъ безконечный стонъ и плачъ, говоря ему о скорби человъческой жизни.

Чего онъ отъ жизни хотвлъ? Въ сравнении съ другими очень немногаго; всё соблазны міра шли мимо него, ибо та капля чистаго, возвышеннаго счастья, которую онъ имълъ въ лицъ женщины не вязалась съ этими соблазнами, а звала на свой путь-на путь къ прекрасному, къ возвеличенію человъка! Но злой и преступный ходъ жизни давитъ прежде всего то, что ему враждебно. Ничтожество жирно питается на земиъ человъческимъ ничтожествомъ, а все, что выше егообречено на гибель. Затравиль этоть проклятый ходъ жизни его жену и вотъ ея утрата рушитъ всю его жизнь. Унего отняли каплю его личнаго счастья — и воть та огромная тяжесть жизни, которую онъ несъ при женв легко и бодротеперь раздавила его.

Чаеву казалось, что это кладбище — кладбище нетлънныхъ. Онъ силился представить себъ вилъ разложенія труповъ—и не могъ.

Какъ живая мерещилась ему его жена—не та, которую онъ клалъ въ гробъ, а та, когда она была здорова, — и безумная мысль настойчиво осаждала его подавленный мозгъ:

«Всего только полтора — два аршина земли... если-бы...»

Но онъ изо всёхъ силъ противился этому страшному порабощающему чувству, которое способно руками разрыть могилу, сорвать крышку съ гроба для того, что бы хотя на мигъ взглянуть.

И когда это чувство онъ подавиль—ближе и родне онъ ощутилъ покойную. Чудилось ему, что между нимъ и ей возникла какая тихая, невидимая, живая связь, которая не передается словами, но въ которой все, точно душа льнетъ къ душе и языкомъ глубины человеческихъ чувствъ говоритъ о мире и примирени.

"Всв живемъ и всв умремъ, — кротко думалъ онъ: — Сколько я проживу — самое большее, если исключить всякія роковыя случайности, десять — пятнадцать лътъ. Что такое это передъ въчностью? Мигъ! И неразумнъе-ли его прожить безъ тоски, безъ боли о томъ, чего уже не вернешь, какъ бы ты этого не желалъ?"

Чаевъ поднялъ голову, взглянулъ по сторонамъ и тихо покачалъ головой: кладбище выглядѣло сказочнымъ уголкомъ.

Всюду распускающаяся зелень, ликующій хоръпорхающихь птицъ, ярко бълые стволы березъ и солнце, то солнце, которое бываеть такъ обаятельно только равней весной съ тъмъ нъжнопрозрачнымъ, звонкимъ воздухомъ, гдъ идетъ неуловимая игра синевато-огнистыхъ бликовъсъ звуками.

И это обиліе свѣта и красокъ творило изъмъста скорби какую то тайну мудраго единства жизни и смерти, точно два добрыхъ духа—Жизнь и Смерть сошлись здѣсь и върили, что слѣпое, несчастное человъчество научится когда нибудълегко жить и легко умирать.

И сколько Чаевъ ни смотрълъ по сторонамъ ни единой скорбной мысли, ни единаго скорбнаго чувства не рождалось въ немъ. Даже ветхіе и печально поникнувшіе отъ времени убогіе деревянные кресты и тъ говорили о чемъ-то безконечно миломъ и трогательномъ.

Чаевъ былъ доволенъ: тъмъ, что выжидалъ повздки на кладбище нъсколько мъсяцевъ.

Острое недоумъніе какой-то смутной недоговоренности оставиль въ немъ бълый саванъ снъга, когда онъ хорониль жену. И пока снъгъ лежалъ на землъ—каждый день былъ для него порывомъ навъстить покойную, но онъ выдержалъ себя до конца. Упорно ему думалось, что навъстить нужно въ свътлый весенній день и тогда... Что тогда? Этого онъ хорошо не зналъ. Казалось одно, что только въ весеній день у него исчез-

нетъ зимняя недоговоренность и замънится яснымъ отчетомъ. Въ чемъ?—Этого тоже себъ не представлялъ, но чувствовалъ, что этотъ отчетъ будетъ чъмъ то важнымъ, ръшающимъ.

И теперь онъ поняль, что не обманулся.

Онъ долго сидълъ на могилъ жены; сидълъ до иллюзіи, когда ему чудилось, чго такая въ него входитъ благоговъйная тишина, когда можно незамътно для себя Богу душу отдать.

И мысль въ немъ звучала, какъ отрывки тихой, далекой музыки:

"Благословененъ остатокъ дней и благословененъ конецъ! Хорошо бы умереть, вотъ сейчасъже, здѣсь на могилѣ, но хорошо и еще пожить. Жить и безбольно, безтрепетно, съ свѣтлымъ чувствомъ въ себѣ ожидать конца. Порокъ, простая человъческая жадность и слѣпота езть наша боязнь смерти, наше неутолимое "еще бы пожить!"

Пошелъ Чаевъ съ кладбища, когда оно начало шумъть и ръзать глаза потоками пышныхъ нарядовъ.

Слишкомъ криклива была эта толпа своими нарядами и праздничнымъ настроеніемъ въ этой тишинъ: такъ же свътило солнце, такъ же буйно развертывалась зелень, а Чаеву казалось, что тамъ, гдъ глукая и смъшная, мелко тщеславная и жестокая толпа не умъющая чувствовать повсюду щедро разбросанныхъ щедротъ Бога, тамъ меркнутъ свътъ и краски природы.

Выйдя съ кладбища, Чаевъ бодро зашагалъ по городу. Долго тянулась окраина города зъ жалко-убогихъ домишекъ, съ тоскливо-темными окнами, но когда наступилъ центръ—видъ роскошныхъ дворцовъ будилъ въ Чаевъ чувство, какое испытываютъ выздоравливающіе.

"Жить! Жить!" — оглушительнымъ крикомъ проносилось въ немъ и отъ этихъ могучихъ словъ тотъ внутренній горизонтъ Чаева, который во время его упадка духа сузился до мыслей и чувствъ только о себъ, вдругъ раздвинулся въ безконечность.

Жизнь всего сущаго, казавшаяся до этого дня такой далекой и ненужной, вновь подошла къ къ нему вплотную и обвила его всъми своими радостями и болью.

Жадно онъ смотрѣлъ на городъ, слушалъ красный звонъ его колоколовъ и, думая, сколько людей въ этомъ городъ, сердца которыхъ сочатся кровью подъ этотъ звонъ, томился бъшенымъ приступомъ мести и разрушенія.

Ему мерещились картины народнаго гнъва, когда камня на камнъ не оставляется тамъ, гдъ слишкомъ пышно распустились черные цвъты въ лицъ политическихъ мошенниковъ и наглыхъ, зажиръвшихъ мъщанъ, гдъ бъднякъ ограбленъ и осмъянъ до того, что давно забылъ думать особъ, какъ о человъкъ, гдъ трудъ умаленъ, какъ безчестіе, а праздный паразитизмъ живетъ съ гордо-поднятой головой, и онъ давалъ себъ

127

объщание жить и работать только во имя этого дня.

м. СИВАЧЕВЪ.

Минутами на Чаева находило сомевніе, что этого грязнаго, торжествующаго надъ жизнью потока никому и никогда не остановить, ибо этотъ потокъ отравилъ души рабовъ и рабовладъльцевъ до того, что ихъ ничвиъ уже не исцълить: это въкъ мертвыхъ, догнивающихъ душъ. гдъ все живетъ иллюзіей и ложью, преступленіемъ и насиліемъ!

Но стоило Чаеву взглянуть на небо и опять тишина и миръ, бодрость и въра охватывали ero.

Небо слалс ему незримые цвъты.

Чувствоваль Чаевъ, что память о дорогихъ угратахъ въ жизни будетъ съ этого дня цвести въ его душъ той свътлой печалью, которая никогда ни омрачится безплодными взрывами тоски; что никогда у него уже не повториться это безсиліе, когда человікь самь же топчеть свою волю, грезитъ о смерти ежедневно только для того, чтобы упиться больной мыслыю о суеть-суеть человъческого существованія.

Домой Чаеву итти не хотелось. Онъ присель на бульваръ около памятника Пушкина и, наблюдая, какъ мимо него густо идетъ шумная, праздничная толпа, жадно-жадно вглядывался въ человъческія лица.

Такъ онъ просидълъ, пока не стемнъло. Тогда онъ пошелъ домой и засълъ за работу надъ

давно забытыми рукописями. Проработаль до поздней ночи, а передъ тъмъ, какъ лечь спать, набросалъ въ свой дневникъ:

"Привътствую тебя большая мудрость, которая пришла ко мнъ послъ столькихъ испытаній: отнынъ я ничъмъ не буду поражаться, ничъмъ восторгаться, никогда не буду унывать, а тъмъ паче, отчаиваться! Сегодня я не чувствоваль себя, какъ и впредь не буду чувствовать, въ огромномъ городъ чужимъ, одинокимъ, безнадежно потеряннымъ, хотя и былъ въ немъ одинокъ, какъ перстъ: знаю я, что такихъ, какъ я, въ городъ много и эта невидимая связь будить во мнв ту веселую ярость, которая думаеть за себя хорошо посмъяться... Жаль, конечно, что жизнь человъка такъ коротка, но все же-лучше поздно, чты никогда, понять, что долгь человъка -- это до конца итти противъ злыхъ силъ жизни.

Какъ вспомнишь, до чего я былъ забить-жуть беретъ.

Вся человъческая подлость и глупость чудились мнъ въ одномъ образъ. Идешь по улицъ и кажется, что пятится передъ тобой доомерзвнія мизерный, съ хищнымъ, сухо-застывшимъ лицомъ, съ колючими, какъ иглы, глазами, съ дьявольски насмъщливой улыбкой на тонкихъ и холодныхъ какъ ледъ, искривленныхъ губахъ человъчекъ и смвется: "Видишь, какъ я противенъ, малъ, ничтоженъ, а между тъмъ-я неуловимъ и необъятенъ! Я-властелинъ надъ жизнью. Я царь надъ

подлостью и глупостью, а подлость и глупость развъ въ человъчествъ измъримы и исчерпаемы? Ха-ха-ха! Кто поклоняется мнъ, тотъ — глупецъ можетъ быть умнымъ, взысканнымъ всъми почестями жизни; кто противъ меня—умный будетъ глупцомъ и нищимъ, оплеваннымъ и презираемымъ всъми!"

Да, въ жизни безъ жизни, въ мірѣ безъ мира души люди гдѣ-то далеко—далеко—въ свѣтломъ туманѣ ранняго дѣтства учатся изживать великую радость бытія: благодарную ясность взгляда на міръ Божій, безъ которой одни безконечно наглѣють, другіе—безконечно принижаются.

И когда я думаль объ этомъ—было странно видъть, что надъ такимъ человъчествомъ такое небо! Кроткое, голубое, залитое ослъпительнымъ солнечнымъ свътомъ оно благословляло землю, ту землю, вся исторія которой сплошной и безпредъльный цинизмъ человъчества надъ человъкомъ.

Мнѣ хотѣлось хохотать надъ лже-христіанами, вѣрящими въ спасительную силу смиренія, утверждающеми, что надо покорно подставлять голову подъ удары несправедливости; хохотать надъ тупостью и слабостью, которая никогда не осмѣливается поднять гордо головы къ небу и подумать, что единственный завѣтъ этого чудеснаго неба человѣку, пока человѣкъ живъ на землѣ,—это: "тебѣ отомщеніе, и азъ воздай!"

БОЛЬНИЧНЫЙ ДЕНЬ.

Еще только шестой часъ утра, а два ряда правильно разставленныхъ коекъ уже оживляются.

Молодежь просыпается неохотно, лёниво; подниметь голову, посмотрить на окна, прислушается: блёдный, робкій свёть уличнаго освёщенія слабо серебрить окна, изрёдка звякають звонки трамваевь.

И опять прячуть головы подъ одъяло: можно еще немного поваляться.

Старики поднимаются со вздохами облегченія. Съ вечера они улеглись на покой вмістів съ тараканами, но это не мізшаеть имъ говорить:

— Слава Богу! дождались и утра. Ночь-то тянется-тянется, конца не видать.

Начинается тяга въ уборную: идутъ умываться. Молодежь по утрамъ жестока къ старцамъ: лежитъ и нъжится. Приходится какому-нибудь съдому, сгорбленному мужу, который и самъ то еле видитъ, вести уже совевмъ слъпыхъ мужей. Стоитъ поводырь и терпъливо ждетъ, когда можно тронуться: за поясъ его халата объими руками прицъпится одинъ, за этого точно такъ же другой, за другого третій, за третьяго четвертый.

Дъло съ глазами пустяковое, минутное, а вотъ поди-ка безъ глазъ: натыкаются другъ на друга, безпомощно и боязливо бороздятъ руками воздухъ, качаютъ головами:

- Охъ, Господи!

Наконецъ-то, трогаются. Молодежь зубоскалить:
— Третій звонокъ!

Печальное и трогательное шествіе: старыя, жалкія діти!

Согбенныя спины, руки цѣпляющіяся за кушаки халатовъ, то, какъ они идутъ, все ясно говоритъ, что никогда эти люди глубже не понимали, какъ необходимо: "Любите другъ-друга!" И они теперь любятъ по настоящему: какъ бы не оторваться, не спутаться? Чувствуется, что каждый на ходу только тѣмъ и занятъ, какъ бы не толкнуть сосѣда впереди и не дать наткнуться на себя сосѣду сзади.

Лысыя головы трясутся, наклонены впередътакъ скорбно, покорно: знаютъ бъдныя, старыя дъти, какъ они теперь безпомощны. Съ какой стороны не явись обидчикъ—не увидятъ. Значитъ, нечего и головой вертъть: склони выю—бей, если сердце не дрогнетъ!

Палата освъщена одной лампой подъ густо-матовымъ колпакомъ. Бълыя, высокія стъны отъ такого свъта играютъ зловъщей синевой трупа. И глумятся надъ старенькими: тъни отъ шествія на стънахъ чудовищныя — точно медленно подвигается какая-то страшная живая каряга.

Является няня Авдотья. Въ рукт большой, мтраный чайникъ съ кипяткомъ; несетъ его съ видомъ, даже въ стант перегнулась, котя тяжесть не столько ужъ велика,—какъ будто-бы совершаетъ непосильный подвигъ.

Свиръпая женщина лътъ подъ пятьдесятъ, съ тонкими, ядовито поджатыми губами, со злымъ раздраженіемъ въ глазахъ и, мягкой, неслышной походкой.

Молодежь вскакиваетъ, посившно набрасываетъ на себя халаты и мчится умываться.

Хоть не всѣ Авдотью боятся, но всѣмъ непріятно видѣть и слышать, какъ она покачаетъ головой и изречеть:

— Это что такое? Лежатъ?... а?

Она никогда не кричитъ, тонъ у нея всегда ровенъ, но таковъ, точно большаго преступленія не можетъ быть.

Возвращаются изъ уборной старцы. Ползуть старенькія уже за молодежью одинь по одному и радуются:

— Ишь ты, молодые глаза-то поскоръе ведутъ. Начинается часпитіе.

Авдотья за своимъ столикомъ въ углу палаты сидитъ въ такой внушительной позъ: боязно подойти.

Первую чашку наливаетъ себъ. И не какъ нибудь, а съ любовью, съ почтительностью къ своей особъ.

135

Слъпыхъ у ней по ея глубокому убъжденію никогда не бываетъ:

м. сивачевъ.

- Притворяются. Небось мимо рта ложки не пронесутъ.

А по этому она никогда больнымъ на столики

кружки съ чаемъ не подаетъ.

Разносять слъпымъ чай молодежь. А она только снисходить до того, что бы налить. Не по кружкь не по двъ, а когда ихъ на ея столикъ цълый рядъ-со всей палаты.

Разносчики стоять, ждуть и смотрять на ея чашку: раньше чайника въ руки не возьметъ,

пока не отопьеть сама.

А пьеть чинно, важно, не спъша, какъ солидные люди. И выражение въ это время на лицъядовитъе, словами не выскажешь:

- Ничего. Подождете.

Отпила. Наливаетъ прежде себъ и, конечно, съ той же любовью, почтительностью, даже съ невольной умильной улыбкой, но первая чашка для больного - и превращение: вся страшно-живое воплощение темной злобы.

Тутъ настолько холодная, застарвлая ненависть, которая мнитъ себя великой добродътелью. Чтобы Авдотья недълала изъ своихъ прямыхъ обязанностей, все у ней въ ярко выраженномъ видъ выходитъ:

— Только мое доброе сердце...

Сразу ее и не поймень: ошеломляеть. Кажется, что соглашаясь служить няней-она дёлаеть великую милость, приносить большую жертву и сердится, что этого не цёнять, какъ следуетъ. Чай пьется невесело. Изръдка кто-нибудь изъ молодежи перебросится словомъ-другимъ: вяло робко.

А старики и совстмъ помалкиваютъ. Научены уже горькимъ опытомъ, что какой разговоръ не заведуть, Авдотья вмѣшается и всѣхъ, кто говорить неугодное ей, отпоеть:

- Молчи, если ужъ Богъ убилъ!

Слышать это, когда они и въ самомь дълъ убиты, старикамъ не подъ силу.

Даже Егорушка, восьмильтній бутузь, большой илуть, любитель поболтать, въ темахъ для разговора никогда не затрудняется, даже и онъ держитъ языкъ за зубами. Чуетъ маленькимъ сердечкомъ въ бабъ что-то неладное, посмотритъ то на нее, то на больныхъ и, видя, что всв Авдотьи порабливають, преисполняется страхомь, иногда граничащимъ съ недоумъніемъ и почтительностью.

Одинъ только человъкъ не трепещетъ передъ Авдотьей-это загнанный нуждой и бользнями литераторъ. Ему лътъ около 30-ти.

Вечеромъ онъ ложится позже всвхъ; по утрамъ въ палатъ холодно и онъ никогда не встаетъ съ постели, не выпивъ чашки чаю.

Высунеть изъ подъ одъяла голову и спрашиваеть своего соседа съ левой стороны:

— Маня, а мив приволокли? Маня собственно и не Маня, а Дениска—17 лът-

137

ній мальчугань, настолько хорошенькій, что многимь дівицамь не угнаться. Ніжный цвіть лица, румянець коть выріжь, каріе, умильные глазки сь поволокой, даже и голось—мягкій, женственный, а когда Дениску молодежь начнеть мять, туть ужь нізть сомнівнія, что Дениска появился на світь Божій не въ полномь смыслів. Маней только потому, что здівсь замізшаны злыя шуточки природы: взвизгиваеть и жеманничаеть точь въточь, какь деревенскія кокетливыя дівки, когда ихь парни тискають.

Дениска на литератора "за Маню" сердится: очень его ужъ иногда молодежь одолъваетъ. А служить все-таки охотно: чашка чаю уже на столъ. Нельзя, конечно, и не пококетничать: силится изъ ласково улыбающагося лица сотворить нъчто вродъ презрительнаго равнодущія и пъвуче тянеть:

— Мнъ? Лежебокъ какой. Долженъ я тебъ чай

подавать? Слугу какого нашелъ.

Литераторъ съ улыбкой выпиваетъ чашку, встаеть съ койки, суетъ ноги въ туфли, набрасываетъ на плечи халатъ, забираетъ полотенце и идетъ въ уборную.

Едва онъ выходить изъ палаты, Авдотья ко-

сится на его койку:

— Это што такое? Всв люди поднялись, а онъ коть бы што. Во лбу глаза-то. Хуже его ни одного больного никогда не было. Всв хороши, но этоть чище всвхъ!

И смотритъ на всъхъ больныхъ: не поддержитъ ли кто?

Оказывается нътъ. Всъ молчатъ. Блъднъетъ баба отъ злости. А тутъ еще Денисъ,—знаетъ, шельмецъ, когда подъязвить!—стоитъ съ чашкой литератора и невинно говоритъ:

- Няня, налей-ка ему чайку-то.
- Подождеть. Что онъ за баринъ такой, что не въ очередь ему буду наливать. Разъ попалъ сюда, да надълъ арестантскій халатъ, будь ты хоть полковникъ, а честь тебъ со всъми равна. А онъ, кто такой? Въдь, этого не знаемъ. Много ихъ такихъ съ хитровки сюда являются.

Помолчитъ. Ужъ ей трудно дышать. Передохнетъ и вырветъ у Дениски чашку:

— А тебъ не слъдуетъ къ нему лъзть. Пусть самъ во время встаетъ и ходитъ себъ за чаемъ. А опоздалъ—побудь-ка безъ чаю: другой разъ не проспитъ. Что онъ тебя подрядилъ ухаживать за нимъ?

Денисъ возвращается къ своей койкъ:

'— Подрядить—не подряжаль, а почему же хорошему человъку не уважить.

Авдотью всю передернетъ.

— Хорошъ!.. Это што такое? Нашелъ "хорошаго", нечего сказать. Должно быть, много у тебя въ головъ... Вонъ онъ хорошій-то: вылъзъ изъ подъ одъяла, какъ свинья, и ушелъ.

Тутъ Авдотья признаеть, что у ней есть слъпые:

— Вонъ, старики, невидущіе люди, да и тѣ встанеть съ постели и убереть за собой. А этотъ... убирай ка вотъ за нимъ!

Дениска поправляетъ подушки, стелетъ одъяло

и поджигаетъ:

— Мы уберемъ. Хорошему человъку почему не уважить. А онъ правду говоритъ: няньку, говоритъ, вы избаловали, ничего она изъ того, что она должна дълать, не дълаетъ вамъ.

Нянька уже не въ силахъ говорить. Качаетъ головой и ъстъ Дениску такимъ взглядомъ: чтобы она сдълала этому мальчишкъ, если бы имъла неограниченную власть?

Слышится приближеніе литератора. Авдотья наливаеть его чашку. Не въ очередь. Чайникъ тоже

виновать: отчаянно гремить его ручка.

Говорить Денискъ шипящимъ шепотомъ:

— Бери. Неси хорошему человъку...
Денисъ идетъ, но передъ столомъ походка робкая: какъ ни храбрится, а естъ страхъ передъ
бабой. Всъ молчатъ. Головы больныхъ, особенно
у плохо видящихъ и слъпцовъ, понурены низко,
скорбно.

Возвращается литераторъ и принимается за свою чашку чаю. Смотритъ на больныхъ: знаетъ уже, что въ его отсутствие больнымъ за него пришлось пережить нъсколько тяжелыхъ минутъ.

Жаль ему этихъ покорныхъ, пришибленныхъ жизнью людей. И хотя у самого нътъ ни малъй-шаго желанія болтать — заводить какой-нибудь разговоръ.

— Какъ старики спали? Что видъли во снъ? Старики всегда видятъ сны.

Больные чуть-чуть оживляются. Когда литераторъ заговорилъ—ови посмълъе.

Авдотья недовольна—косой взглядъ на литератора и общее замъчаніе:

— Ну, вы не очень-то прохлаждайтесь. Вамъ только дёловъ-то!

Какъ ни сдерживается, но выходить такъ грубо, злобно, что даже у литератора пробъжить по тълу непріятная дрожь; иногда онъ промолчить, иногда отпарируеть:

— На всёхъ парахъ, няня, гоните. А къ чему неизвъстно. Дайте людямъ чаю спокойно попить.

Авлотья молчить.

Больные съ чаемъ спѣшатъ. Особенно старики: то уныло сидъли въ ожиданіи, пока имъ няня соблаговолитъ налить, теперь обжигаются. Огпитъ чай. По положенію: по двѣ чашки на человѣка. Больше не полагается. На это у Авдотьи свеи соображенія: рѣже будутъ въ уборную ходить и полъ въ палатъ чище. Моетъ и вытираетъ Авдотья чашки; и хоть моетъ и вытираетъ плохо, но гремятъ у ней онъ на славу.

Громъ этихъ чашекъ имѣетъ для больныхъ свой языкъ: жмутся и чувствуютъ больные насколько они здѣсь нежелательны.

Литератору, конечно, достается больше всвхъ. Надумала Авдотья ввести порядокъ, чтобы больные за чистотой чайной посуды следили сами—

141

и люди было покорились: дня три мыли и вытирали.

Но литераторъ поднялъ бунтъ:

— Это не дъло больныхъ. Вы, няня, не имъете права сваливать своихъ обязанностей на больныхъ.

Авдотья поджала губы:

- Ну, ужъ мий это лучше знать. Чего вамъ тутъ дёлать: за что-нибудь вы должны же казенный хлёбъ ёсть.
 - А вы за что получаете казенныя деньги?
- За что тебя не спрашивають. Какой нашелся!

Литераторъ пообъщаль, что онъ запросить врача: обязаны-ли больные слъдить за чистотой посуды? До запроса Авдотья не допустила, но загремъли съ тъхъ поръ въ ея рукахъ чашки.

Вытерта и убрана посуда въ столъ. Больнымъ изъ налаты надо уходить: няня будеть наводить порядокъ въ налатъ. Она почему-то очень не любить, чтобы кто-нибудь въ это время тутъ оставался. Исключенію подлежатъ только тъ, кому наканунъ сдълана операція.

Выбираются больные изъ палаты въ столовую. У Егорушки съ этой поры начинается трудовой день: тянеть на буксиръ одного или двухъ старцевъ. Держатся дряхлыя руки за плечи малыша—малышъ серьезенъ, ведетъ съ важнымъ сознаніемъ, что онъ дълаетъ—большое дъло.

Страшно грохають табуретки, столы, ръзкимъ

рывкомъ сдвигаются койки, неистово стучить по полу щетка: казенное добро расплачивается передъ Авдотьей за то, что въ ея палатъ всегда такіе неугодные ей больные. Горе больному, который послъ операціи вынужденъ въ это время лежать здъсь. Чего только онъ не наслушается.

Всв негодяи. Всв двлають ей, Авдотьв, на зло, всв въ уборной нагадять до того, что она не можеть убирать: тошнить. Всв нищіе, бредяги съ Хитрова рынка: заботься о нихъ, служи имъ, а когда выписываются, никто гривенника на чай не дасть.

Горе такому больному: послѣ этого онъ не только въ уборной гадить, но и по палатѣ-то бо-ится пройти.

Горе такому больному: когда онъ будетъ выписываться и, не желая попасть въ число бродягъ съ Хитрова рынка, дастъ Авдотъв на чай, онъ убъдится, что она недовольна гораздо большимъ, чъмъ гривенникъ. Приметъ съ видомъ, точно она ничего не принимаетъ, а если ей дадутъ мъдяками—и совсъмъ не приметъ. Двугривенный серебромъ возьметъ, мъдяками, даже и больше—нътъ: такой металлъ ее оскорбляетъ!

Въ столовой свътло: горять три лампы. Оживленно: тутъ пьють чай еще изъ двухъ палатъ: средней и церковной. Палата Авдотьи называется "катарачной". По больничному порядку больные изъ катарачной тоже должны пить чай въ столовой,— на этотъ счетъ Авдотьъ уже дълали врачи замъчаніе, но ей это почему то не нравится и она продолжаетъ поить чаемъ въ своей палатъ.

Няня Луша носится изъ столовой въ свою палату—церковную,—съ чашками чая.

Катарачные ей замъчаютъ:

— Балуешь ты своихъ больныхъ, няня.

— Ужъ очень молоденькіе у меня. Нельзя имъ не услужить. Люблю молоденькихъ!

Отъ молоденькихъ въ ея палатѣ всегда тихо, какъ въ могилѣ, да и пахнетъ могилой: глухіе и слѣпые лѣтъ отъ 70 и старше. Рѣдко бываютъ моложе.

Съ завистью посматривають катарачные на Лу-шу: намъ бы такую!

Лушъ лътъ за 27. Кръпкая, круглая отъ полноты, подвижная, жизнью и радушіемъ въетъ отъ всей ея фигуры и лица.

Начинають ее просить:

- Няня, ты перепросилась бы въ нашу палату. У насъ полегче.
 - А въ мою кого?
 - На твое мъсто наша.

Луша отмахивается руками:

— Ни за что! Да она ихъ всъхъ, какъ мухъ поморитъ. У васъ молодежь, да и та боится. А со стариками, что будетъ?

Конченъ чай и въ столовой. Идетъ уборка въ средней и церковной палатахъ.

Въ средней — няней племянница Авдотьи Анна, дъвица лътъ 22. Она тушитъ въ столовой лампы.

— Нюша, —просять больные, —погодила бы тушить-то. Ужъ очень здёсь безъ огня-то того...

Нюша ни слова: только на моментъ вздернетъ носъ—онъ на ея лицъ самое дерзкое, самое выразительное.

Ропщутъ старики:

— Яблоко отъ яблони недалеко откатывается. Но, должно быть, племянница только еще "цвъточекъ". До больныхъ она тоже далеко не сердечна, но такого трепета, какъ ея тетка, она внушить не въ силахъ. Она на больныхъ по временамъ кричитъ, они вступаютъ въ перебранку, потомъмирятся и говорятъ, что съ ней еще "житъ можно!"

Чувствують люди, что вь ея нападкахь больше глупости, самодурства, чёмъ зла. Дълають, пожалуй и, не безъ основанія, предположенія, что туть "не безъ наставленій тети". Но въ общемъ о "цвёточків" много не говорять, но за то о "ягодків" толкують. Одни съ недоумівніемъ:

— Въкъ прожилъ, а такой бабы не видалъ. Какіе есть люди? а?

Другіе со страхомъ:

— Говорять: баба? Воть тебь и баба: любой мужикь струсить! Потому: зломь она дышить. Воть что. Она тебя не только словомь обожжеть, а однимь взглядомь. Аспидь! Дьяволь, а не баба!

Многое тутъ говорится. И даже даются совъты: писемъ черезъ Авдотью не посылать. На такое письмо не жди отвъта: марку прикарманитъ, а письмо изорветь. Что въ палатъ при уборкъ она не терпитъ больныхъ потому: не любитъ свидътелей.

Жалуются, что пропадаетъ сахаръ, чай, деньги. — Много не украдетъ. А если есть у тебя рубля два-три—двугряшъ или побольше—свистнетъ. Иной разъ и не догадаешься: подумаешь, что самъ на что-нибудь потратилъ и забылъ.

И опять совъты: денегь въ палатъ не оставляй,

а носи при себъ.

Говорять, потомъ проносится: "шш-шы!, - и всъ замолкаютъ.

Мягкими, неслышными шагами Авдотья плыветь черезъ столовую въ коридоръ.

На лицъ гордость: ей подъ 50, а она еще молодыхъ затыкаетъ-убралась раньше всъхъ!

То, что она начала уборку раньше Луши и Анны-это она изъ виду упускаетъ.

На больныхъ посмотрить подозрительно: ужъ знаетъ, что-нибудь о ея подвигахъ?

Прошла и опять разговоры о ней, но уже со страхомъ, жуткимъ шопотомъ.

Литераторъ гдъ-нибудь въ углу: наблюдаетъ. Желтые, безобразные халаты, понуренныя фигуры съ невнятнымъ шопотомъ на устахъ-чувство непріязни и страха возникаеть у литератора отъ этой группы, которая въ полутемнотъ напомина-

етъ ему одну сцену изъ Метерлинка. Онъ думаетъ, что это не люди, а тъни людей. Но гдъ же люди? Чудится ему, что люди гдв-то впереди, но гдъ же впереди, когда многіе изъ этихъ людей почти уже на краю могилы?

Шушукаются тыни. Изрыдка вырвется молодой голосъ:

— Надо жаловаться на нее старшему врачу... И сейчась же затихнеть. Такъ, что самъ говорящій сознаеть, что у него вырвался пустой, ненужный и опасный звукъ.

Если бы старшій врачъ узналъ Авдотью во всемъ ея величіи, онъ, можетъ быть, и смъстиль бы ее. Но никогда ему никто изъ больныхъ про Авдотью ничего не говориль. Его всв боятся. Ему лътъ подъ 70. Онъ сухъ. Холоденъ. Ежедневно обходить всв палаты больницы, но смотрить на больныхъ странно: сквозь нихъ, точно передъ нимъ вещь, мъшающая ему что-то разглядъть въ пространствъ. Усталость-ли тутъ, или безразличіе отъ долгаго соприкосновенія съ больными трудно понять. Но за то онъ очень зорокъ къ вившнему порядку. Никогда не поинтересуется темь, какъ кормять больныхь, въ какой атмосферф, создаваемой служащимъ персоналомъ, имъ приходится лечиться и, грозить нянямъ штрафами, если замътитъ, что больной лежитъ на койкъ въ халатъ.

Больные недоумъвають:

— Сидъть въ халатъ на койкъ можно, а лежать нельзя? Чудно!

Всеми силами стараются выполнять это требование—и все-таки попадаются.

ПІушукаются тіни. Потомъ постепенно всі замолкають. Дрожать. Зябко кутаются въ калаты. Съ завистью посматривають на больныхъ средней палаты: они не боятся своей няни и, во время уборки, лежать на койкахъ подъ одіялами. Имъ теперь не холодно. Мерзнеть въ столовой одна только катарачная палата.

Вентилируетъ Авдотья свою налату черезъчуръ: волковъ морозь.

Давно закрыты фортки въ церковной палатъ, жалъетъ Луша своихъ молоденькихъ; за ней закрываетъ въ своей и Анна, а у Авдотьи все еще двъ фортки настежь, хотя открыла ихъ раньше всъхъ.

Мерзнутъ катарачныя, но ни у кого нътъ смълости дерзнуть: закрыть фортки, или хоть напомнить объ этомъ Авдотъъ.

Литераторъ долго ждетъ—зябнетъ самъ, но ждетъ: а не проявитъ-ли кто-нибудь изъ нихъ такого мужества. Безплодно. Развъ иногда какойнибудь старецъ начнетъ коченъть и взмолится:

— Михайла, иди, Христа-ради, закрой ты тамъ... Литераторъ идетъ и смотритъ на градусники: у Лукерьи 11, у Анны 10, у Авдотьи 8 или 7. А не явится она еще долго: не закрой фортокъ—сойдетъ до 0.

Спѣшатъ катарачныя изъ столовой въ свою палату, прячутся съ головой подъ одъяла и щелкають зубами.

Является истопникъ, смотритъ на градусникъ и сыплетъ по адресу Авдотьи забористую брань: онъ съ ногъ сбивается, одинъ на всю больницу, гдъ всего 37 печей, а эта "чортова баба" студитъ на зло. Такъ-ли она студила, когда обязанность топить лежала на нянькахъ?

И подождаль бы онъ ее, да некогда. Ну, да погоди: онъ ей еще покажетъ!

Напихалъ истопникъ дровъ, затопилъ и бъжитъ въ другія палаты.

Является Авдотья. Причесалась. Вымылась. Бълый чепецъ на головъ. Дълъ до прихода врача никакихъ.

Косится на окна. Если нътъ литератора въ палатъ-попадетъ всъмъ на оръхи:

— Закрыли? Поторопились? Непремънно старшему врачу скажу. Это што такое? Надо или нъть освъжить, чтобы вашей вонью не разило? Съ кого спросять это?

Но если литераторъ тутъ — смолчитъ иногда Авдотья, за то онъ припомнитъ.

— Вы помните, что у меня отъ вашего "освъженія" въ прошломъ году было: на-завтра назначили на выписку, а у меня къ вечеру температура до 40. Хорошо, что все обошлось простой лихорадкой. А въдь, могло-бы быть что-нибудь и похуже. И развъ одинъ я: со сколькими ужъ это

бывало? Врачи лечутъ, а вы имъ больныхъ портите.

Авдотья молчить. Непонолебимо увърена, что "освъжение" важнъе человъческой жизни, кромъ собственной: сама въ это время сидъла въ тепломъ ванномъ отдълении. А если въ палатъ еще колодно—ей никто не помъшаетъ вновь уйти туда-же.

Дениска на минуту набирается смълости:

— Что, няня, върно, то върно. Истопникъ вонъ говоритъ, что когда няньки въ своихъ палатахъ топили, тогда ты фортками такъ не студила. Видно, свой горбъ-то больше всего жалъешь!

Передъ Дениской Авдотья уже не смолчитъ.

— Заткни ротъ-то! Кто-нибудь пусть поговорить, а ты заткни,—вырывается у ней такимъ зловъщимъ тономъ, что Дениска ничего лучше не находить, какъ испариться изъ палаты.

Уходить онъ. За нимъ остальная молодежь. Даже Егорушка и тотъ бъжитъ.

Въ катарачной—мучительная тишина. Слышно, какъ молодежь гогочетъ въ коридорѣ, доносятся отдѣльныя слова и фразы изъ средней палаты. Старики уныло вздыхаютъ. Поговорили-бы они о томъ—о семъ; вели-бы свои добродушно-дряхлыя бесѣды, если бы здѣсь не эта баба.

Авдотья сидить на своей койкь—у стыны, пункть, откуда видно всыхь. Тонкія губы до того поджаты: губъ ныть. Глаза медленно, съ застывшей холодной ненавистью, переходять съ одного лица на другое. Ея лицо, — умерли на немъ всъ движенія человъческой души, кромъ злобы и скуки.

Злить Авдотью эта тишина. Видно, что ей и самой хочется поговорить, но она сдерживается. Во-первыхь, чтобы не ронять своего авторитета, во-вторыхь, уже по опыту знаеть, что если и снизойдеть до того, чтобы о чемъ-нибудь заговорить — бесъда не наладится. Никто ея мнъній не раздълить, всъ будуть молчать.

Она сидить и, по истинъ съ адскимъ териъніемъ ждетъ: а все-таки, не затъется-ли?

Острота тишины ростеть. Той тишины, когда нельзя молчать.

Авдотья по своему глубоко страдаеть, но она выдержить. Своимизлорадными взглядами, упорно ищущими глазъ другихъ, она вынуждаетъ раскрыть уста даже у слъпцовъ: лежить или сидитъ старецъ, свъта Божьяго невидитъ, но чувствуетъ что-то нехорошее, отъ чего нужно оградиться.

Такъ, очевидно, иногда у кого-нибудь вырвется:
— О, Господи! Помилуй мя гръшнаго...

Авдотья даже этого не пропустить. Маска скуки и злобы дрогнеть презрѣніемъ, оживится ядовитой улыбкой.

— Вамолился? Это што такое? Съ молоду-то, чай, объ этомъ не думалъ, а когда Богъ убилъ, тогда "О, Господи!" Народъ...

Промодчатъ больные. Но еще острве обострится тишина: звукъ человвческаго голоса уже необхо

димъ. Начинаютъ говорить. Безсвязно. Отрывочно. Ибо нельзя не говорить: иначе эта тишина можетъ вырвать крики бъщенства и безумія.

Няня не дремлетъ. Подаетъ реплики.

Ничего новаго. Все тоже, что и всегда: больно, грубо, низменно. Человъкъ съ двухъ-трехъ словъ уничтожается, втаптывается въ грязь до той степени, когда не въ силахъ отвъчать: не позволяетъ собственное достоинство.

Авдотья въ крайнемъ бъщенствъ — красныя пятна на напряженно поблъднъвшемъ лицъ: съ ней не желають говорить?!

Литераторъ начинаетъ чувствовать себя неладно. Кружится голова. Тонъ, которымъ онъ говоритъ,—грань, когда человъкъ изо всъхъ силъ кръпится сохранить самообляданіе.

— Что вамъ, няня, нужно? Чего вы хотите отъ людей? Если вы не можете переносить больныхъ—не служите. Найдите себъ какое-нибудь другое дъло.

— Больные,—отзывается Авдотья:—Я сама побольные такихъ больныхъ. Больные? Вонъ шеи-то какія на казенныхъ хлъбахъ наъдаютъ.

— Согласенъ и съ тъмъ, что вы больны. Объ этомъ ваша племянница говорить на всю больницу...

Авдотья отмалчивается: ненаходится, что возразить.

Върно, она часто прихварываетъ. Иногда неявляется на день, на два. Однажды даже недъли

три отлежала въ какой-то больницѣ—съ этихъ поръ ея илемянница Анна на вопросъ, чѣмъ была больна тетка, убъжденно отвъчаетъ: "Чѣмъ? Извъстно: отъ зла!"

Авдотья молчить. Она побита. Страшно въ это время ея лицо — лицо мученицы, которая воображаеть, что въ тяжести несомаго ею креста повинна даже родная кровь; но еще страшнъе губы: прямая, едва замътная, живущая судорожной дрожью, линія.

На эту линію даже жадный до наблюденій литераторъ не можетъ долго смотръть. Отворачивается съ чувствомъ непріязни, отвращенія и иногда говорить:

— Эхъ, няня-няня. Оттого вы больны, что вамъ не даютъ высказать противъ людей всю свою ненависть. И никогда не выскажете. У васъ ее такой запасъ—до могилы хватитъ, да и въ нее унесете.

Авдотья хлопаеть глазами. Признакъ, когда она силится понять и не понимаеть. Въ другое время въки ея глазъ почти неподвижны.

Потомъ съ видомъ мученицы—опомнитесь-де, молъ, что вы говорите?!—покачаетъ головой и скажетъ:

— Это што такое?

Жутко старикамъ отъ этой злой, неукротимой силы и хочется отдохнуть на чемъ нибудь свътломъ.

Справляются о времени. Потомъ, кто нибудь броситъ:

- Что-то барыня долго не идетъ.

— Придетъ, милая. Такая о насъ не забудетъ! Няня не утерпитъ:

— Это што такое? Ужъ очень вы о ней... Гребеть за васъ денежки, вотъ и помнить.

Старики точно и не слышали: ладять свое, какъ добра барыня, какъ внимательна, какъ заботится о своихъ больныхъ.

Кривляются, дергаются губы няни. Острый ножь для нее, когда кого нибудь хвалять, а барыню въ особенности. На лицъ гадкая-гадкая улыбка.

— Тоже... нашли ангела... изъ подъ мельницы! Если бы все-то разсказать...

Дълаеть паузу. Смакуетъ. "Все" Авдотья разсказываетъ, должно быть, нянямъ. Лукерья часто говоритъ, что если бы барыня знала, что о ней несетъ Авдотья, — Авдотьи давно бы здъсь не было.

— Если бы все то разсказать, —насладившись, продолжаетъ няня: —знала я ее дъвушкой... Или вотъ умираль въ прошломъ году докторъ... Ужъ на что бы лучше: его ученица. Она къ нему и явись... Боже ты мой, что тутъ было... А ужъ нельзя сказать: быль человъкъ, царствіе ему небесное. (Набожно крестится). Такъ, что онъ дълаль? Топалъ ногами, кричалъ: Кто ты такая? Вонъ...

Няня недоговариваетъ, но циничное слово по-

Всъ молчатъ молчаніемъ: грязное къ чистому не пристанетъ. Литераторъ смотритъ на няню: Гадина. Какая Гадина!

Онъ помнитъ, что, когда былъ живъ "хорошій человъкъ"—не было для няни худшаго человъка, чъмъ онъ: потому что, она была подъ его въдніемъ.

Умеръ онъ—заступила его мѣсто барыня, или, какъ ее зоветъ няня "докторица", плохой человѣкъ сталъ хорошимъ, а хуже докторицы—она самый недобрый человѣкъ для няни изъ всего врачебнаго персонала больницы.

Уходить литераторъ изъ палаты. Бродить по коридору, по столовой, часто поглядываеть на часы: ждеть барыню.

Вотъ является фельдшеръ. Маленькая фигурка съ надменно-откинутой назадъ головой, съ узкими, невидимыми, но юркими глазами.

— Асистентъ явился, — думаетъ съ улыбкой литераторъ, наблюдая, какъ этотъ маленькій человѣкъ чувствуетъ себя въ палатахъ безъ врачей: при нихъ онъ сокращается, но безъ нихъ—въроятно съ такимъ видомъ никогда не шествовалъ по больницъ и самъ старшій врачъ.

До больныхъ фельдшеръ не особенно человъколюбивъ. Исполняетъ машинообразно все, что ему прикажетъ врачъ; часто получаетъ нагоняи за невыполненныя приказанія и робко извиняется: забылъ!

Но за то, гдъ нужно показать и постоять за авторитеть администраціи, хотя это въ большинствъ случаевъ бываетъ и не у мъста, маленькій человъкъ великольпенъ: голосъ поднимается до мощнаго баса!

Больные, конечно, его порабливають, недолюбливають и, молчать.

Въ схваткахъ съ няньками онъ менте счастливъ.

Видить "заботливый" глазъ упущенія и покрикиваеть во всю: онъ здёсь первая спица въ колесницё! Идеть включительно до внушеній, что если такъ относиться къ своимъ обязанностямъ, то не нужно и служить.

Няни его не боятся, но не грубять: покричить, покричить—таковъ же будеть.

Кромъ Авдотьи. Эта ужъ не уступить ему ни одного слова. Бъсится до розовыхъ пятенъ на напряженно поблъднъвшемъ лицъ, напоминаетъ, конечно, другими словами: врачу — исцълися самъ.

Онъ пасуетъ. А она ходитъ весь день съ гордостью: "Отчитала! Не лъзь. Я не кто нибудь, я старшая няня. Жить 15 лътъ и допустить, чтобы какой нибудь фершалишка помыкалъ? Ну, нътъ; погодишь!" Девять часовъ утра.

Въ дни операцій женщина-врачъ является и раньше.

По палагамъ проносится въсть:

— Барыня идетъ.

Вст подбадриваются. Оживляются. Въ катарачной—облегченно вздыхають.

Походка у барыни—походка вѣчно спѣшащаго человъка: половина фигуры наклонена впередъ.

Литераторъ смотритъ и думаетъ:

— Да, эта женщина не думаетъ о красивыхъ позахъ. Некогда. Надо дъло дълать,—вотъ что гнетъ половину прекрасной фигуры.

Съ ея появленіемъ въ палатахъ точно прибавляется больше свъта, радости, тепла. Желтые, замызганные халаты—и тъ даже веселье кажутся. Всъ больные, которые хоть немного видятъ, привътствуютъ барыню почтительными поклонами—всъмъ она отвъчаетъ глубоко—радушнымъ наклономъ головы и тихимъ движеніемъ губъ чувствуетъ женщина неподдъльность чувствъ и, съ сознаніемъ, что выше этой награды ничего не можетъ быть, чутко слъдитъ, чтобы никто не былъ обиженъ ея вниманіемъ.

Дежурная няня подносить ей халать. Она одъваеть и смотрить на больныхъ: большимъ— большимъ раздумьемъ—неугасимая забота, какъ свътлая свъча, свътится въ ея глазахъ.

Егорушка считаетъ своимъ долгомъ явиться на

лицо. Стоить бутузъ передъ барыней, чуть-чуть повыше ея кольнъ и, смъло чеканить:

— Здластвуй, балыня!

Иногда она сразу и не пойметь: откуда такой звукъ? Смотритъ съ недоумъніемъ по сторонамъ.

Но Егорушка не таковъ: скоро не смутится. Ему во что бы то ни стало надо услышать голосъ барыни. Вторично свидътельствуетъ свое почтеніе:

— Здластвуй, балыня!

Она его замъчаетъ. Улыбается:

— Здравствуй, Егорушка, здравствуй!

Егорушка уходить: удовлетворень безъ мъры! Рожица серьезна на диво: съ какой нибудь неумъстной шуткой, пустымъ словомъ—не подходи. Принесло маленькое сердце дань изъ своихъ лучшихъ чувсть и уходить счастливое, упиваясь сознаніемъ, что и ему платять тъмъ же.

Авдотья стоить у входа въ свою палату и возвъщаеть своимъ жертвамъ:

— Больные, выходите.

Надобности въ этомъ возвѣщеніи нѣтъ: всѣ знаютъ, что барыня пришла, многіе уже и вышли.

Но... надо же Авдоть в показать, что бы "докторица" слышала, что она своих в обязанностей не забываеть.

Голосокъ у ней въ это время райскій. Барыня ипогда точно этого и не замізнаеть. Иногда не удержится и взглянеть: если бы Авдотья сыла

поумиње, она поняла бы, что никогда не вернуть ей симпатій докторицы.

Въ сопровождении нянекъ и фельдшера барыня идетъ дълать обходъ тъхъ оперированныхъ, которые еще должны лежать.

Остальные изъ всъхъ трехъ палатъ собираются въ среднюю.

Конченъ обходъ.

Передъ окномъ табуретка. Становится барыня за эту табуретку, съ правой стороны фельдшеръ и няня, столъ съ медикаментами—на двъ-на три секунды остановитъ взглядъ на шеренгъ въ желтыхъ халатахъ.

Молодежи мало: на шесть-семь старцевъ одинъ. Зорокъ глазъ барьни: больныхъ въ общемъ человъкъ до 30, а она сразу замътитъ:

— Авдотья, а почему нътъ такого-то?

Молодежь легкомыслена: забудеть какого нибудь старца въ палатъ. А иногда и жестока: ос. тавитъ затъмъ, чтобы насладиться, когда Авдотъъ влетитъ нагоняй.

Авдотья не сразу тронется съ мъста: пока покосится на молодежь—почему, моль, не вывели? —а Дениска уже мчится въ палату.

Знаетъ барыня эти взгляды, до мелочей изучила и, ръзко звучить ея голосъ:

— Сколько разъ я вамъ говорила: не больные здъсь для вашихъ услугъ, а вы для больныхъ Ваша обязанность водить слъпыхъ!

Авдотья идетъ. На Дениску зыкнетъ, несчаст-

наго, забытаго слѣпца грубо схватитъ за рукавъ и шипитъ:

— Это што такое? Всѣвышли, а ты еще спишь? Ты спишь, а тамъ за тебя выговоры получай.

Но при выходъ изъ палаты, когда она уже на глазахъ "докторицы", Авдотья мъняетъ тонъ:

— Не сюда, не сюда, дъдушка. Иди за мной. Это што такое: ты сюда, а онъ туда.

Всъми силами старается показать передъ врачемъ добрую душу.

Докторица взглянеть ей на лицо: на немъ злоба, что ей все таки приходится подчиняться; посмотрить на то, какъ она волочеть больного: съ такой ненавистью и отвращеніемь держится няня концами пальцевъ за рукавъ халата, точно—это падаль, отравляющая ей жизнь,—посмотрить докторица и, голова устало наклонится на моменть внизъ, лицо поблъднъеть: кажется, что сейчасъ потеряеть самообладаніе.

Нътъ: выдержитъ. Черпаетъ силу въ своемъ дълъ: принимается за осмотръ.

Егорушкъ почетъ. Знаетъ, шельмецъ, что любитъ его барыня за то, что на операціяхъ держитъ себя рыцаремъ, не пугается, не кричитъ; развъ иногда, если ужъ невмоготу, скажетъ: "Ой, тосно, балыня!"

Знаетъ это, шельмецъ, и лъзетъ на осмотръ всегда первымъ.

Какъ на операціяхъ, такъ и на осмотрѣ Егорушка держитъ себя молодцомъ: куда прикажутъ

глазами смотрёть, — ужъ не запнется. Отпустить его барыня съ улыбкой: довольна бутузомъ. За Егорушкой почетъ наиболее дряхлымъ старцамъ.

Мягко звучить голосъ женщины-врача:

— Пожалуйте.

Лукерья усаживаеть больного на табуреть, придерживаеть ему голову сзади.

Тономъ не приказанія, а просьбы звучать слова:

— Направо. Налъво. Вверхъ. Внизъ. На меня-Со стариками бъда. Пока-то онъ на табуретъ сядетъ, пока-то наладится двигать глазами.

Много такихъ, которые совершенно не могутъ дать обстоятельнаго изслъдованія теченія бользни. Его просять смотръть вверхъ, онъ упорно пучить глаза внизъ, ему говорять "направо", онъ—наліво.

Терпъніемъ вибрируетъ голосъ барыни:

— Дъдушка, ну, вверхъ! Смотрите на потолокъ. Неужели вы не можете? Мнъ такъ не видно вашего глаза.

Или:

— Дъдушка, направо. Направо, я васъ прошу. Неужели вы не знаете, гдъ правая сторона? Иногда бъется долго. Прибъгнетъ къ помощи фельдшера:

— Скажите ему.

Фельдшеръ внушительно — строгимъ баскомъ покрикиваетъ и щелкаетъ пальцами:

— Вверхъ. Смотри вверхъ! Не туда смотришь! И сейчасъ-же поправится: женщина-врачъ обращается ко всъмъ "на вы".

— Вверхъ. Смотрите вверхъ. Смотрите туда,

гдъ я щелкаю. Слышите?

Иногда и "щелканье" не помогаеть. Барыня въ отчаяніи—отворачивается къ окну и устало у ней вырывается:

— Я такъ не могу. Я брошу его осматривать. Но пройдеть полминуты, минута — вновь набралась силъ. Проситъ ласково. Чуть не умоляетъ. Знаетъ, что, если лаской не поможешь, грубымъ окрикомъ совсъмъ запугаешь.

Больные негодуютъ-стоять и шепчутся:

- Вотъ, чортовъ пень.

- Дуракъ.

— Да бросить бы его. Чего она съ нимъ бъется.

Надъ такимъ "пнемъ" потомъ издъваются. Внушаютъ ему, что онъ не одинъ. Учатъ, какъ надо смотръть.

Авдотья стоить и злорадно улыбается: изъ такихъ "пней" она черпаетъ убъжденіе, что недаромъ она ненавидитъ больныхъ, а во вторыхърада, что "докторица" мучается.

Но добьется барыня своего: осмотритъ больного.

Отпустить, облегченно вздохнеть и, слъдовъ усталости, приподнятыхъ нервъ, какъ не бывало. Авдотья стоитъ въ сторонъ. Занята Анна, занята Луша, а она—старшая нянька больницы, въ сторонъ. Старшей она себя считаетъ не потому, что существуетъ такое отличіе, а потому, что живетъ—больше всъхъ.

Въ глубинъ души у ней давно сложилась увъренность, что, какъ старшая няня, она и не должна ничего дълать: ея дъло—уже приказывать бы, наслюдать. И раньше она такъ и поступала: стоитъ гдъ нибудь въ сторонкъ, сама ни до чего не касается, но зато, если другія няньки что нибудь по ея мнънію сдълали не такъ, смотрить имъ въ глаза весьма выразительно: "эка, дура!"—и качаетъ презрительно головой.

Но "докторица" такую роль не одобряла; потребовала дёло и отъ "старшей няни". И, долгую, должно быть, борьбу пришлось вести женщинф,—врачу, чтобы дойти до мысли: лучше отказаться отъ услугъ такой няни, чёмъ ихъ видёть.

Она стала дълать видъ, что Авдотья ей не нужна; старалась обходиться услугами двухъ нянь и фельдшера.

Авдотья поняла и въ ея сознании произошла перемъна: какъ гнушаться ея услугами, услугами старшей няни?! Стоитъ она въ сторонъ—лицо искажено злобой, красныя пятна то выступаютъ, то исчезаютъ на смертельно-блъдной кожъ, губы—страшная, едва замътная линія, глаза когда барыня наклонена надъ больнымъ, съ ненавистью впиваются въ нее.

Подниметъ барыня голову-взглядъ ея на Ав-

дотью —взглядъ на пустое мъсто; Авдотья опуститъ свои глаза внизъ, лицо: она мученица! Чъмъ она заслужила такое отношение?

Такъ пройдетъ полчаса, иногда даже болъе.

Не выдержить-ли Авдотья этого позорнаго положенія, или струсить, какъ бы ея опасенія не оправдались: "Что жъ она меня такимъ манеромъ выжить думаетъ? 15 лътъ служу, сколькихъ докторовъ перевидала, а эта, -безъ году недълю здъсьи что дълаетъ?" — не выдержить и старается влъзть въ общую работу.

Воспользуется случаемъ, когда Луша своихъ "молоденькихъ", уже побывавшихъ на осмотръ. потянетъ въ свою палату—и встанетъ на ея мъсто. Луша буксиритъ старцевъ съ веселымъ видомъ. Ее не тяготять эти старые слъпые и глухіе, нигдъ она о нихъ не забываетъ: на осмотръ старается пропихнуть поскорве.

Аннъ въ сущности все равно, кто позже, кто поскоръе, но усердіе Луши ей не нравится и она ее шпигуетъ замъчаніями:

— Чего ты не въ очередь пихаешь своихъ? Луша отмалчивается; знаеть свое: старичковъ нужно освободить поскорве! Молодежь постоить, а ея "молоденькимъ" это не легко.

Отвела Луша своихъ старцевъ, встаетъ на мъсто Авдотьи и смотритъ, какъ она за нее управляется. Старшая няня свиръпствуетъ. Старцу помогаетъ свсть на табуреть — чуть не свалить. Голову начнетъ держать-держитъ такъ, точно вотъ вотъ

будеть вертъть на сторону. Упаси Богъ, если очередной больной чуть замедлить.

Барыня крыпится-крыпится да не выдержить. Сыплются на Авдотью замівчанія:

- Нельзя-ли сажать потише!
- Зачъмъ вы больному голову давите?
- Не рвите... Не рвите такъ грубо за рукава халатовъ!

Авдотья прежде огрызается:

— Я и не рву. Какъ же ихъ еще сажать-то? И качаетъ головой: за что на нее нападаютъ?

Въ глазахъ барыни начинаютъ вспыхивать острые огоньки; смотрить она на Авдотью, когда дълаетъ ей выговоры, уже въ упоръ: голосъ начинаетъ звенъть. Авдотья пасуетъ: отмалчивается. Но если она въ силахъ держать языкъ за зубами, то совершенно не въ ея власти обуздать свою злобу: нътъ нътъ, кого нибудь да и рванетъ.

Видить барыня, что такъ спокойно работать нельзя: устраняетъ Авдотью, Луша становится на ея мъсто.

Стоитъ Авдотья. Дело спокойное. Подъ стать старшей няни. Когда то она чувствовала себя довольной въ этой роли: изредка подать кусочекъ марли, пропитанной іодоформомъ. Тогда пріятно было такъ стоять, всв чувствовали въ этомъ почеть, а теперь-лица всёхъ больныхъ расцвёли, довольны безъ мфры, радуется фельдшеръ, лукаво посматриваетъ Луша и, даже въ глазахъ

собственной племянницы читается: такъ тебя и надо!

Стоитъ Авдотья. Стоитъ съ видомъ мученицы. Фигура, лица—вся застыла въ злобъ, въ ненависти, слегка движутся одни только невидимыя губы.

Анна послъ осмотра будетъ всъхъ увърять:

— До крови раскусала!

Зато барыня спокойна. Безъ Авдотьи дѣло ладится.

Шеренга желтыхъ халатовъ таетъ безъ услугъ "старшей няни" быстръе.

До литератора очередь еще долга. Въ сторонъ кучка молодежи, тоже въ ожиданіи очереди—онъ стоить за ними и наблюдаеть за барыней.

Она стройна и на ръдкость красива. При первомъ взглядъ—ослъпляетъ.

Она работаетъ молча и сосредоточенно, но лицо и глаза говорятъ, отражаютъ ходъ мыслей и чувствъ.

Вотъ дрогнулъ кончикъ изящнаго носа, гордый, обаятельно затвненный волосами лобъ, чуть наморщился, нахмурились темныя брови, глаза вспыхнули—синіе-синіе и глубокіе, какъ море: все это значитъ, что теченіе бользни осложняется, нало надъ этимъ хорошенько подумать.

Сълъ на табуретъ другой больной.

Этотъ радуетъ. Хмурь съ лица исчезла. Прекрасные лучистые глаза ясны, какъ лазурь неба. Видитъ литераторъ, какъ чутки къ боли пальцы барыни, когда она касается глазъ; припоминаеть въ какихъ отвратительно-гнойныхъ бользняхъ подъ конецъ осмотра копаются эти пальцы съ любовью, со страданіемъ и думаетъ, что эта женщина проживетъ не напрасно:

— Она дълаетъ дъло. Огромное, великое дъло, Это не то, что говорящіе безъ умолку о благъ человъчества "барыньки".

Подъ конецъ осмотра барыня устаетъ. Вдругъ ея фигура выпрямляется, голова чуть чуть откинута назадъ; въ такомъ положении пробудетъ съ минуту. Смотритъ на больныхъ: тутъ не только великое сознаніе отвътственности, тутъ уже нъчто большее: величавый экстазъ творчества.

У литератора дрожь восторга.

Вогь доходить очередь и до него.

Изящнымъ, ласковымъ жестомъ барыня указываетъ ему на табуретъ и, какъ музыка, входить въ литератора звукъ:

-- Пожалуйте.

Онъ приближается и садится осторожно и почтительно. Она не знаетъ его истинной профессіи. Въ исторіи болъзни подъ рубрикой "родь занятій" онъ записался ремесленникомъ: "токарь".

Своими глубокими, прекрасно-лучистыми глазами она заглядываеть въ его больной глазъ и, когда говоритъ: "Пожалуйста, направо. Налъво. Вверхъ. Внизъ"—тонъ у нея другой, чъмъ обыкновенно. Звучитъ суще, серьезнъе.

Съ иными дъдушками кначе обращаться и

нельзя, какъ съ малыми дътьми. Обласкай,—чего надо и добьешься; будь чуть посерьезнъе, подъловитъе, растеряется, смутится старецъ и нужнаго отъ него не вывъдаешь.

Съ литераторомъ у барыни иная статья. Видитъ она въ немъ человъка сознательнаго. Этотъ понимаетъ, что "ублажать" всъхъ при массъ работы и времени не хватитъ.

Когда конченъ осмотръ-барыня заключаетъ:

— Великолъпно! Очень хорошо у васъ идетъ. Говорить это она и дъдушкамъ, но имъ больше для успокоенія, съ литераторомъ она дълится улучшеніемъ въ бользни тымъ тономъ радости и довърія, что этотъ человыкъ можетъ уразумыть, что значить удовлетвореніе въ любимомъ дъль.

Литераторъ чувствуетъ это и думаетъ, что, если бы тутъ никого не было, онъ у этой женщины поцъловалъ бы руку: молча! Поцъловалъ бы и пошелъ. Какъ эстетъ, онъ полагаетъ, что истинное поклоненіе и благодарность должны воздаваться въ тишинъ и тайнъ.

Иные изъ прозръвшихъ старцевъ дълаютъ это проще: становятся передъ барыней на колъни и при всъхъ благодарятъ и за любовь и за ласку, и за помощь. За литераторомъ еще десятка два больныхъ. Онъ идетъ въ свою палату, но и оттуда, выбравъ такой укромный уголокъ, гдъ бы его барыня не могла видъть, наблюдаеть за ней.

Наконецъ, пріемъ конченъ. Барыня моментально

улетучивается въ амбулаторію: тамъ еще больше дъла. За ней исчезаеть и фельдшеръ.

Литераторъ тоскливо вздыхаетъ: ушла! И косится на больничную обстановку: все ему кажется здъсь безъ этой женщины нестерпимо хмуро и съро.

Лукерья и Анна убирають на свое мъсто инструменты, лекарства. Авдотья отъ пережитой злобы, какъ говорится, съ креста снята: смертельно блъдная и на ногахъ еле-еле держится. Чтобы помочь нянямъ—ей ужъ не до этого: идетъ отлеживаться въ отведенное для нянекъ помъщеніе. Въ церковной палатъ мертвая тишина. Иные молоденькіе спятъ, иные уже и забыли, гдъ они, что съ ними?

И это бываетъ.

Въ средней и катарачной толкуютъ: кого и чъмъ сегодня барыня порадована и огорчила.

У нъкоторыхъ до того умиленныя и восторженныя лица, точно сни видять свътлое видъніе. Для особенно върующихъ барыня послъ Бога второе лицо, а для тъхъ, которые въ въръ слабы, она божество:

— Вся жизнь въ ея рукахъ: вылечить—поживешь, нътъ—и голозы не приложишь, какъ будешь на свътъ маяться.

Жизнь сурова. Заставляетъ учиться, знать.

Многихъ изъ этихъ людей жизнь заставила притти въ больницу съ такими опредъленіями глазного зрачка: "озерокъ, зенки".

Туть они не только учатся правильно называть зрачокъ—полотеры, мужички, никогда до этого невидавшіе столичнаго города, дворники и пастухи, рабочіе сыплять терминами: "катаракта, трахома, іерить, редактомія, эципировка". Слушаеть литераторь. Встають передъ нимь фабрики, деревни, проселочныя дороги, столичные города и уъздные закоулки—по всеи Руси ежегодно сотни людей будуть благословлять образъ прекрасной женщины.

Слушаетъ литераторъ и думаетъ, что это не эфемерная слава знаменитаго пъвца, артиста.

За разговорами о барынъ время у больныхъ летить. Въ столовой гремять ложками, тарелками.

Въ средней и церковной палатъ довольны:

— Ну, воть и объда дождались!

Въ катарачной и покущать уже хотятъ, да не радуются:

— Экъ, Господи! Опять грызть будеть. Какая ужь туть ъда. Кусокъ въ горит становится, когда она язвить.

Идеть наломничество изъ трехъ налать въ столовую. Лукерья наиболтве "молоденькимъ" не прочь подать объдъ и въ налату, но они хотять непремънно объдать "вмъстъ съ нянюшкой".

Скрипять старыя развалины, того и гляди, какъ бы гръхъ не случился: упадеть и разсыплетс я Но, однако, двигаются:

— Веселье съ ней.

Шумно усаживаются за столъ больные Анны.

Катарачные тише воды, ниже травы. Молодежь, правда, пробуетъ храбриться, но робко и искоса. не забываетъ посматривать на свою няню. Старики жалки и смъщны: такъ усаживаются на скамьи за столъ, точно хотятъ, чтобы ихъ не видъли и не слышали,—это при слъпотъ то!..

Авдотья у стола, какъ монументъ: ждетъ, когда Анна и Лукерья принесутъ съ кухни щи и кашу. По правилу и она должна ходить, но она считаетъ, что свое время отходила.

Являются "младшія" няни. Одна вновь бъжить на кухню, другая разливаеть на оба стола. Слышать катарачные, какъ тамъ просять:

— Мнъ, няня, побольше. Прибавь-ка чуточку! Другіе недовольны:

— Очень много. Не съвмъ!

У Авдотьи такихъ поблажекъ не водится. Она сама знаетъ—сколько кому дать.

При полномъ молчаніи всѣхъ своихъ больныхъ она прежде грубо побросаеть на тарелки по куску мяса.

Не видять старцы ни кусковъ, ни Авдотьи, но то, какъ шлепаются эти куски, заставляетъ ихъ вздрагивать, сжиматься.

Потомъ начинаетъ разливать. Ни у кого не поднимается рука протянуть ей тарелку. Протянешь—виноватъ:

— Чего лъзешь? Не знаю, когда дать? И ждешь—тоже: — Заснуль? Это што такое. Дай только Богь терпънія!

Молодежь приносить себя въ жертву старикамь: усаживается поближе къ Авдотьъ, старцы въ дальнемъ концъ, къ углу ближе, гдъ довольно темно.

Волей-неволей приходится молодежи по командъ Авдотьи подавать ей тарелки, передавать ихъ по-очереди на конецъ стола.

Молодой фабричный рабочій—Курановъ, 17 лътній Санька, Дениска—изо всъхъ силь стараются угодить своей нянъ —и не могутъ:

- Развъ такъ подаютъ? Человъкъ... Какъ будешь жизнь-то жить?
- А ты? ей ты? Что разлилъ! Глазъ-то нътъ. Свинья! Подтирай за ними. Въ хлъвъ вамъ быть, а не съ людями.

Разливаеть она тоже рывкомъ да кидкомъ и, если иногда плеснетъ мимо тарелки—это тоже пойдетъ въ счетъ пролитаго "свиньями".

Молчать. Всё молчать. Егорушку не скоро и замётишь: сжался между стариками, голова изъ подъ уровня стола торчить лишь волосами. У Егорушки лицо запуганное, недоумёвающее: если онъ боится Авдотьи—такъ онъ маленькій, а почему взрослые?

И должно быть, Авдотья ему рисуется такимъ грознымъ и всемогущимъ существомъ, противъ котораго бороться и думать нечего—его возможно только умилостивить.

Знаетъ Егорушка, какъ жадна нянька на пищу больнымъ; знаетъ, что въ его тарелкъ будетъ щами покрыто лишь дно,—этого ему недостаточно, но что за бъда, какъ истинный мужичекъ онъ послъ объда пожуетъ хлъбушка, и, когда доходитъ очередь до него, онъ пускается на хитрость—проситъ нъжно и умоляюще:

- Няня, мив супу совсвив-совсвив немнозечко! Такъ чуть-чуть!
- У Авдотьи на лицъ легкое движеніе—сухаясухая и ядовитая гримаса:
- Не учи. Безъ тебя знаю, сколько надо. Влей тебъ и побольше—очистишь.

Разлиты щи. Принимаются катарачные ъсть.

Является литераторъ. Его тарелка около Авдотьи и, съ самаго начала объда является для нее наиболъе ненавистнымъ предметомъ.

Иногда помолчить. Иногда и не вытерпить:

— Это што такое? Какое распущеніе. Жди его. Литераторъ нервенъ, угрюмъ. Не ходилъ бы онъ на такіе объды и совсъмъ, если бы у него было на что питаться помимо больничнаго содержанія.

Онъ садится съ мыслью не взвинчивать себя: въдь, все равно ничего не измънишь. Но невольно видитъ и замъчаетъ все то, что видятъ и замъчаютъ всъ.

Вотъ миска съ мясомъ: на десять человъкъ. Авдотья выпожила только половину, а остальное — сама покушаетъ сколько можетъ, а остатокъ пойдетъ замужней дочери. Всъ видятъ, какъ эта

дочь является къ маменькъ и уходить нагруженная узломъ. Тутъ мясо отнятое у больныхъ за объдами-отъ каждой порціи по кусочку; тутъ цълыя порціи-это оть тъхъ, кому дълалась операція. Въ этотъ день присвоить порцію и самъ Богь велёль-всё няньки такъ дёлають: больному фоть не полагается. Но Авдотья находить, что оперированному не надо ъсть мяса и на другой и на третій день. Если больной покладистый, дълаетъ видъ, что въритъ ей, что мясо еще не время всть, она обхаживаеть его на порціи ласково: "Для твоей же пользы говорю. По мев хоть вшь, да тебв же, ввдь, худо-то будеть: "Но если попадется изъ такихъ, который желаетъ кушать свою порцію мяса не только на третій, но и на второй день-много злобы выльется на голову такого смъльчака.

Въ пользу дочери же Авдотья ловить у оперированныхъ и порціи ситнаго.

Литераторъ смотритъ на миску съ мясомъ. Авдотья вдругь спохватывается: прячетъ миску въ шкафъ для бълья, который стоитъ тутъ же въ столовой. Кто бы другой посмотрълъ—она бы и глазомъ не повела; а этого боится: пожалуй, и донесеть. Эта боязнь заставляеть ее и мяса ему больше дать, и щей и каши—старается умилостивить точно такъ же, какъ ее Егорушка.

Но, должно быть, литераторъ очень ужъ неблагодарный человъкъ: всъхъ этихъ преимуществъ онъ точно не замъчаетъ, а за ней слъдитъ. Не можеть она за объдомъ равнодушно выносить его взглядовъ.

Съ появленіемъ литератора катарачные чувствують себя немного пободріє; знають, что она при немь помягче, а если зарвется, онь осадить. Литератору жаль этихъ мучениковь: пришиблены до крайности. Начинаеть шутить съ Дениской, Санькой, Егорушкой. Натравить ихъ другь-на друга, вклеить въ это тріо и Куранова. Бранится молодежь довольно энергично, зло. Егорушка великолівнень: пышеть такимъ гнівомь, что трудно удержаться отъ сміха. То у него кто-то хлібоь стащиль, то въ тарелку корку хлібов бросили. Визжить на всю столовую:

— Да въдь, -- это-зе илямое безоблазіе!

Это уже онъ выудиль изъ лексикона литератора. Ругается молодежь, но глаза говорять иное: эти тяжелыя минуты закрыпляють ихъ дружбу.

Благодарно улыбаются старцы: спасибо Михаилу! Всъ, включительно до маленькаго бутуза, понимають, что этоть шумъ устраивается съ цълью: чтобы не давило молчаніе, не такъ больно ръзала Авдотья.

Она качаетъ головой:

— Это што такое? Какъ въ кабакѣ. А если старшій врачъ навернется,—кто будеть въ отвътѣ?

Литераторъ наматываеть ей на усъ:

— За это отвѣчать не придется, а за что-нибудь другое, когда-нибудь и попросять къ отвѣту.

Позеленъетъ няня, но промолчитъ: она выше всякихъ подозръній!

Лукерья и Анна столбами у своихъ столовъ не торчатъ: въ свободную минуту присаживаются къ больнымъ.

Авдотья никогда себя до этого не допуска-

Литераторъ думаетъ, что не въ этомъ-ли -разгадка того, что она упорно поитъ своихъ больныхъ чаемъ не въ столовой, а въ палатъ. Тамъ у ней отдъльный столъ, здъсь она будетъ вынуждена състь на одну скамью съ больными: стоя пить чай не совсъмъ удобно, да и тянется онъ много больше объда.

Думаетъ литераторъ и пытаетъ:

— Вы, няня, присъли-бы. Въ ногахъ, говорятъ, правды нътъ. Вонъ Лукерья и Анна куда моложе васъ—а зря не утруждаютъ себя. Чего вы стоите, когда къ этому нътъ надобности.

Авдотья молчить. Только лицо чуть дрогнеть сухой и ядовитой гримасой, да жадно блуждають глаза, кого бы ей осадить? Поводовь у ней къ этому не мало.

Кто раньше съвлъ тарелку щей и, потянулся было за кашей — дерзаетъ на это только молодежь, осмълвшая при литераторъ, — нельзя Авдотъв обойтись безъ внушеній:

— Поторопился. Какъ на пожаръ. Что, очереди не знаешь? Жди! Видно, ъсть то мужичекъ, а работать то мальчикъ.

Старики не забываются: съвсть старець щи и ждеть, когда наступить очередь каши.

Авдотья и этого не проглядитъ:

— Хорошъ старичокъ: кушать-то молодого угонитъ. Это што такое?

Качаетъ головой съ видомъ наивысшаго удивленія.

И это качаніе головы й непередаваемо-злая иронія въ тонъ—убійственно дъйствуєть на самую кръпкую натуру.

Какая-то чудовищно-злая власть, которая способна принизить человъка до того, что ему стыдно за то, что онъ долженъ ъсть.

Литераторъ иногда промолчить, иногда теряетъ самообладаніе. Голосъ напряженъ, звенить:

— Вы не очень-то, милостивая государыня! Сколько разъ я вамъ говорилъ—и опять говорю: я буду жаловаться врачу. Всв мы люди, а не безплотные ангелы. Всв должны всть. И не вамъ упрекать людей: вдите вы больше, чвмъ больные. Вдите за счетъ больныхъ. Стыдитесь!

У Авдотьи—красныя пятна. И злобно—недоумъвающіе глаза:

— А я тебъ тоже сколько разъ говорила: я тебя не трогаю,—не трогай и ты меня. Чего тебъ отъ меня надо? Да и что я такое сдълала? Слова сказать нельзя. Какіе анералы, подумаешь.

Помолчить—и уже съ видомъ мученицы и съ крестнымъ знаменіемъ.

— Вотъ передъ Богомъ говорю: тыщи боль-

Больничный день.

ныхъ видала, а такъ ни одинъ не обижалъ, не-измывался.

Объдъ отравленъ окончательно.

Вновь всв подавлены, растеряны.

Авдотья чувствуеть себя нобъдительницей и добиваеть:

— Жуютъ... Это што такое? Ужъ этотъ не человъкъ, не работникъ, который такъ ъстъ. Долго я буду дожидаться?

Молодежь спѣшить. Старцы низко нагибаются надъ тарелками. Иной слѣпецъ изъ боязни не налить на столь—вымочитъ не только усы и бороду, но вымараетъ въ щахъ и повязку надъглазомъ.

Къ усамъ и бородъ Авдотья равнодушна; качаетъ лишь головой и ядовито улыбается, но повязку—не стерпитъ:

— Это што такое? Хуже свиньи. Всть, а повязка въ тарелкв.

Молчитъ литераторъ. Виновникъ не помышляетъ объ оправданіяхъ, что онъ не видитъ— тономъ забитаго, запуганнаго человъка умоляюще проситъ:

- Нянюшка, прости! И самъ не знаю, какъ вышло. Поторопился, вотъ и бъда.
- Поторопился? Что же у тебя рожа-то изъ дубовой коры? Не чувствуешь, что обливаешься? За щами вторая пытка: каша—размазня.

За 15 лътъ пребыванія на мъсть няни—Авдотья не научилась сдълать самой простой перевязки;

когда больному прикажутъ измърить температуру, она кого нибудь изъ нянекъ или изъ больныхъ спрашиваетъ; "Сколько?"

Тайна термометра для нее непостижима.

За то въ томъ, какъ надълить больныхъ кашей безъ масла, въ этомъ Авдотью превзойти трудно.

Смотрять съ завистью на посуду съ кашей Дениска, Санька, Курановъ—смотрять и облизываются.

Вкусно пахнетъ масломъ. На всъхъ его хватитъ, чтобы сдобрить размазню, еслибы не Адотья: все масло сгонитъ къ стънкамъ посуды, окружитъ его вокругъ размазни кольцомъ, чтобы не расплывалась туда, куда ему плыть не слъдуетъ.

Перемъщавъ такимъ образомъ изъ середины кастрюли она начинаетъ надълять: быстро и грубо, шлепается на тарелки размазня. Нътъ въ это время у "старшей няни" того медленнаго, не спъшащаго величія, съ какимъ разливаются щи. Щи никуда не стекутъ, предательское масло, какъ разъ подведетъ!

Гонитъ изо всъхъ силъ молодежь:

- Ну, давай тарелки! Чего спите?

Молодежь подаеть. Покорно. Обезкураженная наглостью.

Литераторъ смотритъ съ ненавистью на Авдотью и съ сожалъніемъ на больныхъ.

Они жують размазню съ отвращениемъ: безъ

масла, она горчить. Они не прочь бы отказаться отъ такой каши и попросить еще щей.

Пользуясь минутой, когда Авдотья съ довольнымъ видомъ тащитъ прятать въ шкафъ посуду съ кашей—они шепчутся:

- Какъ умъетъ дълать: масломъ даже и не пахнетъ.
- А щей то сколько осталось? Съёль бы лучше щець, чёмь это.

Литераторъ заглядываетъ въ посуду со щами: иногда не розлито и половины.

И предлагаеть:

— Чего же вы молчите? Щей дала вамъ по двъ ложки, размазни по ложкъ. Масло коть сама сожреть, а щи то, въдь, въ помойное ведро пойдутъ. Хотите, я сейчасъ приведу старшаго врача?

Всѣ молчатъ. Развѣ только иногда какой нибудь старецъ скажетъ:

— Богъ съ ней. Богу отвътитъ. А отъ врача шуму много будетъ, а пользы—какъ бы еще хуже не было. Богъ съ ней!

Литераторъ уходить въ палату. Авдотья подходить къ столу и косится на тарелку литератора:

— Баринъ. Размазни не можетъ кушать. Сталобыть, еще не голоденъ. А какъ же "мы-то" ѣдимъ? Больному что: онъ лежитъ, ничего не дѣлаетъ, ему изъ дому все тащутъ. А мы работаемъ. Намъ никто ничего не принесетъ. До обѣда то такъ натопаешься, что и этой размазнѣ рада!

Этимъ "мы" Авдотья добиваеть людей окончательно.

Всв двлають видь, что Авдотья въ недостаткъ пищи не причемъ.

Обвиняють экономку и эконома:

— Въ карманъ себъ тянутъ.

И вспоминаютъ врача, который уже умеръ: вотъ былъ человъкъ! Въ недълю два-три раза обязательно приходилъ пробовать пищу. Чутъ чего нехватаетъ, или что плохо—сейчасъ экономку къ отвъту. Тогда всего было много: и говядины, и щей, и каши—маслянъй не надо!

Больные припоминаютъ врача, которому няня, когда ръчь идетъ о барынъ, осъняя себя крестнымъ знаменіемъ, желаетъ "Царствія Небеснаго", какъ хорошему человъку.

Но туть о барынъ ръчь молчить, а посему Авдотьи ядовитая улыбка и перемъна мнънія:

— Это што такое? Тоже... нашли человъка! Мнъ лучше его знать, чъмъ вамъ. Не въ свое дъло онъ лъзъ, вотъ что. Его дъло палата съ больными, а не кухня. А онъ вездъ свой носъ совалъ.

Приподнимается у Авдотьи рука, складывается въ крестное знаменіе, но не для благого пожеланія:

— Прости меня Господи! Крутъ былъ покойникъ, не тъмъ будь помянутъ. Обижалъ сильно!

Разговоры прерываются. Однимолча, черезъ силу, дойдають кашу. Не дойшь— Авдотья не упустить случая накинуться:

- Это што такое? То жалуются: все имъ мало.

А сами не сожрутъ и того, что дали. Глаза у васъ жадные!

Другіе довли и ждуть, когда можно будеть выйти изъ-за стола.

Наконецъ, конченъ объдъ. Идутъ катарачные въ свою палату. Идутъ униженные, оскорбленные до той глубины, гдъ нътъ ни гнъва, ни злобы, а есть только безконечный стыдъ и отвращеніе. Идутъ и говорятъ:

- Если бы деньги въ карманъ...
- Мало что... Не только бы говядину, да ситный—бери все, что полагается больному, только не ръжь, не измывайся, не аспидничай.

Плохо бъднякамъ.

Авдотья неистово гремить посудой и громить "свиней": и налили, и накрошили, и жадны—куска чернаго хлъба не оставять!

Въ "черномъ хлъбъ" всъ няньки заинтересованы: собираютъ куски и продаютъ. Авдотья при своемъ умъньи "рвать кусокъ изо рта" пользуется, конечно, отъ этой статьи больше всъхъ.

Попутно старшая няня отпускаетъ словечки и по адресу младшихъ нянь—Лукерьи и Анны: какое распущеніе—у нихъ еще объдъ не конченъ!

Няни точно не слышать. Зато больные невольно посматривають на Авдотью и шепчутся:

- Вотъ баба...—Не дай Богъ!
- Какъ ужъ они ее терпять? Чего только не переносять?

— Не дай Богъ такую няню. Хуже лихого татарина.

Литераторъ послѣ обѣда бродитъ по всѣмъ угламъ угрюмый, подавленный: мѣста себѣ нигдѣ не найдетъ. Въ средней палатѣ стариковъ нѣтъ, юной молодежи тоже почти не бываетъ—большей частью люди лѣтъ подъ 40.

Туть послѣ обѣда любять соснуть. Иные просто поваляться. На катарачныхъ смотрятъ съ пріятнымъ сознаніемъ:

 У насъ спокойнъй. Покой намъ наша нянька даетъ.

Въ церковной палатъ Лукерья укладываетъ своихъ молоденькихъ "баюшки-баю".

И халатъ скинетъ, и подушку поправитъ, и подъ одвяло уложитъ.

Молоденькіе отъ нее прямо въ экстазъ.

Свъта Божьяго старые хрычи не видять, а признанія сыплять такія, какими, въроятно, никогда не дарили своихъ избранницъ въ молодости:

— Лушенька, красавица! Ангелъ ты нашъ! Да до гробовой доски не забуду!

Лукерья отшучивается:

— Спите. Нечего стонать-то! Спите, а я вамъ пъсенку на сонъ спою.

Молоденькіе, правда, уснуть; имъ это надо, но надо же дать нянюшкъ, кромъ словъ, что нибудь и посущественнъе. Тотъ яблочекъ, другой апель-

синчикъ, третій конфектъ. И не взять нельзя: самъ не ълъ—ей берегь!

Литераторъ иногда попугаетъ молоденькихъ:

— Говорять, что старшій врачь нянекь хочеть перем'єтить: Лукерью къ намъ, а Авдотью въ вашу палату.

Старцы пугаются.

— Упаси Богъ!

182

И не успокоятся до тъхъ поръ, пока Луша не убъдить, что это шутки.

Тогда они сердятся: стары они, чтобы надъними шутить.

Идетъ литераторъ въ коридоръ. Куритъ тамъ до одурвнія.

Являются Дениска, Санька, Курановъ и просятъего:

Пойдемъ. Виноградовъ въ шашки будетъ играть.

Мочи нътъ отъ стариковъ: охаютъ, да вздыхаютъ.

Идетъ литераторъ въ свою палату и садится съ пожилымъ фабричнымъ рабочимъ—Виноградовымъ за шашки.

Садится съ условіемъ: не бояться Авдотьи. Шашки развлеченіе—развлеченіе для всёхъ. Одни слушають молча, другіе подають голоса:

— Что, Виноградовъ, забиваетъ онъ тебя?

Виноградовъ играетъ недурно, гордится тъмъ что на фабрикъ онъ первый игрокъ, но литератора осилить не можетъ. А литераторъ еще поджигаетъ: — Ну, что, другъ: куда пойдешь, кому скажешь? Положение такое: подумаешь.

Виноградовъ входитъ въ азартъ.

— Пойду. А куда—тебя не спрошусь. Ты не думай... ты, чай, полагаешь, что запрешь?

— Ужъ это какъ пить дать. За шашкой-то, пожалуй, и не погонюсь, а дамку припереть постараюсь.

"Съ дамками" у Виноградова случался гръхъ, но онъ въ немъ чистосердечно не въ силахъ покаяться—приходитъ въ ярость.

— Дамку?! Погодинь. Не на такого напаль. Ты шашку то хоть запри, а съ дамкой-то подожди, пока у тебя будуть внуки.

— Да вѣдь, запиралъ? Чего отказываешься? Виноградовъ фыркаетъ съ величайшимъ презрѣніемъ:

— Запиралъ? Нарошно я тебъ поддавался, а ты думаешь и въ самомъ дълъ. Очень ужъ ты уменъ!

Около играющихъ уже кольцо. Свои собрались всъ, кромъ слъпыхъ, половина средней палаты явилась.

Смъхъ. Сужденія о ходахъ. Люди отрываются отъ своихъ нерадостныхъ думъ. Но не надолго. Авдотья не зъваетъ. Едва въ палату вошла и уже шипитъ:

— Мети, убирай, заботься о чистоть, а туть не только свои, чужіе ходять поль возить.

Больные изъ средней палаты хотя и оробъли,

но жаль имъ оторваться отъ игры: стоятъ, точно не слышали.

— Вы, что же желаете, чтобы я старшаго врача привела?—спрашиваетъ Авдотья.

При имени старшаго врача "чужіе" уходять въ свою палату. Виноградовъ не только забываеть данное объщаніе не бояться Авдотьи, но утрачиваеть весь азарть и лжеть:

— Довольно. Глаза что-то устали.

Всъ въ катарачной на своихъ койкахъ. Авдотья сидить на своей,—ушла бы, да боится, какъ бы не собрались опять.

Вся она—усталая, страшная злобная одурь. Эта одурь обрекаеть ее на одиночество.

Лукерья и Анна сидять иногда въ столовой. О чемъ онъ тамъ болтають? Можетъ быть, сладко силетничаютъ? Ядовитъе Авдотьи никто не сумъетъ этого сдълать. И пошла бы она къ нимъ, если бы онъ ее не чуждались, а она на нихъ не такъ злобилась: на племянницу за то, что она не хочетъ плясать подъ ея дудку, а на Лукерью—непереносимо для сознанія старшей няни, что явилась какая то бабенка, живетъ безъ году недълю, а дары деньгами и прочимъ получаетъ столько, сколько старшей нянъ и не снится.

Сидить злая баба и чаще всего взглядываетъ на литератора. Онъ больше всъхъ ей на дорогъ. До него была для развлеченія больныхъ форменная шашечница: съ ящикомъ, съ точеными костяшками,—пожертвовалъ одинъ больной. Выпи-

сался этотъ добрый человъкъ—и шашечница ау! Больные поскучали-поскучали да и ръшились:

Больные поскучали-поскучали да и рѣшились: сдѣлали себѣ изъ бумаги. Авдотья нашлась: на глазахъ у всѣхъ ее въ клочки. Послѣ этого на шашечницу никто уже не отваживался. Явился литераторъ—появилась шашечница—убогая, жалкая, намазанная чернилами по сѣрой бумагѣ, съ шашками изъ грязнаго картона:

Смотритъ баба на литератора: не будь бы его подошла бы она и показала бы, какъ слѣдуетъ уничтожать такія доморощенныя издѣлія!

Тоскливо вадыхають старики. Соснули бы они, да что-то мѣшаеть. Одинь лѣть подъ 70, страдаеть въ это время мучительнѣе всѣхъ.

У него безусое и безбородое птичье лицо, тонкая гусиная шея, застывшіе въ какой-то напряженной остротв глаза: кажется, что онъ долженъ видвть необыкновенно зорко, но онъ ничего не видить.

Слезы медленно катятся у него по впалымъ щекамъ и говорить онъ жутко, ни къ кому не обращаясь:

— Хоть бы немножко мив видеть. Ужь не до работы, а такъ бы—чуть-чуть различать отъ окошка къ окошку. Жилъ и пословицу помниль: отъ сумы, да отъ тюрьмы не отрекайся. Вотъ только объ одномъ, что съ сумой-то придется ходить съ поводыремъ, объ этомъ не думалъ-не гадалъ. Господи, барыня: прозрвй ты меня коть чуть-чуть!

Всѣ молчатъ. Всѣ тяжко подавлены: не одному слѣпота угрожаетъ и сума съ поводыремъ мерещится.

Авдотья смотрить на этого старика и что-то врод'в дикой, сатанинской радости бродить по ея лицу.

А литераторъ смотритъ на нее и недоумъваетъ: что она за человъкъ? Какъ такой чудовищный бичъ можетъ находиться при такой обстановкъ?

Припоминается ему барыня: борьба этого свътлаго сознанія съ этой неукротимой силой злобы. Чего тутъ нѣтъ? Больному дѣлаютъ мучительные уколы, чтобы онъ потѣлъ — Авдотья "забываетъ" дать ему на ночь бѣлье на смѣну. Человѣку сдѣлаютъ операцію и внушатъ, что ему нельзя вставать, онъ долженъ лежать — онъ будетъ вставать и ходить въ уборную: старшая няня не выноситъ около коекъ своихъ больныхъ горшковъ. Потомъ ее заставили ставить... но горшки стояли безъ употребленія: Авдотья знаетъ, какъ и что сказать, послѣ чего больной пользоваться горшкомъ не пожелаетъ.

Въ иныхъ случаяхъ она считала себя компетентнъе барыни. Если больному ръшено удалить глазъ, за нъсколько дней до операціи она не будетъ пускать назначенныхъ капель:

— Къ чему же капли-то тратить, когда его вынуть? А еще докторица!

Соображаетъ литераторъ, что этого онъ вдоволь насмотрълся за двъза три недъли, но сколько

же знаеть подвиговъ Авдотьи барыня, никогда не забывающая спрашивать больныхъ, —исполнено ли няней то, что нужно—и все-таки Авдотья на своемъ мъстъ!

Въ закулисной жизни больницы кто то сильнъе барыни за Авдотью.

Молва нянекъ гласить, что за старшую няню старшій врачь:

— Любить ее за языкъ!

Смотритъ литераторъ и недоумъваетъ: какъ старшій врачъ, которому, въроятно, барыня уже не разъ приносила жалобы, можетъ держать такую прислугу?

Тоскливо вздыхають старики и просять:

— Егорушка, сведи-ка, милый, за нуждой.

Тутъ нестолько нужды, сколько желанія отдохнуть отъ бдительнаго ока няни въ корридоръ.

Водить Егорушка стариковъ. Не дремлеть Авдотья: то по полу шаркають, то на ходу салфетку со стола стронули.

Инымъ больнымъ приходится прибъгать къ услугамъ няни. Долго жмутся, оттягивають, никогда не выполняютъ того числа, которое приказано барыней, но, въ концъ-концовъ мысль, что болъзнь-то не шутка, что если такъ вести леченіе, значитъ не вылечиться, понуждаетъ больныхъ къ робкой просьбъ:

— Няня, капелекъ бы мнв въ глазъ пустить? Авдотья пускаетъ. Ръдко попадетъ въ нужное мъсто—въ глазъ; пуститъ не капли, а грубо броситъ струю капель въ носъ, въ бровь, зальетъ всю щеку-и иди.

Не смъй говорить, что въ глазъ-то и не попало; она знаетъ, какъ пускать и куда пускать: старшую няню учить нечего!

Идетъ больной, утирается—и возмущенъ и обиженъ; если изъ новенькихъ, будетъ больнымъ жаловаться:

— Пустила? Хуже, чъмъ плюнула!

Литераторъ смотритъ на такое "пусканіе" и уже зло улыбается. Зло на себя, на Авдотью, на всёхъ больныхъ. Ему назначены капли 15 разъ въ день, онъ не выполняетъ иногда и половины.

Къ Авдотъв не обращается. Ищетъ Лукерью, Анну—нътъ ихъ, значитъ, безъ капель. И барынъ объ этомъ не говорить: все равно лучше не будетъ, такъ не стоитъ поднимать канители. Дениска на своей койкъ изнываетъ.

При работъ въ винномъ складъ онъ какъ то неосторожно сбивалъ крышку съ ящика—гвоздь отлетълъ ему въ глазъ. Прежде Дениску барыня утъшала, что глазъ, можетъ быть, и, уцълъетъ, потомъ пришла къ заключенію, что глазъ черезъ нъсколько времени придется удалить.

Когда въ палатъ нътъ Авдотьи — Дениска о своей неосторожности забываетъ, но при ней не можетъ себъ простить—лежитъ и нътъ-нътъ, да и скажетъ:

— Еще думаль: помягче надо сбивать. Какъ бы бъды не нажить. А самъ бью изо всъхъ силъ. Такъ оно и вышло. Эхъ, пустая моя голова!

Такія признанія Авдоть в пріятны— злорадно улыбается, а иногда и подтвердить:

- Это по всему видать.

Дениска смотритъ на литератора — отъ боли и недоумънія у него круглые глаза: какъ можетъ Авдотья такъ говорить, когда у него такое горе?

Литераторъ улыбается и, преднамъренно спокойно, точно Авдотьи здъсь нътъ, даетъ Денискъ совътъ:

— Не пучь глазъ, Маня. Сколько разъ я тебъ говорилъ: жалуйся барынъ.

Авдотья въ ярости. Кажется, что вотъ-вотъ она будетъ орать во всю силу легкихъ—такихъ огромвыхъ усилій стоитъ ей самообладаніе.

Но она сдерживается, Должно быть, ненависть диктуеть ей, что крикъ не такъ страшенъ, какъ ея выработанный годами тихій сдавленный тонъ.

— Ты другихъ не учи, не смущай,—говорить она, избъгая взгляда литератора.—Жалуйся самъ, а тамъ увидимъ, что будетъ.

Литераторъ молчитъ. Снимаетъ халатъ и ложится подъ одъяло, приглашая и другихъ:

— Старики, на покой!

Черезъ пять минуть всѣ катарачные точно спять.

Авдотья видить въ этомъ демонстрацію: одни лежать къ ней задомъ, другіе лицомъ, но лицъ не видно: съ головой закутались въ одъяло.

Никогда она не бываетъ ужаснъе, чъмъ въ это время. Когда она видитъ человъческія лица,—от-

раженіе на нихъ того, что ея слова заставляютъ такъ или иначе страдать людей — это приноситъ ей нъкоторое удовлетвореніе, облегченіе, иногда радость.

Она говорить. Изо всёхъ силъ старается—пусть кто нибудь сказалъ бы ей дерзость, вступилъ бы съ нею въ пререканія, но только не это молчаніе, не неподвижность спинъ и головъ.

Ничего новаго у Авдотьи. Все тъ же грубыя выраженія, сведенія человъка на степень ниже свиньи.

Болье наглыхь, болье жадныхь, чыть вы ем палать, ныть ни у одной няньки. Другимы нянькамы за уходь, за заботы и подарки "на чай", а ей:—хоть бы вы глаза кто плюнуль! Хитровкана хитровкы!

Одинъ только у ней за всю ея бытность былъ:
— Это можно сказать: человъкъ. Не голь-нерекатная! Не вшивый паршивецъ: имфетъ пятиэтажный домъ въ Москвъ. На такого не пожалуешься. Нечего Бога гнъвить: ни одного дня безъ
подарка не обходился!

Ни что на неподвижность спинъ не дъйствуеть: ни хитровка-на хитровкъ, ни счастливецъ пятиэтажнаго дома!

Авдотья замолкаеть. Она устала. Красныя пятна были и исчезли — у ней ужасное лицо: лицо трупа.

И сидъть она уже въ своей палатъ не въ силахъ: встаетъ и уходитъ, еле держится на ногахъ. Это значить, что она пошла, какъ говорить ея племянница "отлеживаться, въ помъщение для нянекъ.

Съ уходомъ Авдотъи неподвижныя тѣла начинаютъ мѣнять позы. Старики вдругъ обнаруживаютъ склонность подремать и просятъ молодежь не шумѣть.

Молодежь не прочь и сама соснуть — но не спится ни ей, ни старикамъ.

Усталые, тоскливые вздохи падаютъ въ тишину и ръдкія фразы, значеніе которыхъ понятно только этимъ людямъ въ этой палатъ.

- Сейчасъ бъда, а что будеть, когда Миханиа выпишется?
 - Что говорить: съ лихвой наверстаетъ.
- Господи, и такъ день за годъ, а если тебя на каждомъ шагу шпыняють, никакихъ ужъ силъ нътъ.

Слёпой старецъ съ птичьимъ лицемъ и гусиной шеей убъжденно даетъ совътъ:

— Къ силамъ небеснымъ надо взывать. Она тебя злобой ъстъ, а ты проси: "Матерь Божія, умягчи ее сердце!" Върно, братцы, говорю. Такую, окромя, ничемъ не возъмешь. Души у ней нътъ. Умерла. Въ злобъ похоронила душу-то. За такихъ молятся и молитвой только отъ такихъ охранишься.

Всѣ молчатъ. Стары старики, а настолько смиренія и вѣры въ молитву не имѣютъ: отмахиваются руками. Молодежи жутко, но она храбрится.

— За такую въдьму-то, — говорить Курановъ и показываетъ кулаки: — нарвись мнъ такая не здъсь, а на свободъ — я ее этой молитвой или выучиль бы, или на тотъ свътъ дорогу показалъ.

Вновь тишина и томительное ожиданіе.

Старики опять пробують дремать, но черезъ каждые пять минутъ просыпаются:

— А чай еще не скоро?

Молодежь ходить смотрёть на часы.

Никто уже не думаетъ ни о томъ, что сегодня было, что ждетъ завгра — всъ захвачены ожиданіемъ.

Сухой, холодный, до томительности скудный разнообразіемъ больничный укладъ жизни прежде давить человъка, потомъ одуряетъ: всъ ждутъ чая, всъмъ кажется, что послъ него что-то случится, отчего будетъ легче.

Три часа дня. Послвобъденный чай.

Авдотья проявляеть себя и здёсь: къ утреннему чаю подниметь своихъ больныхъ раньше другихъ палать; теперь у Лукерьи и Анны уже пьють — она заставить катарачныхъ подождать.

Полакомились бы катарачные чайкомъ, отвели бы душу всласть, если бы на мѣстѣ Авдотьи была другая няня. Но у нихъ—Авдотья. Едва она войдеть въ налату — всъ чувствують, что это будеть не чай, а все та же тоскливо — напряженная мука, минуты остраго униженія, что были за утреннимъ чаемъ за объдомъ, будуть за ужиномъ.

Авдотья изъ нормы не выходить: двъ кружки на человъка. Развъ только иногда литераторъ, чтобы показать дорогу другимъ, потребуетъ третью. Двъ ему принесетъ Дениска, а за третьей идетъ самъ: молча поставитъ кружку на столъ и ждетъ. Иногда Авдотья молча нальетъ, иногда вынудитъ его сказать:

- Что же вы не понимаете, чего мнв надо? Ядовито осклабится няня:
- Понимаю. А гдъ воды возыму?
- На кухнъ. Мало чайника—идите за другимъ. Чай пьемъ свой, воды для больныхъ больница не пожальеть.

Она ему нальеть. Другіе рискнуть на третью чашку не осмълятся, но Авдотья очевидно боится: а вдругъ?

И во избътание такой дерзости начинаеть вну-

— Поди-ка раскатись! Мнѣ воды не жалко, да на кухнѣ то ее нѣтъ. Тамъ считаютъ свое: лишняго полѣна не сожгутъ. Всѣ думаютъ, что это отъ няньки. Никто не знаетъ нашей жизни. Нянькѣ хуже больного: стакана кипятку не дадутъ.

Отпить чай. Хотя сама Авдотья еще не отпила. Идуть катарачные изъ налаты въ коридоръ, видять, что въ столовой у Лукерьи и Анны чай еще далеко не конченъ.

Тутъ нянькамъ вода на кухнѣ не возбраняется: мало чайника, сходять за другимъ. Тутъ любители чаепитія пьютъ по-русски: до красноты и испарины.

Завидуютъ катарачные больнымъ Лукерьи и Анны: кажется имъ, что у такихъ нянекъ людямъ, какъ у Христа за пазухой.

Дениска пътушится больше всъхъ:

— Никакъ нельзя: буду жаловаться барынь. Посль объда мнь двухъ кружекь мало. Что жъ я сырую воду долженъ пить? Теперь холера: тутъ еще здохнешь.

Санька ему не върить:

— Давно собираешься. Про кашу тоже звонишь...

Дениска за одно объщаеть сказать и про кашу. Ежедневно онъ послъ объда высматриваеть, какъ объдають няньки и долго потомъ облизывается:

— Мяса у нихъ— не повсть. Каша въ маслъ плаваетъ: бери ложку и хлебай! Большая обида: намъ все это полагается, а они за насъ жрутъ. Непремънно барынъ скажу!

Въ корридоръ, куда сходятся курить и душу отвесть больные изъ шести налатъ, катарачине ропщутъ, димятъ и отплевываются больше всъхъ.

Единственное мъсто, гдъ громко высказывается вся горечь, всъ непорядки больницы.

Литераторъ бродить съ безучастнымъ видомъ. Лъзуть къ нему—отмахивается рукой:

— Не вижу толку въ этихъ разговорахъ. Кому вы жалуетесь—ствнамъ?

Въ коридоръ холодно. Потолкутся—потолкутся и невольно тянутся по своимъ палатамъ.

Чай отпить въ три. Ужинъ будеть въ шесть эти три часа даже наиболъе терпъливымъ людямъ кажутся въчностью.

Литераторъ скучаеть отчаянно: холодно-алая гримаса тоскливой боли не сходить съ его лица.

Сыграль бы онъ съ Виноградовымъ въ шашки, но уже вечеръетъ, —если играть —глаза отъ напряженія начинають безпокоить.

Молодежь жмется къ нему: авось онъ развесе-

Старики и тв просять:

- Михайла, повеселилъ бы насъ.
- Чъмъ?, угрюмо отзывается литераторъ.
- Да ужъ, если ты захочешь, найдешь чвиъ. Видать тебя: ты человъкь бывалый.

Для больныхъ онъ загадка. Кто онъ, чёмъ занимается—частенько пытаются узнать,—онъ отдёлывается неопредёленностью:

Человъкъ, какъ и всъ. А занимался—ходилъ
и по письменной части, и горбомъ работалъ, а за-

болъть—отъ моихъ трудовъ ничего: нищій, какъ и всъ трудящіеся вътакихъ случ яхъ. Вотъ и все

Стариковъ литераторъ веселить въ это время не въ силахъ; посердить бы, пожалуй, но отъ этого себя сдерживаетъ.

Зато молодежи достанется.

Прежде примется за Саньку. Хорошенькая, розовенькая мордочка въ рамкъ кудряшекъ, какъ у молодого барашка. И глупъ, какъ барашекъ.

Какъ почтительный сынъ, пишеть отцу еженедвльно нвжныя письма—длинныя—длинныя, а о чемъ—неизвъстно.

Литераторъ однажды подсмотрълъ въ компаніи съ Дениской. Писалъ Санька письмо послѣ операціи. Имъ удалось прочесть только заключительныя строки: "Итакъ, глазъ мнѣ дорогой, милый папа, мнѣ вынули, того и тебѣ желаю!".

· Каждый день это злосчастное заключеніе приносить Саньк'я много непріятных минуть: то Дениска острить, то Курановь и даже Егорушка.

Оть нихъ отгрызется. Но когда литераторъ это заключение зло варьируетъ ежедневно на новые лады и возбуждаетъ общій хохотъ—Санька свирѣпѣетъ. Сыплетъ грубую, глупую, циничную брань не только на литератора и молодежь, но и на стариковъ.

Послѣ Саньки очередь за всей группой молодежи человѣкъ изъ восьми: перессоритъ ихъ и, когда у нихъ возгорится грызня, самъ въ сторонкѣ: наблюдаетъ и посмѣивается. Надовсть и это. Остается последній номерь: Егорушка. Самый интересный.

— Гдв Егорушка?

Но Егорушку и искать не надо. Только этого и ждаль. Идеть къ литератору и самъ набивается:

— Сдълай мнъ массазикъ!

Ну, ложись на койку, — говоритъ литераторъ.

Егорушка не соглашается:

- Нътъ, ты полози.

Ежедневно литераторъ внушаетъ бутузу, что массажъ ему приказано дълать барыней, что это полезно для здоровья—Егорушка слушаетъ съ видомъ, что онъ въритъ, но въ глубинъ плутоватыхъ глазъ свътится лукавое: не обманешь!

"Массазикъ" для него очень выгоденъ. Хоть и самъ набивается на него, но въ послъднюю минуту потребуетъ за него то яблоко, то у кого нибудь очень понравившуюся ему коробку изъ подъконфектъ, то лубочную книжонку въ копъйку, съ литератора сдеретъ непремънно газету этого дня.

Когда потребованное имъ ему дають, —литераторъ опять проситъ:

— Ну, ложись же.

Егорушка стоить на своемь:

— Нътъ, ты полози. Какъ на опелаціи: тамъ меня кладуть.

Кто нибудь изъ молодежи помогаеть литератору растянуть Егорушку на постели.

Онъ визжить. Визжить съ наслажденіемъ и сознаніемъ: и ему удовольствіе и другимъ.

Старики улыбаются:

- Ахъ, подлецъ! Ахъ, и плутъ!

Егорушка лежить внизь лицомь, одной рукой держить то, что наторговаль за массажь, другой придерживаеть спущенныя штанишки и поглядываеть, какъ бы кто не подборался, кого онь совсёмь не желаеть.

Литераторъ массируетъ ему спину, мягкія части. Егорушка въ восторгъ: сіяетъ, какъ масляный блинъ, блаженно визжитъ и проситъ:

— Гузно, гузно поголячей! Жилу у меня больно много. Всъ говорять: вонъ какое въ больницъ наълъ.

Литераторъ дълаетъ погорячей.

Егорушка моментами ужъ и морщится:

-- Позалуй, и довольно. Дюзе голячо становится.

Литераторь оставляеть, но въ этоть моменть Дениска или Санька изловчаются и дають Егорушкъ такого шлепка, что онъ коротко и пронзительно взвизгнеть и замретъ: духъ захватило!

Искреннее возмущение сыплется на виновника со всёхъ сторонъ.

Егорушка передохнулъ. Стоитъ на постели. Подвязываеть штанишки.

Теперь онъ уже въ состояни себя защитить.

Глаза горять, лицо пылаеть — воплощенный гнъвъ! Смотрить на обидчика и, вдругь съ такой силой, экспрессіей—всв покатятся со смвху!—вы-

— Дулакъ! Ты не-умъесъ массазикъ дълать. Я балынъ сказу. Въдь, это-зе плямое безоблазіе! Сто лазъ, дулакъ!

А минуты черезъ двъ-три, когда острота жгучей боли исчезаетъ, у Егорушки исчезаетъ и гнъвъ—онъ еще потираетъ злосчастное мъсто, но говоритъ уже тономъ философа:

- Ничего, гузно у меня здоловое.

Смотрить на то, что онъ получиль за массажь:

— Поломитъ—поломитъ, да такое-зе и будетъ. А это вотъ залаботалъ.

Подумаеть съ минуту и потребуеть съ виновника вознаграждение за шлепокъ.

Тотъ изумленъ:

Да откуда ты знаешь? Да у меня и нътъ
 этого.

Егорушку не собъешь:

— Есть. Я видёлъ. Меня не обманесъ! Не умъесъ массазикъ дълать—давай.

Бутузъ дальновиденъ. Знаетъ, что безъ шлепка Санька или Дениска не обойдутся, а поэтому выслёдить, что у нихъ въ столикахъ хранится, принесенное родными, или купленное въ этотъдень.

Требованіе Егорушки поддерживается всей палатой. И какъ любитель шлепковъ не отбаяривается, но его заставять платиться яблоками, селедкой, баранками, конфектами—тъмъ, что имъется въ наличности.

Получаетъ Егорушка съ любителя, идетъ къ своему столу, укладываетъ заработанное къ тому, что уже заработано. Чего у него нътъ: и книжки, и куча газетъ, куча коробокъ, даже дюжину оловянныхъ солдатъ гдъ-то и у кого то заработалъ! укладываетъ и обнаруживаетъ большой практическій умъ:

— Тепель массазикъ до завтла! Поплобуй-ка, удаль кто—ну, и давай! Мнъ надо. Моя делевня далеко. Ко мнъ лодные не ходятъ. Ну, я и залабатываю самъ.

Съ гордостью любуется лично пріобрътеннымъ имъ достояніемъ.

— Когда домой прівду—эва, што я пливезъ! Больше развлеченій нътъ. Егорушка последній номеръ.

Около четырехъ, а то и въ пятомъ часу—появится изъ амбулаторіи барыня. На минуту, на двѣ: снять калатъ.

Идеть медленно. Половина фигуры еще больше наклонена впередъ. Лицо блъдное, утомленное. Присущей ей величавой важности въ это время нъть въ ней и слъда; передъ больными другая женщина, — обаятельная усталостью своей: какътонкое обаяніе прекрасныхъ цвътовъ въ пору осенняго увяданія!

Ея появление точно лучъ солнца въ тьму.

Старики умиляются:

— Голубушка, устала!

Санька и Дениска мчатся узнавать отъ нянекъ:

сколько барыня приняла больных въ амбулаторім? И всегда несутся съ цифрами: или около ста, иногда и болье.

Высчитываютъ старики, прибавляя къ амбулаторнымъ палатныхъ больныхъ, и умиляются:

— Вотъ эта работаетъ! Эта хлёбъ даромъ неъстъ!

Вскоръ является фельдшеръ. Кому капли пу-

стить, уколы сделать.

На полчаса или немного болье—суета, оживленіе. Уйдеть фельдшерь— уныніе охватываеть катарачную и среднюю палату. Въ церковной омгильная тишина: молоденькіе живуть, когда ихътолько побезпокоять; очутятся по милости Лукерьи на своихъ койкахъ и быстро впадуть вънебытіе дряхлыхъ старцевъ. Горить у нихъ огонь или нътъ—имъ все равно: спять, а если не спять—не увидять. Зато страдають отъ отсутствія свъта остальныя двъ палаты.

Въ средней лампъ совсвмъ нътъ — освъщение падаетъ изъ столовой: слабое, робкое.

Въ катарачной—пугливо жмутся отъ вползающихъ въ окна темныхъ сумерекъ, тоскливо вздыхаютъ и неръшительно просятъ:

— Михайло, огонька бы. Его хоть и плохо видишь, а все же... что то свётлёется, бьеть въ глаза: значить, моль, огонь.

Не пусти литераторъ огня, будутъ мучиться, но никто не осмъдится до прихода Авдотьи повернуть включателя.

Скупо и уныло дають свъть двъ лампы, подъ густо-матовыми колпаками.

Уныло сидять и уныло двигаются фигуры въ желтыхъ, безобразно болтающихся халатахъ. Скорбью и жутью въеть отъ этихъ фигуръ и лицъ: какой то полуфантастическій, угрюмый міръ, который, кажется, застыль въ одномъ желаніи,—если дать много свъта, блестящихъ веселыхъ огней—они оживятся и закружатся въ безумномъ и страшномъ вихръ веселья.

Въ столовой загремъли ложками, посудой.

— Ужинъ! — мчится въ свои палаты мслодежь. Старики прислушиваются и, точно не върятъ своимъ ушамъ.

- Никакъ ужинъ?!

— Ужинъ!-подтверждаетъ молодежь.

Проснулись всё точно отъ тяжелаго сна, засуетились и начали пододвигаться къ ужину съ лицами: послё ужина что-то случится, отчего будеть легче.

Въ ужинъ Авдотья даетъ жидкой пищи всъмъ не болъе, чъмъ въ объдъ Егорушкъ: только-только покрыто дно тарелки.

Если это супъ—онъ къ ужину колодная, уже начинающая киснуть бурда.

На это, конечно, никто уже не жалуется. Литераторъ придетъ послъднимъ. Если очень голо-

денъ-съвсть и бурду; если нвтъ-посмотрить и уйдеть.

Много разъ онъ уже Авдоть в говорилъ:

— Что вы на смъхъ наливаете? Да тутъ курица ногь не замочить.

Потомъ замолчаль: усталь геворить.

Авдотья почувствовала: въ этомъ она побъдила! И начала разыгрывать комедіи.

Плеснетъ кому нибудь сверхъ положеннаго ею количества лишнюю ложку супу—такъ грубо, что разъ испытавшій ея милость, не захочетъ вторично: "На, облопайся!"—и внушаеть:

— На. По мнъ коть имъ облейтесь! Да что я могу подълать, когда мнъ больше съ кухни не стпускають. Это все идеть отъ экономки!

Молчатъ больные.

Слышали и видёли они, какъ эта экономка явилась однажды къ столу Авдотьи:

— Чего ты людямъ дала? Тебъ чужого добра жалко. Сколько разъ я тебъ на кухнъ говорила: бери больше. Не на дътей берешь.

Молчатъ больные. Знаютъ они, что Авдотъв чужого добра не жалко, но если это добро повинно въ томъ, что оно вызываетъ потребность ходить въ уборную, топтать у Авдотьи полъ — будь бы власть у злой бабы, заморила бы она всвхъ насмерть.

Сердобольная Лукерья иногда сжалится надъ

катарачными.

— Больные, у меня супъ остался. Кому налить?

Тянутся тарелки молодежи:

— Мив, няня. Мив!

Егорушка пищитъ:

— И мив, няня, немнозечко. И мив!

Старики до того запуганы: не осмёливаются. Авдоть это очень не по сердцу. Качаеть головой, глаза впились въ бёднаго Егорушку:

— Такой пащенокъ... другую тарелку! Не облопается, прости Господи.

Показала бы она и Лукерьв, какъ распускать ея катарачныхъ, какъ итти противъ нее — старшей няни, если бы... Лукерья помимо доброты, оказывается, имветь еще такой острый, ядовитый язычекъ, который способенъ заставить замолчать старшую няню: больше Лукерьи никто не знаетъ про подвиги Авдотьи!

Иногда Авдотья не выдержить: уйдеть. Значить больнымъ и каши вволю.

— Вшь-не хочу! Лучше людямъ дамъ, чъмъ въ ведро вывалить!—весело отпускаетъ Лукерья Обрадуются катарачные: при этой можно поговорить!

И поговорять: и пожалуются ей, и комплиментовъ уйму наговорять.

Конченъ ужинъ. Авдотья убираетъ свой столъ. Конечно, гремитъ неистово посудой и громитъ. И налили, свиньи, и накрошили, а жадны—куска хлъба не оставятъ! Послъ ужина сейчасъ же чай.

Больные настроены благодушно — даже у Ав-

У Анны и Лукерьи блаженствують во всю: пьють и животовъ своихъ не щадять.

Знають катарачные, что сверхъ положенныхъ двухъ кружекъ Авдотья не полакомить ихъ третьей — меньше непріязни къ ней въ нихъ: и устали они отъ ея злобы, хочется забыть, отдохнуть, а потомъ — пройдетъ ночь и наступить Завтра!

Это завтра собственнымъ именемъ они не называють, но оно у всёхъ на лицахъ, оно въ словахъ, передающихъ понятія о другомъ: говорятъ о своихъ болёзняхъ, о домашнихъ дёлахъ, о событіяхъ пережитыхъ за день въ больницъ, деликатно обходя Авдотью, — во всемъ этомъ одинъ голый ужасъ, одна скорбь, но люди не видятъ этого во всей обнаженности только потому, что существуетъ "завтра!".

Оно обманывало этихъ людей всю жизнь и, даже эдъсь, въ больницъ, откуда нъкоторыя выйдуть съ тъмъ, что не будутъ видъть пути "отъ окошка къ окошку"—даже этимъ это завтра сулить какія то надежды, скрываетъ отъ нихъ всю жуть грядущаго, несетъ Великое примиреніе!

Слепецъ съ птичьимъ лицомъ, плачущій днемъ, которому сказано, что на возврать его зренія нать надежды,—у него желтая вода,— смотрить

остро-остро, точно видить то, чего не видять другіе, и, тепло. благодарно говорить:

— Ну, вотъ и день прожитъ. Слава Богу!

Даже разложившаяся отъ злобы душа Авдотьи жаждеть благодати "завтра". Она не косится на больныхъ, безъ ехидства прислушивается къ разговорамъ больныхъ — на ея лицъ нъчто вродъ человъческой улыбки: какое то отдаленное-отдаленное напоминаніе, что и этому лицу природа дала даръ отражать въ улыбкъ сокровища души.

Не обрываетъ: не такъ прошелъ, ступилъ, сдвинулъ салфетку. Развъ иногда только съ мягкой укоризной покачаетъ головой.

Пожалуй и сама поговорить: безъ обычныхъ оскорбительныхъ колкостей, со снисходительнымъ уваженіемъ къ собесёднику.

Доходить даже до того: снесеть какому нибудь старцу кружку съ чаемъ.

Можеть быть, она не прочь и всёмъ дать чаю вволю, но ее, должно быть, останавливаеть соображеніе, что единичнымъ отступленіемъ отъ правила, нарушается правило: въ другой разъ, пожалуй, потребують и всё!

Чай тянется около часу.

Незлобивыя души—за вечерній чай и старики и молодежь благодарять:

— Спасибо, нянюшка!

Бываетъ это иногда и утромъ-тогда она промолчитъ, "очень, молъ, мнъ нужны ваши благодарности!", теперь въ свою очередь пожелаетъ:

— На здоровье!

Послѣ чаю старики совершають путешествіе въ уборную, возвращаются, усердно молятся и ложатся спать.

Литераторъ съ улыбкой спрашиваетъ:

- Какъ, старики, себя чувствуете?

— Какъ? Прожитъ день и слава Богу, а завтра, что онъ Всевышній пошлеть, то и будеть.

Видитъ литераторъ, что въ ожидании милостей отъ Бога, старцы забыли и простили все, что изжили въ жизни горькаго; многаго, конечно, изъ воспоминанья совствить не вытравятъ, но легки имъ ихъ горести и бъды, ибо остроту ихъ они оставили въ молитвахъ и упованіяхъ.

Видить и страстно ему хочется имъть такую слъпую въру въ Бога, въ его Въчное завтра.

Свалить этоть чудовищный, кошмарный камень жизнь съ души и повърить: "Мнъ отомщение, и Азъ Воздамъ!"

Свалить, если не совсёмъ, такъ хоть на моментъ: въ немъ маленькій отдыхъ, маленькое облегченіе!

Но пройдетъ минута, другая и, нотка состраданія звучитъ у него въ головъ къ этимъ покорнымъ рабамъ завтра, когда онъ говоритъ:

— Спокойной ночи, старики. Будемъ уповать на завтра: можетъ быть, оно и явитъ намъ какое нибудь чудо.

- Известно, -- отвечаеть слепой съ птичьимъ

лицомъ:—День плохо прожилъ, на другой надъйся: авось, получше! Иначе и жить нельзя: съ ума сойдешь.

Литераторъ угрюмо соглашается:

— Совершенно върно: сойдешь.

Передъ сномъ старцы чувствуютъ потребность напутствовать себя на ночь свътлымъ, милымъ: говорятъ о барынъ.

Послъ Бога въ "вавтра" она вплетается вторымъ существомъ.

Перебирають о ней то, что уже каждымъ говорилось десятки разъ, но все еще не утратило своего обаянія.

Одинъ изъ старцевъ съ особенной любовью докладываетъ:

— Уголубливать она очень умѣетъ. Было это у меня на операціи. Проситъ она: "дѣдушка одну минутучку; только еще одну минутучку, милый дѣдушка, потерпи!". Терплю. А самъ думаю: много-же этихъ минуточекъ то. Больно не втерпежъ. Вотъ—вотъ закричишь, а она опять заговариваетъ. Такъ ни разу и не крикнулъ. Вѣкъ буду помнить, что по доброму-то если — рѣжъ человѣка на куски и стерпитъ. Ангелъ—барыня?

Другой мужичекъ признается:

 Нда, что и говорить: лучше иной матери родной! Такую не забудешь.

Молодежь жадно слушаеть и, въ свою очередь, торопится сообщить, чъмъ и когда барыня заявила себя съ хорошей стороны.

Егорушка тоже отдаеть свою дань—нахмурить брови, надуеть щеки, отчего его рожица необыкновенно солидна, и тонъ—противъ такого авторитета уже ничего не скажещь:

— О балынъ нечего толковать: холосая балыня! Сколо у меня каталакта наклеится—опять мнъ колобку конфеть. И всегда говолить: не кличи, а то конфеть не дамъ!

Потомъ помолчитъ. И должно быть, изъ Егорушки выйдетъ порядочный рыцарь — немного обиженно, онъ улыбается и заканчиваетъ:

— Я и безъ конфетъ не стану кличать. Да... Лазъ плосять: не кличи— ну и не кличи!

Я балыню люблю!

Одинъ за другимъ засыпаютъ старики.

Егорушка передъ сномъ любитъ понъжиться и насладиться своимъ житьемъ-бытьемъ въ больницъ—она его не тяготитъ.

Дома ему много хуже:

— Нътъ говядины, нътъ ситнаго, да и лемнемъ бъютъ.

Онъ не любитъ гадать о томъ, когда его выпишутъ, и не любитъ слушать, когда ему больные наговариваютъ, что его скоро вылечутъ и отправятъ домой.

Хмурить брови, уткнется въ полъ глазами и утъщается:

— Не выписутъ! У меня сколо опять каталакта наклеится.

Ему уже сдълано пять операцій, предстоить

последняя, а онъ убъжденъ, что впереди операцій много:

— У меня каталакта наклеивается на глаза каздую недвлю. Какъ-зе меня мозно выписывать?

А когда его настолько сильно разубъдять, что онъ начнеть сомнъваться въ безконечности "наклейки каталактовъ"—у него уже готовъ другой планъ:

— А я все таки домой не пойду! Сказеть балыня: Еголуска, на выписку надо. А я: не пойду! Оставь меня балыня. Дома у меня плямое безоблазіе! Не мозеть Еголуска зить дома. Лемнемъ бъють и полицій нъть.

Не напугають Егорушку и тымь, что ему тогда негды будеть спать,—койку отнимуть и отдадуть другому больному, отнимуть и порціи—онь и туть находится:

- А я буду съ къмъ нибудь спать.
- Никто тебя не приметъ.
- Ну, подъ койкой буду спать. А полціи—тотъ немного дастъ, длугой—вотъ я и сытъ.

Лежить Егорушка наслаждаясь безпечальностью больничнаго житья—и его «завтра» настраиваеть на радужный ладь — върить, что его не выпишуть и строить планы:

— Много всякаго добла у меня. Все массазикомъ залаботалъ. Когда блатъ изъ делевни пліъдетъ—отослю все добло съ нимъ. У меня еще будетъ.

Вотъ уже у него сладко смыкаются глаза-тутъ

онъ почему-то впадаеть въ религіозный ражъ, — смотрить благоговъйно въ потолокъ и невъдомо кому внушаеть:

— Мы ничего не знаемъ, а Богъ все знаетъ. Мы глъсники, больсіе глъсники — поэтому мы

ничего не знаемъ. Не надо глъсить!

Уснулъ и Егорушка.

Молодежь сбилась въ столовой — играетъ въ дураки и въ свои козыри.

Азартъ невъроятный, чудовищный, возможный

только въ больницахъ и тюрьмахъ.

Карты замызганы до того, что ихъ страшно взять въ руки. Игроковъ это нисколько не смущаетъ: свиръпо муслятъ во рту пальцы и, все-таки приходятъ въ отчаяніе: карта скользитъ, неотдирается отъ другой!

Изъ трехъ лампъ горитъ только одна. Когда горятъ всъ три — на столовую освъщенія достаточно: весело, свътло, обширность и высота говорять о томъ, что это нъкогда бывшая большая зала, какого нибудь важнаго титулованнаго лица. Вмъсто когда то порхающихъ, изящныхъ женщинъ, выхоленныхъ мужчинъ теперь странныя и жуткія фигурн.

Полусвъть и полумракъ, какъ въ тъхъ темныхъ кельяхъ, часовняхъ, гдъ едва теплится одна лампада.

Азартъ — безъ шума. Льется непереставаемо одинъ только звукъ — быстрый шипящій шепотъ.

Двигаются, дергаются и кривятся губы. Ръз-

кими движеніями подаются впередъ, откидываются назадъ, извиваются и кривляются тѣла. Лица, то утопаютъ въ тѣни, — съ жаднымъ, напряженно-неестественнымъ вниманіемъ стараются разглядѣть карты, —то отрываются отъ картъ и дикими гримасами живетъ лицо, отражающее радость, злобу, гнѣвъ, отчаянія и смѣхъ беззвучный.

Кончили игру: какая-то безобразно-чудовищная, желтвющая свалка фантастическихъ существъ, со свирвными жестами, грубыми толчками, съ прорывающими изъ шопота возгласами упоенія побрдой и отчаяніемъ пораженія.—Карты лежать на столв и 8 или 10 человвкъ твсно, толкая въ пылу азарта другъ друга, сбились надъ ними и разбираютъ: почему проиграна игра, или почему выиграна.

Разбирають столько, сколько не шла сама игра. Кончили—начали другую.

Идетъ въ уборную какой нибудь слѣпецъ. Идетъ и сбился. Каждый день онъ изучаетъ, гдѣ и куда долженъ быть поворотъ, сколько шаговъ въ его палатѣ отъ его койки до выхода, потомъ въ столовой, потомъ въ коридорѣ до уборной.

Обширность столовой глумится надъ слъпыми больше всъхъ другихъ помъщеній: маленькое уклоненіе отъ изучаемаго пути—и человъкъ безпомощенъ.

То ходить отъ стола къ столу, то натыкается на ствны, упирается въ углы, а нужной двери нътъ и нътъ. Это самое жуткое, самое страшное, когда человъкъ плутаетъ съ отчаянно вытянутыми впередъруками, какъ чего-то ищущее привидъніе.

Вотъ оно остановилось. Голова высоко поднята вверхъ, лицо—то скорбный, то суровый, то мятущійся ликъ, какъ на темныхъ старинныхъ иконахъ.

Игроки безучастны: не до этого! Иногда даже смъются.

Вамолится слѣпенькій, если слышить шопоть игроковъ:

— Братцы, проведите. Сбился: куда надо не пройдешь, и въ палату не воротишься. О, Господи! Тогда его проведутъ.

Является дежурная няня и гонить игроковь по мъстамъ.

Идуть въ свои палаты, но взглянуть на койки и, въ тоскливомъ страхъ бъгуть въ коридоръ.

— Съ ума сойдешь лечь съ этихъ поръ, —говорить Дениска: —Днемъ все ничего. А тутъ, какъ съ девяти-десяти часовъ уложишься — не спится и чего только въ башку не лъзетъ. Безъ глазу — какое житье! Пріъзжай-ка въ деревню: самая послъдняя дъвка, —ты на нее раньше и смотръть то не хотъль, наплюетъ на тебя: кривой!

Хмурится Дениска. У Саньки въ единственномъ глазу слезы. У остальныхъ еще глаза цълы, но надъ каждымъ угроза лишиться одного, а пожалуй, и обоихъ.

Угрюмо молчать.

Пытаются опять играть въ карты. Но въ коридоръ холодно: азартъ стынетъ. Бросаютъ карты и... согръваются барыней!

Они дрожать, но говорять о ней долго. Все то же, что говорилось десятки и сотни разъ.

Лучше барыни не можеть быть человъка—только воть одно:

— Походка у ней некрасивая.

Такія милыя лица у этой темной молодежи изъглухихь деревень и фабрикь; такъ страстно они желають, что бы у барыни не было этой некрасивой походки!

Магическая сила барыня: поговорять о ней и спокойнъе на душъ у молодежи, уже безъ страха идуть по своимъ мъстамъ.

Литераторъ въ своей палатъ сидитъ у окна. Денисъ, Санька, Курановъ вернувшись изъ коридора жмутся къ нему.

Смотрятъ на движеніе трамваевъ, на безконечный передивъ пъшеходовъ по улицъ, и вздыхають завистливо.

Потомъ у Дениски вырывается:

- Эхъ, хоть на минуточку бы тамъ побыть! Литераторъ устало улыбается:
- Завидно, Маня?
- Понятно. Люди гуляють, а ты туть кисни.
- Далеко, Маня, не такъ. Многіе изъ этихъ гуляющихъ съ завистью посматриваютъ на наши окна: мы въ теплъ, хоть и плохо, но насъ кормять,

а тамъ много голодныхъ и на почь угла нѣтъ. Иной такъ всю ночь и гуляетъ: лѣтомъ гдѣ нибудь ткнулся и спалъ бы, а теперь, Маня, зима! Попробуй-ка, въ такомъ положеніи погуляй, тогда кое что и узнаешь.

Для Дениски, Саньки, Куранова—литераторъ авторитеть. Завтра же они будуть кому-нибудь съ глубокомысленнымъ видомъ повторять то, что услышали отъ него сегодня, но теперь имъ жалко отръшиться отъ иллюзіи, что тамъ за окнами то же не у всъхъ веселье и счастье.

Они уходять къ другому окну.

Смотрять оттуда на улицу и изръдка тихо шушукаются. Часы бьють 11—они ръшають, что пора на покой. Идуть къ литератору.

- Пойдемъ спать.

Онъ отмахивается рукой. Помолчатъ.

— А какъ ты думаешь,—спрашиваетъ Дениска:

—Глъ теперь барыня?

Санька высказывается:

— Навърно, не спить. Тоже, поди, гдъ нибудь гуляеть по такимъ улицамъ. Огня-то сколько: какъ дпемъ! При такомъ огнъ наша барыня—ухъ, какъ красива!

Литераторъ даетъ совътъ:

— А вы завтра барыню спросите: гуляеть-ли она по вечерамъ по такимъ улицамъ?

Мальчишки смъшливо мотаютъ головой: "то же, сказалъ!"—и идуть къ своимъ койкамъ.

Въ палатахъ тишина. Только гулъ движенія

трамваевъ, ръзко звякающіе звонки, глухо врываются въ окна.

У литератора не лицо, а маска безсильнаго отчаянія: давняя печать усталости кръпко наложена—дай все, чего онъ хочетъ—не дрогнетъ оно счастьемъ; наступитъ моментъ послъдній гибели—не исказится оно страхомъ.

Его давить скука—давить до отупънія, до бъщенства.

Онъ чувствуетъ, что если ни о чемъ не думать, съ нимъ можетъ случится плохое: дикій хохотъ внутри мучаетъ его тѣмъ, что онъ недаетъ ему выхода.

Нужно въ этой тишинъ хохотать и говорить: претворять мысли въ слова и слушать, какъ онъ звучать въ тишинъ. Такъ много этихъ мыслей: рождались и рождаются, но не высказываются, а хранятся въ тайникахъ мозга.

Онъ думаетъ, что человъчество объято высшимъ родомъ безумія: одну сотую своего генія оно высказываетъ, 99 уносить въ могилу.

И онъ унесетъ. Унесетъ изъ боязни, что тупоумные безумцы назовутъ его безумцемъ.

Чувствуетъ литераторъ, что если ни о чемъ не думать,—отдаться только этому бурному, обаятельному желанію хохотать и претворять не высказанныя мысли въ слова,—съ нимъ случится плохое и, напряженіемъ всёхъ силъ старается перевести свою мысль на то, отчего онъ страдаетъ: на скуку.

Онъ припоминаетъ больничный день съ самаго утра и упорно, тупо твердитъ себъ, что и завтра и послъ завтра будетъ все тоже, —все тоже, что и сегодня и вчера.

Будуть маленькія, незамѣтныя перемѣны: кого нибудь выпишуть, на его мѣсто въ этоть же день явится другой—такой же робкій, тусклый, человѣкъ безъ лица, какъ у того, который выписался.

Тамъ внѣ больничныхъ стѣнъ—они не такъ похожи другъ—на друга, у иныхъ свое, рѣзкое отъ другихъ лицъ—придутъ сюда, сбросятъ въ ванной вмѣстѣ съ своимъ платьемъ себя, надѣнутъ желтые, замызганные халаты, будутъ трепетать передъ наглой нянькой, подъ сухимъ и холоднымъ взглядомъ старшаго врача: всѣ будутъ покорно жаждать исцѣленія—ради этого всѣ сразу подведутъ себя подъ общій ранжиръ безличныхъ больничныхъ лицъ.

Что же еще?

Будутъ пріемные дни. У рідкаго мужичка изъкакой нибудь глухой и отдаленной деревни не найдется въ этомъ городів землячка: придеть кънему этоть землячекъ.

Всёхъ навёстять родные, знакомые, а его не навёстить никто. Развё изрёдка въ недёлю—въ двё разъ зайдеть одна женщина, посидить пять-десять минуть, зёвнеть и исчезнеть. У него останется въ памяти ея лицо—скучающее, наси-

лующее себя на это посъщение и чувство: у него никого не было!

Онъ будетъ лежать пріемные часы на своей койкѣ, будетъ слушать, какъ тепло толкуютъ землячки, какъ рады посѣщеніямъ родныхъ и знакомыхъ больные и, чувствовать, что у него гордые, ничего не просящіе глаза, а внутри щиплющая боль, что ему некого ждать, что къ нему никто не придетъ.

Потомъ... потомъ и его выпишутъ. Сюда онъ пришелъ глубокой осенью въ осеннемъ пальто; теперь зима—онъ уйдетъ въ немъ, безъ копъйки въ карманъ.

Что же еще?

Если онъ не погибнетъ по виходъ изъ больници—будутъ сырые подвалы, голодовки, муки: нужда не спутникъ творчества, голодный мозгъ не творецъ.

Въ прошломъ году онъ лежалъ однимъ глазомъ, теперь другимъ, не далеко, въроятно, время, когда придется попасть съ обоими—слъпымъ. Стоитъ-ли?!

Стынеть лицо литератора. Все больше и больше въ маску той усталости, когда нъть уже силь думать о своей гибели, когда гибель встръчается вздохомъ облегченія, улыбкой радости.

Тогда онъ идеть на свою койку. Раздъвается и смотрить на ряды коекъ: въ жуткой неподвижности и тишинъ лежать тъла, точно трупы

Онъ радъ за нихъ, что они такъ наивно върятъ въ чудо завтра.

Онъ ложится. Хочется на чемъ нибудь от дохнуть.

Мысль о себъ нестерпима. Ему кажется, что весь онь изъ чего-то страшно чуткаго, звонкаго страшнаго, болъзненнаго: чуть дотронься—боль зазвенить, болью проръжеть все тъло.

Нельзя думать о себъ: онъ цъпляется за барыню.

Миръ и благословенная сладкая тишина воцаряется въ больной душъ литератора. Нътъ его его прошлаго, настоящаго, будущаго,—есть одна только прекрасная женщина, о которой онъ грезитъ безъ мысли, безъ словъ: грезитъ однимъ только ея образомъ.

Уличное освъщение ложится на стъны палаты сонными тънями.

Смыкающимися глазами литераторъ силится смотръть на эти тъни, но мягко и грузно падають въки и уже не поднимаются. Онъ засыпаетъ —болъзненнымъ нездоровымъ сномъ, —медленно, съ ощущеніями безконечнаго паденія куда-то.

И чудится ему, что вмёстё съ нимъ падають стёны—бёлыя стёны, застывшія, какъ и онъ, въ сонныхъ грезахъ о барынё.

волна.

СЦЕНЫ ВЪ 4-хъ ДЪЙСТВІЯХЪ.

Дозволено цензурою къ представлению 27 ноября 1908 года ва № 700.

Дъйствующія лица.

Харцызовъ, Иванъ Семеновичъ, 35 лѣтъ. Богатый фабрикантъ. Ростомъ малъ, худъ. Одѣвается по послѣдней модѣ. Въ немъ всегда что-то противножалкое, исключая тѣхъ моментовъ, когда вопросъ идетъ о деньгахъ: въ такихъ случаяхъ онъ наглъ, самоувѣренъ.

Варвара, его жена, 28 лътъ, бывшая учительница. Выше средняго роста, брюнетка, очень красива, стройна. Одъвается просто.

Аглая, сирота, дальняя родственница Харцызовыхъ, 22 лътъ.

Демидъ, дядя Варвары. Лътъ подъ 60. Средній рость, худощавъ, всё движенія такъ ловки, точно онъ юноша; всегда наблюдаеть за всёмъ и всёми.

Ольга, сестра Харцызова, вдова 31 года. Пышная, красивая блондинка, грустное лицо.

Владиміръ, брать Харцызова, 29 лѣтъ. Брюнетъ; лицо женственно-красивое. Взглядъ — странный: точно ищетъ на что бы опереться. Движенія, жесты, то небрежно изящны, то словно развинчены.

Ивинъ, бывшій учитель гимназіи 48 лѣтъ. Плотная, массивная фигура; на головъ огромная всклокоченная копна темныхъ волосъ, что придаетъ ему угрюмый, дикій видъ. Въ фигуръ и въ лицъ есть что-то тяжелое, пришибленное. Одътъ небрежно.

Трубинь, инженеръ, служащій на фабрик Харцызова, 36 лють. Смугль, черноволось. Гибкая сильная фигура. Говорить рюзко, самоувъренно-Одють, какъ рабочій: синяя блуза, широкій кожанный поясь, простые сапоги.

Лъсницкій, управляющій фабрикой Харцызова. Вдовъ, 40 лътъ. Сытъ, выхоленъ. Носитъ бороду.

Золинъ, студентъ-медикъ, практикующій при фабричной больницъ, 24 лътъ. Кръпкая, коренастая фигура, простое открытое лицо.

Поля, горничная, 26 лътъ.

Кучеръ, дворникъ, женская прислуга, рабочіе.

ДЪЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Двухъ-этажный каменный домъ съ балкономъ, выходящій переднимъ фасадомъ въ садъ, а одной боковой стѣной—къ эрителю. Передъ домомъ— широкая площадка. На ней—бассейнъ съ бъющимъ фонтаномъ; вокругъ бассейна—клумбы съ цвѣтами. По правую сторону бассейна, противъ балкона. подъ тѣнью липъ и березъ—столъ, стулья, кресла. За цлощадкой—аллен ведущія въ глубъ сада. Площадка по вечерамъ освѣщается электрическимъ фонаремъ. Конецъ мая, 11 час. утра. На столѣ сервированъ чай. Варвара, сидя около стола, разсѣянно поглядываетъ на цвѣты. Владиміръ бродитъ вокругъ бассейна. Изъ дома вырываются аккорды рояля.

Владиміръ. (Какъ бы самъ съ собой) У когонибудь сейчасъ есть жизнь... Не такая, какъ у насъ, а настоящая жизнь. Да... Что здёсь видишь? Словомъ, фабрику, казармы рабочихъ. Это—какой-то чортовъ уголъ, въ которомъ отъ тески можно дойти до умопомъщательства. (Пауза). Словомъ, надо повхать за границу.

Варвара. (Въ раздумьт). Да вы ужъ, кажется, года три собираетесь, да все какъ-то не можете собраться.

Владиміръ. Въ этомъ году непремівню убду. Аглая. (Выходить на балконь и облокотившись на перила). Варя! Я сегодня познакомилась съ твоимъ дядей. Живой старикъ!

Варвара. Да, это вънемъ есть.

Аглая. Я даже удивилась: явился къ намъ около шести часовъ утра и говорилъ, что шелъ всю ночь, а соснулъ часа два, всталъ и попросилъ меня показать ему домъ, фабрику, казармы для рабочихъ.

Варвара. Онъ-любопытенъ.

Аглая. Очень. Все спрашиваль меня: какъ, молъ, вы здъсь, живете? А когда я разсказывала, что мы не живемь, а только скучаемъ, смъялся и говорилъ:— "Вы погодите! Я васъ всъхъ расшевелю!.."

Владиміръ. Что то сомнительно. Словомъ, мы всё вмёсто жизни посёяли здёсь (съ брезглявымъ чувствомъ показываетъ на домъ) что-то жалкое, противное. А пословица говоритъ: "что посёешь, то и пожнешь."

Аглая (нервно). Что у васъ за манера каркать? Если сами не върите, что жизнь уже ничего хорошаго не объщаеть, не мъшайте върить другимъ.

Владиміръ. Кто вамъ мѣшаетъ? Словомъ, вѣрьте съ Богомъ, я только высказалъ свое мнѣніе. А оно имѣетъ основаніе: люди мы, кажется, не считая моего брата, всѣ здѣсь сознательные: много читаемъ, думаемъ, и все-таки почему-то не можемъ додуматься до того, что-бы составлять

изъ себя группу людей, живущихъ дружно и разумно.

Аглая. (Насмішливо). Додумайтесь до этого и, пожалуйста, научите насъ.

Владиміръ. Нервничаете вы. Сыграйте-ка лучше что-нибудь. Я люблю слушать васъ. Аглая. Почему именно меня?

· Владиміръ. Вы своей игрой почему-то всегда оживляете мои воспоминанія о студенческихъ годахъ. Сыграйте!

Аглая. Нътъ желанія.

Владиміръ. Да? (останавливается и въ раздумъв) "Какъ хороши, какъ свъжи были розы."—Люблю я это стихотвореніе. Что-то чистое, юное, хорошее вспоминается... Словомъ,—вспоминается то, что никогда не вернется... (возбужденно) "Какъ хороши, какъ свъжи были розы... были розы... Какъ хороши, какъ свъжи были розы!"

Аглая (со смёхемь). А хорошо вы декламируете. Владиміръ. Не смъйтесь. Не смъйтесь. Я это стихотвореніе глубоко чувствую и понимаю. Аглая (многозначительно). О, еще-бы!

Владиміръ (смотрить на Аглаю и въ раздумь в). Что это значить? (махая рукой). А впрочемъ, мн все равно. У меня сейчасъ ни радости, ни печали... Словомъ, — ничего, исключая какого-то мертвящаго душу покоя... Почему? Не знаю. Въдь, воть по временамъ мн кочется бури, ужасовъ, жизни... Словомъ, — хочется чувствовать, что я

живу, а не остаюсь за бортомъ. Да... А между тъмъ...

Аглая. Варя, а Золинъ еще не былъ? Варвара. Нътъ.

Владиміръ (рыжо). Аглая. Я, кажется, съ вами говорилъ, а не со стыной. Словомъ, — обрывать человъка такъ—невъжливо. Надо его выслушать.

Аглая (со скучающимъ видомъ). Къчему мнъ васъ слушать? Я и безъ этого всегда знаю, что вы въ концъ концовъ скажете.

Владиміръ. Нътъ, не знаете. Напримъръ, я... Словомъ, — я сейчасъ ничего не чувствую... А...

Аглая (нервно). Неправда! Этого никогда не бываетъ...

Владиміръ (съ недоумѣніемъ). Чего? этого?

Аглая. А вотъ, что-бы у человъка въ какуюлибо минуту не было никакого чувства. Можетъ быть, — радость, печаль, грусть, горе, но полнаго отсутствія чувствъ я не понимаю.

Владиміръ. Гдѣ вамъ понять. Вы ничего подобнаго тому, что пережилъя, никогда не переживали.

Аглая (съ вроней). Это—истина. Но если-бы представилась возможность пережить тоже, что и вамъ, я бы не пережила, такъ какъ этого не хочу.

Владиміръ. Не спорю: можетъ-быть, вамъ когда-нибудь и было тяжело, но не настолько, что-бы вы утратили способность радоваться и

печалиться. (Нервно). Словомъ,—что тамъ? Вы меня никогда не поймете! Вы всегда, что вамъ не понятно, отрицаете такъ: (дразвитъ) "Этого никогда не бываетъ! Этого никогда не бываетъ!"

Аглая (умишленно спокойно). Авы не раздражай-

Владиміръ (повышая тояъ). Вы меня не дразните. Да... Словомъ,—я шутить собой не позволю!

Варвара (наливаеть чай — къ Владиміру). Вотъ что: нейте-ка лучше чай.

Владиміръ (грубо) А если я не хочу? Варвара. Чего же вы хотите? Ссориться?

Владиміръ. Что это за жизнь? Словомъ, — кругомъ ни одного сочувствующаго тебъ человъка. Поневолъ отъ такой жизни будешь пить.

Варвара. И пейте.

Владиміръ. Вы этого хотите?

Варвара. Не хочу. Но если вы въ трезвомъ состоянии способны только на то, что-бы портить настроение другимъ, тогда лучше пейте.

Владиміръ. Нечего сказать: совъть хорошъ! Эхъ... (ядовято) эхъ... Словомъ, — кругомъ ни одной сочувствующей души. Ну, и чортъ съ ними. (Уходить въ домъ).

Аглая (въ грустномъ раздумье). Да... Съ тёхъ поръ, какъ я кончила гимназію и пріёхала сюда, прошло три года. Въ эти три года жизнь показала мнё себя вполнё, и я теперь думаю о ней иначе, чёмъ думала на гимназической скамье. (ходить по балкону). Я чувствую, что жизнь мнё

здъсь становится въ тягость. Здъсь можно задохнуться. Одинъ Владимірь чего стоитъ... Трезвый придирается на каждомъ шагу; полупьяныйноеть и безконечно объясняется мнв въ любви; а когда совсёмъ ньянъ, нагло требуетъ отъ меня взанмности.

Варвара. Не упоминай ты никогда при немъ имя Золина. Это его раздражаетъ.

Аглая. Не могу. Раньше я старалась обходить всякія непріятности, а теперь... Если знаешь, что чёмъ-нибудь человёка разозлишь или сдълаешь ему больно, то такъ и порываетъ на это. (Исчезаеть и сходить къ Варварф). Знаешь, Варя: я за послъднее время начинаю бояться Владиміра. Ходитъ за мной всюду, какъ твнь...

Варвара. Да, остерегаться его следуеть. Онъ, мнв кажется, въ нвкоторые моменты на все способенъ.

(Изъ дома приходить Ольга, Варвара и Аглая со скучающемъ и ленивымъ видомъ обмениваются съ ней поцелуями. Усаживаются къ столу. Варвара наливаетъ чай. Пьють).

Ольга (позъвывая). Скучища! (оживляясь). Да... вчера я была на именинахъ у исправника. Было много гостей. Много пили, но болъе всъхъ, какъ и всегда, отличился Ивинъ.

Аглая (разстанно). Чтыз?

Ольга. За десятерыхъ пилъ.

Варвара. Жаль человъка.

Ольга. И какъ ему не стыдно? Тявутъ ему со

всвхъ сторонъ рюмки съ различными винами и со смъхомъ: "Пейте! Пейте! Сегодня мы васъ до чортиковъ накатимъ!" А онъ пьеть одну за другой и поеть: . Ну, ужъ гдв... этой водой-то? Да у меня отъ нея ни одинъ глазъ не замутится". (съ грустью задумывается).

Аглая. Чъмъ-же эта исторія кончилась?

Ольга. Тэмъ, что выпиль онъ не знай сколько и, на удивление всемъ пошелъ на своихъ ногахъ. (Изъ авлеи появляются Ивинъ и Зодинъ. Здороваются съ женщинами).

Ивинъ. (къ Золину слезливымъ тономъ). Здоровая у меня, я тебъ говорю, натура!.. Лошадиная натура! Не могу я упиться до состоянія, что бы мий видились райскія кущи... в подан — пина

Ольга. (раздраженно) Бросьте вы этотъ тонъ! Когда вы имъ говорите, люди незнающие васъ могуть подумать, что вы самый несчастнъйшій HOURS ET & LEDON человъкъ въ міръ.

Ивинъ. А я въ самомъ деле таковъ и есть. (Ко всемъ) Знаете, господа, я несчастенъ темъ, что не могу напиться до потери сознанія.

Ольга. По-просту-до свинства.

Ивинъ. Хотя-бы и такъ. (Садится къ столу).

Варвара. (налила Золину стаканъ и къ Ивину) Чаю хотите? TAMBE B

Ивинъ. Нътъ.

Ольга. (къ Ивину) Какъ это отвратительно! За последніе два года вы сделались въ полномъ смыслъ пьяницей.

Ивинъ. Пьяницей? Хехе-хе. Стара штука! (встаетъ и подступая къ Ольгъ) То, что я пьяница, это вы можете понять: когда у человъка—скудныя впечатлънія до тоски, до отвращенія дъйствительность, чъмъ онь долженъ жить? Ну-ка скажите!

Ольга. Почему я зааю.

Ивинъ. Ага! Не знаете. А какъ-же вы ръщаетесь осуждать?

Аглая. А вы, Ивинъ, знаете?

Ивинъ. (отходать отъ Ольги и начиная прохаживаться около бассейна) Я знаю. Я пью и знаю. Кто это изъ писателей сказаль, не помню: человъкъ, у котораго въ жизни нътъ жизни, долженъ жить миражами. — Върно сказано. У меня, господа, былъ нъкогда пріятель. Бывало, пошлость, грязь, вообще, вся житейская мерзость шибко пришибеть его,—онъ и запьетъ. Да какъ запьетъ!..

Ольга. (съ ироней) Неужели хуже васъ?

Ивинъ. На мѣсяцъ, на два. А когда кончитъ, мнѣ и говоритъ: "Что хочешь обо мнѣ думай, а я все-таки во время запоя жилъ. Понимаешь: жилъ и видѣлъ иной міръ, иныхъ людей". Ну и начнетъ равсказывать. Слушаешь его и голова, бывало, кружится. Страстно, страстно, хоть во снѣ или въ умономраченіи хочется видѣть хоть частицу его пьяныхъ галлюцинацій. Да... Пойметъ онъ это и—шельмецъ! — примется меня убъждать: "Давай, братъ, запьемъ. Поживемъ въ мірѣ грезъ. Вѣдь, здѣсь на землѣ, если мы съ тобой даже, молъ,

милліонъ лъть проживемъ, но этого не увидимъ". Ольга. Какая чушь.

Варвара. Ну, вы, конечно, того... никогда не отказывались?

Ивинъ. Къ чему отказываться? Не отказывался никогда. Да только у меня ни чорта не выходило. Пьешь, пьешь, и все думаешь: вотъ освитъ! И допьешься до того,—свалишься и дрыхнешь, какъ скотина, двя два.

Золинъ. Потомъ?

Ивинъ. Что потомъ? Потомъ проснешься, приномнишь и—ничего! Хоть бы сонъ какой видълъ или хоть чертей!—и ртого нътъ! Эхъ-ма! (машетъ безнадежно рукой) Лошадиная у меня натура! Слона скоръе можно споить.

(Изъ дому выходять Харцызовъ и Лъсницкій. Оба полупьяны. Харцызовъ молча отвъшиваетъ всёмъ общій покловъ и садится. Лъсницкій здороваясь, съ преувеличенной любезностью всёмъ говеритъ "Доброе утро". Садится. Варвара наливаетъ имъ чай. Золивъ и Аглая встають и уходять въ глубь сада.

Харцызовъ. (къ Лъснецкому) Такъ мы съ вами того вопроса не кончили.

Лѣсницкій. Онъ конченъ. А если вы не по кили—то повторяю: постоянной любви ни у кого не бываеть.

Харцызовъ. (съ жаромъ) Есть! Докажу!

Лъсницкій. Не докажете. У мужчинъ къ женщинамъ есть не любовь, а только временная привязанность... Нъкоторые принимають это за любовь. Но такой авторитетъ, какъ Шопенгауэръ,

говоритъ: "Женщины настолько разновидны, что любить одну изъ нихъ постоянно нельзя".

Ольга. (пдко) И вы съ этимъ, конечно, вполнъ согласны?

Лвсницкій. Согласенъ. Но...

Варвара. (рыжо) Прошу безъ всякихъ "но". Высказались—и довольно!

Харцызовъ. (къ Лъсницкому) Продолжайте, почтеннъйшій.

Лѣсницкій. И продолжаю. (ко всёмъ съ циничной усмёшкой) Такой любви, какая у большинства, я не знаю; моя любовь, — это красота сладострастія! И если-бы я высказаль вполнѣ эту красоту сладострастія—мѣщане назвали-бы это извращелностью чувства.

Харцызовъ. (снисходительно) Высказывайтесь, почтеннъйшій. Хотя все, что вы скажете, я и безъ васъ внаю.

Ольга. (просто) Не ври, братецъ. Умно иногда говорить онъ (киваеть на Лъсницкаго головой) или нътъ—я не знаю. А то, что ты понимаешь не больше меня—знаю. Къ чему врать, что ты все знаешь?

Харцызовъ. (злобно) Прошу безъ замъчаній! Я съ вами не говорю, почтелнъйшая сестрица. (Къ Лъсницкому снисходительно) Продолжайте, почтеннъйшій. (Гордо) Мы съ вами—здъсь только мы съ вами солидарны.

Лѣсницкій. (съ поклономъ) Благодарю, Иванъ Семенычъ. Но сейчасъ объ этомъ говорить не будемъ. Понять это сразу трудно. Здѣсь нужна

постепенность; нужень цёлый послёдовательный искусъ... Безъ него самыя высокія и красивыя формы сладострастія—инымъ могутъ показаться черезчуръ сильными, а иныхъ — и совсёмъ оттолкнутъ.

Харцызовъ. (сомодовольно) А меня напримъръ? (Варвара угрюмо морщится. Ивинъ и Ольга улыбаются).

Лѣсницкій. Васъ? (съ усмынюй) Вась—не думаю. Насчеть чего другого—вы недалеко ушли, но въ области половой этики — гораздо дальше тъхъ оъдняковъ, у которыхъ формы любви все тъже, что были у Адама съ Евой.

Варвара. (быстро встаеть—техо) Боже мой... (къ Лъсницкому) Наглецъ!

Харцызовъ. Варя! Ну, къ чему это? Такъ оскорблять? (къ Лесницкому) Голубчикъ! Вы не обижайтесь.

Лѣсницкій. (спокойно) Нисколько. Жизнь вещь нешуточная и научить все глотать.

Харцызовъ. Въ сущности, моя жена не такая злая... Это она такъ... ради шутки... (самодовольно) Она у меня—экс-цен-трична!

Варвара. (взглянувъ на мужа и на Лѣсницкаго) Пошло. Отвратительно. (Идетъ къ дому).

Харцызовъ. Варя! Но Варя! (Демидъ выходить изъ аллея. Онъ въ бёлой холщевой рубашяв, подпоясанъ узенькимъ ремнемъ, въ штанахъ изъ свраго сукна и войлочныхъ туфляхъ).

Демидъ. (расиланиваясь) Вамъ отъ меня, православные мои, если захотите принять, — любовь

да совъть, а миъ старику, отъ вась, если уважите, — почеть да привъть!

(Варвара возвращается къ столу. Л'єсницкій и Ивинъ смо трять на Демида съ недоум'вніемъ).

Демидъ. (къ Варваръ)) А ну, племянница, угости на меня чайкомъ.

Варвара. (паливая чай—въ Ивину) Это мойдядя. Ивинъ. Да? (къ Демиду) Здорово, старина! Демидъ. Здорово, православный мой.

Ивинъ. "Православный" (задумывается) Ты, дѣдъ, по святымъ мѣстамъ ходилъ?

Демидъ. Двациять латъ, православный мой.

Ивинъ. И ничего? Не усталъ еще?

Демидъ. Ну, вотъ. Что намъ дълается? Ходимъ по воздуху... пользительно и любонытно...

Лъсницкій. Любопытно, говоришь? Стало быть, не мало кое-тего повидаль.

Демидъ. (присаживаясь къ столу и принимаясь за чъй) Да приходилось. Бывалъ вотъ я, напримъръ, въ обоихъ Іерусалимахъ; бывалъ на Соловкахъ, на Валаамъ; и... вообще всъ святые мъста знаю!

Ивинъ. Ну?

Демидъ. И чудаки люди: молятся всё одному Богу, а живуть каждое мёсто своими порядками, Казалось бы чего проще: святые мёста,—ну и уставъ для всёхъ одинъ... Куда! Всякъ гнетъ по своему.

Ивинъ. А почему бы это такъ?

Демидъ. Навърно, потому что устава, должно

быть, такого, которымъ бы всв люди были довольны, нвтъ. Ну, вотъ и ищуть его.

Ивинъ. А ты, стариканъ, оказывается, интересенъ. (Демидъ не отвъчая пьеть чай) Не разскажешь ли намъ, дъдъ еще чего-пибудь?

Демидъ. (глядить въ стакань) А что еще вамъ, православные мои, разсказывать? Покуда нечего-Вотъ когда поосмотрюсь здъсь, тогда можетъ быть, что нибудь и еще поразскажу... (Изъ дому выходитъ Владиміръ. Онъ слегка покачивается. По лепу видво, что выпилъ. Озирается по сторонамъ.)

Владиміръ. (бродить вокругь бассейна в какъ-бы самъ съ собой) Скучно! Скучно здѣсь и невольно какъ-то всегда въ этой обстановкѣ задумываешься надъ своей жизнью. Что она? Словомъ,—она мнѣ представляется огромнымъ пустымъ пространствомъ, по которому я почему-то долженъ итти. Словомъ, мнѣ хочется отдохнуть... Но я иду, иду и мучительно думаю: куда я иду? зачѣмъ?—И не могу понять. Въ этомъ для меня... словомъ—ужасъ! (Пауза) Ивинъ, какъ это понять-бы?

Ивинъ. Что тутъ понимать? Ты одинъ изъ того множества дюдей, которые весь свой въкъ толкаются въ жизни безъ толку, безъ цъли.

Владиміръ. Это я и безъ тебя давно знаю. Ивинъ. А разъзнаешь, такъ и не спрашивай. Владиміръ. "Не спрашивай". Страшно. (подходить къ Лъсницкому и съ брезгливой фамильярностью хлопая его по плечу) А скажите-ка мнъ, почтеннъйшій, жениться мнъ или нъть?

239

Лъсницкій. Избави вась отъ этого Богъ. Я однажды быль женать и такъ ученъ, что другу и недругу закажу.

М. СИВАЧЕВЪ.

Ольга. (простодушно) А какъ-же вы мнъ какъ-то разъ говорили: бракъ, бракъ, бракъ...

Лъснинкій. То тогда, а это теперь.

Харцызовъ. (въ Лесницкому) Стало-быть, солоно пришлось?

Лъсницкій. Было. Все было. Работалъ, не щадиль силь и здоровья, а только думаль, что бы въ семъв ни въ чемъ недостатка не было. А что за это отъ жены получилъ — и вспоминать не стоитъ.

Харцызовъ. (глубокомыслевно) Да, жены не считають себя счастливыми и довольными оттого, что ихъ мужья на нихъ работаютъ.

Лъсницкій. У нихъ на это есть такая логика: "Какое-же, моль, туть счастье, что мужь работаеть на меня? Онъ обязанъ. На то, моль, я и жена, чтобы онъ на меня работалъ и все мнъ доставлялъ".

(Харцызовъ встаетъ и ходить около стола. Владиміръ садится на его мъсто).

Харцызовъ. Если-бы только этимъ ограничивалось, такъ это бы ничего. Бываеть хуже...

Л в сницкій. Истину изволили сказать, Иванъ Семенычъ. И это "хуже" бываетъ всегда такъ: мужъ оть дёль и заботь вёчно усталый, хмурый, а тутъ случайно навертывается какой-нибудь субъектъ... Занимательный онъ такой, веселый; избытокъ силъ такъ и кипитъ въ немъ...

Харцызовъ. (ноглядывая на Варвару и ехидне) Такъ... такъ... Субъектъ вродъ... нашего инженера Трубина...

Лѣсницкій. Я сказаль: занимательный онъ... Владиміръ. (усмъгаясь) Ну-да. Повимаю. Словомъ, - сопоставить жена мужа съ субъектомъ и, субъекть, конечно, окажется лучие.

Лъсницкій. Еще-бы! Въдь онъ ни съеть, ни жнеть, а такъ, какъ пчела-налетить на цвътокъ, высосеть весь сладкій ароматный сокъ и умчится дальше.

Варвара (къ Лъсницкому). Почтеннъйшій! И если-бы всъ цвъты были такъ просты и наивны, что позволяли-бы безъ разбору пользоваться собой всёмъ пчеламъ, то, я увёрена, что вы былибы изъ всёхъ пчелъ самой жадной пчелой. (Владиміръ, Ольга, Ивинъ, неудержимо съ крикомъ "браво"

XOXOTYTE. Харцызовъ (хватаясь за голову). Въ моемъ домъ... при мнъ... не стъсняются издъваться надъ человъкомъ, котораго я прошу бывать у меня.

Лѣсницкій (быстро вставая). Моя нога больше не переступить порога этого дома.

Варвара (къ Лесницкому). Этого давно всъ хотятъ. И вы уже объщались, кажется, разъ десять сюда не ходить, но всв свои объщанія должно быть забывали. Не забудьте коть сегодняшняго объщанія.

Харцызовъ. (подступля къ жевѣ). Какъты смѣешь... Варвара. Прочь! (встаетъ). Жалкій! Владиміръ (въ унинссовъ). "Недоносокъ". (Лѣсницкій уходитъ).

Харцызовъ (хватая его за руку). Вы куда? Вы подождите! Я объяснюсь.

Лъсницкій. Оставьте! Я все снесу безропотно, какъ христіанинъ.

Ольга (хохочеть). Скажите!..—Это уже я отъ вего второй разъ слышу. Онъ мнъ одно время не давалъ проходу, ну, а я ему за это плюнула въглаза. (Лъсивцкій ситше исчезаеть въ домъ). Утерся онъ и совершенно спокойно: "Изълюбви къвамъ и это униженіе, какъ христіанинъ съъмъ".

(Харцызовъ озпрается по сторонамъ и не видя Лѣсницкаго быстро уходитъ за нимъ).

Ивинъ (къ Ольгъ). А вы говорили объ этомъ старшему брату?

Ольга. Говорила.

Ивинъ. И что онъ?

Ольга. Ничего. Махнуль рукой и заявиль, что ему не до пустяковъ.

(Харцызовъ и Лъсницкій вновь появляются изъ дому).

Харцызовъ (трусливо забъгая виерецъ). Но, почтеннъйший... Что-же это такое? Это безобразіе...

Лъсницкій. Простите. Откровенно: этого я не ожидалъ...

(Изъ дому выходитъ Трубинъ; съ нимъ человекъ двадцать рабочихъ.—Они останавливаются плотной группой около бассейна). Трубинъ (здоровается молча съ Варварой, Ольгой, Ививимъ—и къ рабочимъ). Передъ вами—хозяинъ и управляющій. Я при нихъ заявляю, что вы правы. Требуйте свое.

Одинъ изъ рабочихъ. Г. хозяинъ. За чтоже насъ управляющій уволиль?

Нѣсколько голосовъ. (сдержано) Такъ нельзя.— Несправедливо.—Вины за собойне знаемъ.

Лъсницкій. Уволиль васъ, голубчики за неблагонадежность. (Злобно) Да наконецъ: какъ вы смъли сюда явиться, хамы.

Голосъ. (глухе). Самъ хамъ.

Харцызовъ. (къ Трубину) Но, какъ вы осмълились ихъ сюда привести?

Трубинъ. (Подходя къ Харцызову и—тяжело). Прошу со мной такимъ тономъ не говорить.

Харцызовъ. (отступая отъ Трубина и кърабочимъ) Братцы! Здёсь не мёсто для объясненій, На это есть контора.

Трубинъ. (къ рабочимъ) Требуйте свое здѣсь. Въ конторъ ждетъ васъ одна трата времени.

Голоса рабочих в (возбужденно). В врно!—Знаемъ мы вашу контору!—Чего тамъ: пишите: выдать постольку-то—и баста.

Лѣсницкій (къ Трубину). Вы, милостивый государь... Это что такое? Поводъ... науськиваніе къ бунту?

Трубинъ (дълая шагъ къ Лъсницкому и смотря на е-го въ упоръ), Ну?

241 .

Лѣсницкій ...Съ позволенія Ивана Семеныча... А потомъ... вы не смотрите на менятакъ... я не звърь.

Трубинъ (еще ближе). Ну? (Лесницкій пятится назадъ).

Харцызовъ (къ Трубену визгливо). Но позвольте! Кто здъсь хозяинъ? Я? Какъ смъете? Владиміръ (багровый отъ гивва вскакиваетъ и подбъгаетъ къ рабочимъ). Въ чемъ у васъ дъло?

Одинъ рабочій. А въ томъ: невѣдомо за что разсчитали насъ. Ну, мы того... какъ это слъдуеть по правилу: требуемъ, чтобы намъ уплатили за двъ недъли.

Владиміръ (къ Харцызову). В дать!

Харцызовъ (съ полнымъ самообладаніемъ). Ха! Ты кто такой? Я здёсь хозяннъ.

Владиміръ. Я такой же наследникъ, какъ и ты. Словомъ...

Харцызовъ (перебавая). Да. Но твое дѣло сторона. Отецъ фабрику довърилъ мнъ. Вотъ когда умру, тогда хозяйничай, какъ тебъ угодно.

Владиміръ. Фабрика—милліонное дѣло, а ведется тобоп какъ? Словомъ, —безпорядокъ, грабежъ.

Лѣсницкій. (въ рабочимъ) Голубчики! пойдемте въ контору. Тамъ все уладимъ.

Трубинъ. Не уходите.

Рабочіе. (всь) И не пойдемъ.

Владиміръ (къ Харцызову). Что ты сдёлальсь фабрикой? Словомъ, —поворъ!

Харцызовъ (самоувъренно). Я знаю, что дълаю.

Владиміръ. Отцомъ была заведена школа ея нътъ; была образцовая больница, а теперь при ней нътъ даже врача.

Варвара (съ презрѣніемъ къ мужу). Отецъ твой быль хотя и кряжистый человѣкъ, но обсчета рабочихъ у него не бывало. А у тебя—обсчитаны, обворованы тобой и твоимъ управляющимъ каждый мѣсяцъ.

Владиміръ (угрожающе нодстуная къ Харцызову). Что тутъ говорить? Словомъ, — прошу рабочимъ деньги выдать!

Харцызовъ. А вотъ не выдамъ.

Владиміръ (сжимая кулаки). Не выдащь? Ты... кто ты? Словомъ—жалкій недоносокъ.

Харцызовъ (злобно). Я! Иты смѣешь...

Влади міръ. Словомъ, — ты жалкій недоносокъ. (Рабоче сдержанно улыбаются, Ивинъ, Трубинъ хохочуть).

Харцызовъ (глядя на всёхъ, смущается; потомъ на Лъсницкаго в, видя на его лиць наглую улыбку, — жалко и растерянно) И вы? И вы?

(Все смеются; Лесницкій злорадно улыбается).

Харцызовъ (къ Лъсницкому злобно). Какъ вы, почтеннъйшій, смъли допустить такую несправедливость? (указываеть на рабочихь).

Лѣсницкій (злорадно). Этой несправедливости могло бы и не быть: я вамъ докладываль о ней недълю тому назадъ.

Харцызовъ. Докладываль? Ничего ты не до-

кладывалъ. Прошу немедленно рабочихъ удовлетворить. (Идетъ къ дому и останавливается у входа въ него).

Л в сницкій. Мнв что? Я съ превеликимъ удовольствіемъ. Не изъ своего кармана плачу. (Вынимаеть книжку, быстро пишеть и отдавая рабочимъ листокъ бумажки). Идите въ контору. Тамъ получите!

Рабочіе. Давно-бы такъ. (Идуть къ дому).

Харцызовъ (наимщенно). Г. Трубинъ. Черезъ два мъсяца вамъ истекаетъ тотъ срокъ, который оговоренъ въ контрактъ. Прошу васъ озаботиться пріисканіемъ себъ мъста. (Трубинъ занятый разговоромъ съ Варварой, какъ будто и не слышитъ). А съ вами, г. Лъсницкій, я тоже поговорю. (Къ рабочимъ). Господа, вышло недоразумъніе!. (Вмъшивается въ ихъ кучу и исчезаетъ вмъстъ съ ними).

Владиміръ (къ Ивину). Хороша исторія?

Ивинъ (спокойно). А чёмъ нехороша? Посмотръть любопытно.

Владиміръ (щелкаеть себя по горлу). Словомъ

-пойдемъ и забудемъ все?

(Ольга съ ненавистью взглянула на Владиміра, быстро уходить въ глубь сада).

И в и нъ (вставая). Согласенъ. (Уходить въ домъ. Лѣспицкій присаживается къ столу, но замѣтавъ на себѣ взглядъ Трубина, вскакиваетъ).

Лъсницкій. Фу! Дъло еще есть. (Быстро уходить). Трубинъ (всявдъ ему). Эхъ... трусъ поганый.

Варвара. Раньше въ этомъ проклятомъ домъ я тяготилась бездъйствіемъ, потомъ появился

Лъсницкій и внесъ въ него пьянство, пошлость, гразь... Я долго съ этимъ боролась, но затъмъ устала. (Хватаетъ руку Трубина). Научите. Научите меня, что мнъ дълать? Въдь это не жизнь а какая-то страшная, однообразная мертвящая зыбь. Она укачиваетъ медленно-медленно, но навърняка! Научите!

Трубинъ. Вамъ надо набраться силы и рѣшимости и разомъ разбить эту жизнь. Такъ жить, какъ живете вы, можно только безсознательно. Но разъ вы сознали весь ужасъ, всю пустоту своей жизни, такъ уходите отъ этой жизни скорѣе. Бросайте все и уходите.

Варвара. Куда?

Трубинъ. На первое время хоть туда, откуда сюда пришли, а тамъ видно будетъ.

Варвара. А если я не въ силахъ?

Трубинъ. Тогда умрите! Къчему такъ жить? Варвара. Да. Жить такъ не къчему. Но умереть—я малодушна. У меня рука не поднимется.

Трубинъ (спокойно). "Рука не поднимется". Глупости! Въдь вы сознаете, что со временемъ эта жизнь пригнететъ васъ, придавитъ въ конецъ?

Варвара. Сознаю.

Трубинъ. Такъ что же? Не лучше-ли разомъ все покончить, чъмъ медленная и мучительная агонія?

Варвара. Нътъ. На это я не способна. (Пауза). Когда я была въ дъвушкахъ учительницей, то

247

жизнь моя тогда казалась мнв красивой и содержательной. Трудъ для меня быль удовольствіемъ, отдыхъ—наслажденіемъ, а тв часы, когда я на утянутыя отъ скуднаго жалованья гроши шла въ театръ или читала купленную книжку блаженствомъ.

Трубинъ (холодно). Чёмъ вспоминать,— не лучшели прямо вновь вернуться къ такой жизни?

Варвара. Поздно. Я отвыкла отъ труда, боюсь лишеній. Поздно!

Трубинъ (угрюмо). Поздно? Исправить свою

ошибку никогда не поздно,

Демидъ (вставая и подходя къ Варваръ). Эхъ ты, дъвонька! Какъ посмотрълъ я сегодня здъсь, да послушалъ—нехорошо вы всъ живете... (указывая на Трубина). Онъ кто такой? Чъмъ онъ промышляеть.

Варвара. То-есть, какъ это "промышляеть"?

Демидъ. Ну, служить, что-ли?

Варвара. Онъ, дядя, инженеръ. Это такой

ученый, который машины строить...

Демидъ. Не говори, дъвонька, не говори. Я знаю: онъ господинъ механикъ. И ты его слушай Всегда слушай! Онъ дурному не научитъ.

Трубинъ (улыбаясь). Спасибо, дъдъ.

Демидъ. За что спасибо? За хорошія твои рѣчи, хорошее о тебѣ слово. (Къ Варвавѣ). Вотъ тебѣ, господинъ механикъ, насчетъ того, какъ тебѣ быть, говорилъ,—скажу и я: не те, дѣвонька, стидно, что мы не хорошо живемъ, а то стыдно, что мы свою нехорошую жизнь ничѣмъ оправ-

дать не можемъ... Вотъ ты и подумай. А теперь... до увиданія дътки. (Кланяется и идеть въ глубь сада).

Трубинъ (посмотрелъ Демиду въ следъ). Постой, ледъ. И я съ тобой, (быстро идетъ за Демидомъ. Варвара садится и, положивъ руки на столъ, склоняетъ на нихъголову).

ДЪЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

(Обстановка перваго дъйствія. Вечернія сумерки. Аглая сидить около стола, Поля съ него убираеть чайную посуду. Варвара тихо ходить взадъ и впередъ).

Аглая. Скучно. Страшно скучно! Варвара. Пойди, прогуляйся.

Аглая. Куда?

Варвара. По саду. Или просто по улицъ...

Аглая. По улицъ я не люблю ходить, а садъ давно надоълъ.

Варвара. Тогда возьми у меня что-нибудь почитать. Я на дняхъ получила много книгъ.

Аглая. Почитать? Нъть, не хочется.

(Поля забрала всю посуду, но многозначательно цоглядыван на Варвару, уходять медянть).

Варвара. Вы, Поля, мнв что нибудь имвете сказать?

Поля. Да. Но вы меня, барыня... не выдадите? Варвара. Говорите.

Поля (тико). Вчера Иванъ Семенычъ, управ-

ляющій, и Владиміръ Семеновичъ тадили къ дъвкамъ на село. Домой то ужъ въ 6 часовъ утра пріткали.

Варвара. Отъ кого вы это узнали?

Поля. Нашъ кучеръ ихъ возилъ. Онъ разсказывалъ, что у нихъ тамъ было.

Аглая. Что жъ у нихъ тамъ было?

Поля. Такія ужасти, что и не върится, что господа могуть такь безобразить.

Аглая. А все таки, что-же?

Поля. Ухъ, барышня, что вы? Развъ я могу говорить.

Варвара (хмурясь). Идите, Поля. Больше вы, не нужны. (Поля уходить).

Аглая. Ай-да Иванъ Семенычъ!

Варвара (спокойно). А тебя развъ это удив-

Аглая. Нѣть—возмущаеть. (вставая и нервно). Вообще: я не могу равнодушно смотрѣть на него при встрѣчахъ. Мнѣ такъ и хочется плюнуть въ его скверную, истрепанную рожу. Или, если бы передъ нами была грязная лужа, толкнуть въ нее его тощую, ощипанную и жалкую фигуру и сказать: "вотъ твое мъсто!".

Варвара (со смёхомъ). Очень энергично!

Аглая. Я удивляюсь, какъ ты можешь быть спокойна?

Варвара. Его поступки меня и не удивляють и не возмущають. Дёло не въ нихъ... (сжимая голеву руками — внезапно со страстнымъ порывомъ). О,

эта жизнь здёсь, безъ цёли и надобности!. Кажется, что я только съ прівздомъ дяди поняла, что я жила такъ себі, не зная — зачёмъ, для чего? Какъ будто бы только теперь я додумалась что жизнь безъ цёли—гибель.

Аглая (удивленно). Какъ ты заговорила? Это я отъ тебя слышу въ первый разъ.

Варвара. Но у меня нѣтъ цѣди. Чѣмъ же жать? Зачѣмъ? Для чего? Нѣтъ ни желаній, ни стремленій, а когда вообразишь ихъ себѣ, хоти бы даже маленькія, кажется, что и они неосуществимы. Боже мой! Какъ было-бы хорошо, если можно было бы уйти отъ самой себя.

Аглая (обнимая и цёлуя Варвару — горячо). Варя! Варя! Теперь ты мнё родная. Теперь я поняла, что у тебя тё-же муки, какъ и у меня. Я нъсколько минуть тому назадъ сидёла и думала: живу, но зачёмъ? Чтобы пожить. Но какъ? Что такое будущее—здёсь—у насъ? Не то-же ли прошедшее, настоящее, но только въ иное время? Зачёмъ же жить, если нечёмъ жить?

Варвара (горько, словно эло). Зачёмъ же жить, если нётъ возможности жить настоящей жизнью, а не подобной смертью живого человёка? Какъ подумаешь: чёмъ жить въ этой жизни?—все становится противно. Думать? Но о чемъ? Строить замки—не можешь. И вотъ: вертятся въ головъ мысли, но всё онё кажутся такъ пусты и ничтожны, что самой смёшно заниматься ими. И уносятся онё куда то безъ слёда...

Аглая (перебивая). Нёть, у меня не такъ. У меня онъ расплываются...

Варвара. Но довольно ныть. Не будемъ, Аглая

Владиміръ (выходя изъ дому). Сумерки! Что они въ меня вселяютъ? Словомъ,—не люблю я ихъ. (отвертываетъ включатель, —нлощадка заливается свътомъ электрическаго фонаря).

Варвара (къ Аглаз). Я ухожу.

Аглая. А мив съ тобой можно?

Варвара. Нътъ. Мит хочется побыть одной (уходить въ глубь сада).

Владиміръ (ндеть къ Аглав). А не пропдемся ли мы съ вами?

Аглая. Не хочу.

Владиміръ. Мнё хотелосьбы поговорить съвами.

Аглая. Говорите здъсь.

Владиміръ. Здёсь? (неожиданно) Мий пришла въ голову мысль... Словомъ,—вы боитесь со мной быть въ темныхъ мъстахъ?

Аглая (со смёхомъ). Да, побаиваюсь. А потомъ и вы... вы боитесь не только темноты, но и сумерекъ.

Владиміръ. Да, когда одинъ-боюсь; вдво-емъ-нътъ.

Аглая (хочеть ити къ дему). Ну, а я одна—не боюсь, а вдвоемъ—роблю.

Владиміръ (кватая Аглаю за руку). Нётъ не уходите. Я хочу съ вами говорить.

Аглая (вскрикивая). Ой, что вы? У меня руки не изъ жельза. (повинуясь силь Владиміра, садится). Фу, какъ отъ васъ разитъ хмъльнымъ!

Владиміръ. Это есть. Что я сегодня пиль? Портвейнъ, коньякъ, пиво, водку. Словомъ, —пилъ все, что можно пить. А къ чему? Словомъ, —я кочу съ вами говорить.

Аглая (съ задоромъ). А если я не буду слу-

Владиміръ (съ болью). Будете! Должны слушать! Знаете, мнъ вдругъ страстно захотълось разсказать вамъ свою жизнь, показать свою душу Аглая! Знаете ли вы, что такое было мое дътство? Словомъ,—это была безпросвътно-тяжелая полоса, которая исказила во мнъ все лучшее. Не было ни одной живой души, которая бы приласкала меня по-человъчески въ бытность мою ребенкомъ. Самородка, взбалмошная мать, грубый, жестокій отецъ—что они мнъ дали? Отецъ человъкъ, живній рублемъ и для рубля—не обращалъ на меня ни мальйшаго вниманія; мать—палкой и кнутомъ старалась воспитать изъ меня приличнаго негодяя.

Аглая. Постойте. Къ чему....

Владиміръ. Молчите! Мнё было 12 лётъ. Я быль смазливенькій мальчикъ. Меня приласкала скучающая вдовушка. А я... Словомъ,—я весь, весь отдался ей и такъ вёрилъ—смёшно, глупо, по-дётски,—и въ тоже время не по-дётски любилъ.

Позабавившись, со мной она со смѣхомъ прогнала меня и сказала, что я глупый фантазеръ изъ котораго... словомъ,—никогда ничего путнаго не выйдетъ. Каково это было мнѣ? (Пауза). Потомъ она вновь подошла ко мнѣ. Опять я два мѣсяца любилъ, вѣрилъ, а затѣмъ понялъ, что это та-же забава. Понялъ—и самъ отошелъ. (Сурово) А ну прибавъте, что такія исторіи повторились еще нѣсколько разъ. Правда—не съ ней. Словомъ,—мѣнялись лица и детали а факты одни и тѣже-

Аглая. Къ чему вы мнт объ этомъ говорите? Владиміръ. Къ тому: я не разъ слышалъ, какъ вы говорили, что я развратникъ звтрь. Да, втрно. Въ 17 лтъ я началъ пить, развратничать; въ 17 лтъ мнт доставляло наслаждение дълать людямъ зло. Правда, если-бы въ это время нашлись люди способные понять меня, приласкать, я, можетъ быть, былъ бы не таковъ, какъ сейчасъ.

Аглая. Приласкать? Зачёмь? Затёмь, чтобы вы потомь наиздёвались всласть.

Владиміръ. Можетъ быть, и это. Не знаю. По крайней мъръ, тогда такъ думалось. — Это было въ пору гимназическаго ученія. Бывало, — всномнить страшно, — задыхаясь отъ озлобленія, я ста рался ударить человъка въ самое больное мъсто. Словомъ, — не было у меня ничего святого, любимаго. — А рядомъ съ этимъ, въ моей душъ постоянно жила страшная, дикая боль одиночества. И стоило мнъ хоть день остаться трезвымъ, она

доводила меня до ужаса, до изступленія, до галлюцинацій. Но рюмка, другая, третья коньяку, и все затихало! Словомъ,—ко всему являлось холодное, спокойно-злое безразличіе. А потомъ я узналъ, что морфій лучше коньяку— и сталъ морфинистомъ.

Аглая. И теперь продолжаете?

Владиміръ. Да, иногда. Былъ полный перерывъ на два года, когда я былъ студентомъ. Тогда меня любила одна дъвушка, но она умерла.

Аглая. Такъ... Когда вы вспоминаете свои студенческіе годы, она связывается съ вашими воспоминаніями?

Владиміръ. Непремънно! Она. Всегда она! Словомъ,—вспоминается то, что никогда не вернется.

Аглая. А надъ ней вы тоже издъвались? Владиміръ. Да, иногда. Но я ее глубоко любилъ.

Аглая (тихо подавленно). Ужасъ какой-то. (Встаеть и идеть къ дому). Я не могу его понять.

Владиміръ. Не уходите. Я не все еще сказалъ. (Хватаетъ Аглаю за руку). Я зналъ десятки женщинъ...

Аглая. Оставьте меня, я не хочу слушать. Не могу.

Владиміръ (умоляюще). Выслушайте до конца. Можеть быть, вы спасете меня...

Аглая. Едва ли это возможно. (Вырываеть руку). Пустите. Я кричать буду. (Съ силой вырываеть руку и овжить въ домъ. Владиміръ съ секунду стоить съ протянутыми къ Аглав руками. Видъ у него, дикъ, точно у больного въ бреду. Изъ глубины сада на площадку тихо идугъ Варвара и Ивинъ).

Владиміръ. Ививъ, зайдемъ, пожалуйста ко мнъ. Мнъ нужно съ тобой поговорить.

Ивинъ. О чемъ?

Владиміръ. Дѣло есть.

Ивинъ. Говори здёсь.

Владиміръ. Ну, это совстить неудобно. Словомъ, — о такихъ вещахъ говорятъ только тому, кому довтряещь.

Ивинъ. Не пойду. Я заранъе знаю, что ты миъ скажешь что-нибудь скверное. Что я—помойная яма? Оставь меня въ покоъ. У меня братъ, на душъ своего хламу много.

Владиміръ. Тебъ, Ивинъ... Словомъ, что бы ты не сказалъ, я почему-то все могу простить. (Беретъ Ивина за руку). Ну, пойдемъ!

Ивинъ. Не пойду.

Владиміръ. Ну, если не говорить, такъ пой-

Ивинъ. Для сего—вашъ покорнвиши слуга. (Идутъ въ домъ. Варвара, глядя на Ивина и покачивая геловой, садится къ столу. Ивинъ и Владиміръ въ дверяхъ сталкиваются съ Харцызовымъ).

Харцызовъ. Вы куда?

Владиміръ (холодно). А туда, куда намъ нужно. Харцызовъ (подходя въ Варваръ. Видъ у него дъманно-убитый. Говорить какъ бы самъ съ собой). У однихъ жизнь испорчена, изломана, опошлена по ихъвинѣ; у другихъ она—полна роковыхъ случайностей.

Варвара (съ проніей). Ужъ не у тебя ли?

Харцызовъ (напыщеняю). Нѣтъ, пока не уменя. Но разъя объ этомъ говорю, то, стало быть, уменя есть подобнаго рода опасенія. Я сейчасъ живу, впереди уменя какъ будто бы все ясно, хорошо...

Варвара. У тебя!-Какая глупость.

Харцызовъ (словно не слышаль). ... но кто можетъ поручиться, что вдругъ не налетить откуда-то извив темная, жестокая сила и не толкиетъ тебя безжалостно въ страшный жизненный водо вороть?

(Ивинъ и Владиміръ показываясь на балконт).

Ивинъ (со смъхомъ). О, Боже! Иванъ Семенычь, что вы говорите? Въдь это все слова Лъсницкаго. Я не разъ ихъ слышаль отъ него.

Харцызовъ. Прошу, господа, быть поделикативе. Не забывайте, что вы въ моемъ домв.

Владиміръ. (вспыльчисо). Прошу, почтеннъйшій братець, не забывать, что домъ неисключительно твой! Словомъ,—я въ немъ тоже хозяинъ!

Ивинъ (смѣясь). Брось, Владиміръ. Не раздражайся. Пойдемъ ка лучше тяпнемъ. (Скрываются).

Харцызовъ. Свиньи! (Къ женѣ). Вообще, Варя, я котѣлъ сказать, что жить стращно. Куда не погляди... (треть лобъ, какъ бы препоменая) вездъ стращныя, непонятныя явленія жизни... да, жизни... и... нътъ, не то...

Варвара (со смъхомъ) Забылъ? Ахъ ты, бъдный! (Серьезно). Говори, что хочешь сказать, своимъ языкомъ.

Харцызовъ. Я и говорю своимъ. Вообще, мыживемъ не одинаковой, разной жизнью...

Варвара. Кто-же въ этомъ виновать?

Харцызовъ.. Объ этомъ я не буду говорить. Варвара (подчеркивая). Объ этомъ, — именно объ этомъ и надо говорить.

Харзыцовъ. Да? (робко). Ну, а если такъ, (смълье) то виновата ты.

Варвара (спокойно). Я? Такъ, стало-быть, для того, чтобы у насъ жизнь была не разная, а одинаковая, мнъ нужно, какъ дълаешь ты—пить, ъздить по ночамъ на тройкъ въ деревню?

Харцызовъ. Варя! Варя! Не то. Не то я хотълъ сказать. Я хотълъ сказать, что мы оба виноваты... Я виновать тъмъ, что не задалъ себъ труда ознакомиться съ твоимъ нравственнымъ міромъ...

Варвара (пронически). Ишь ты.

Харцызовъ. (забываясь) ...міромъ мыслей и чувствъ. Это мнѣ, какъ говоритъ Лѣсницкій, надо было сдѣлать давно. Тогда-бы у насъ не было такой жизни. (въ учоеніи) Варя! Варя! Люби меня и знай, что, когда жизненныя невзгоды дѣлять два любящія сердца и, если они полны чувствомъ, что никто и никогда не можетъ разъелинить ихъ, то имъ ничего не страшно! Люби меня! Люби! И тогда наша жизнь, если-бы она даже у насъ была и горемычная, безыдейная,

будеть хорошая... (спохватываясь) Нѣтъ... не то... Я хотълъ сказать: будеть лучше и краше, чѣмъ теперь... (хочеть обнять Варвару).

Варвара. (вскакиваеть, какъ обожженная) Прочь! Жалкій!

Харцызовъ. (разочарованно-съ недоумѣніемъ) Ужели и эти слова не тронули тебя?

Владиміръ. (съ балкона—невидимый) А чьи они? Это слова Лъсницкаго.

Харцызовъ. (злобно—къ Владиміру) Ты... Ты негод... молчи.

Ивинъ. (тоже невидимый) Съкъмъ, почтеннъйшій Иванъ Семенычъ, говорите? Съ балкономъ?

Владиміръ. А ну-ка, братецъ, добавь къ недосказанному слову "яй", и я.. (угрожающе) Словомъ, —спущусь тогда къ тебъ. (показывается на балконъ).

Ивинъ. (появляясь за Владиміромъ и уводя съ собой) Брось, Владиміръ. Не раздражайся. Пойдемъ-ка еще лучше тяпнемъ.

Владиміръ. (исчезая съ Ивинымъ) Если-бы у этой гниды была сила? Словомъ,—онъ истеръ-бы меня въ порошокъ. (Варвара идеть въ домъ).

Харцызовъ. (удерживая) Нътъ, подожди.

Варвара. (холодно) Что еще надо?

Харцызовъ. (грубо—со злебой) По закону—ты мнв жена. Ну, и будь вполнв ею. Съ тъхъ поръ, какъ мы другь другу чужіе, скоро два года. Мнв это надовло... Я требую...

Варвара. Вотъ-это истинно по-купечески. Раньше ты просилъ...

Харцызовъ. (перебивая) Да, просилъ. А теперь требую.

Варвара. Я тебъ это раньше говорила, говорю и сейчасъ: я вышла за тебя потому, что ты богатъ. Хотъла, при помощи твоихъ денегъ дълать добро бъднымъ людямъ...

Харцызовъ. (убъжденно) Міръ великъ, и всёхъ не облагодётельствуешь.

Варвара. Женихомъ ты говорилъ: для добрыхъ дълъ денегъ не пощажу...

Харцызовъ. Мало-ли что говорится.

Варвара. (съ отвращениемъ) Фу. (внезанно съ бъшевствомъ) Когда вспомню, что ты мой мужъ, волосы хочется рвать на себъ! А когда ты и я вмъстъ на людяхъ? Если бы меня до нага раздъли и выставили передъ толпой мужчинъ, то и тогда бы я не переживала такого стыда...

(Идетъ въ дому. На площадку изъ-за деревьевъ появляется Демидъ и присаживается къ столу).

Харцызовъ. (робко забъгая передъ Варварой) Варя. Варя. Я все сдълаю: ты когда то просила уволить Лъсницкаго; тогда я не хотълъ—теперь уволю; денегъ на добрыя дъла бери, сколько хочешь.

Варвара. (глухо) Не повърю, — обманешь.

Харцызовъ. Клянусь!

Варвара. Но если-бы ты и въ самомъ дѣлѣ сдѣлалъ все, что обѣщаешь, — теперь поздно... (внезапно — голосомъ, близкимъ къ истерикѣ) Что ты за мной идешь? Куда идешь? Прочь!

Харцызовъ. (опѣшилъ, испуганно) Бога ради... такъ кричать?

Владиміръ. (выскакивая на балконъ) Въ чемъ дъло? (глядить внизъ).

Ивинъ. (невидимый) Что за крикъ?

Владиміръ. (исчезая—насмѣшливо) Комедія! Словомъ,—недоносокъ ухаживаетъ за женой.

(Варвара исчезаеть въ домъ. Харцызовъ возвращается назадъ). Харцызовъ. (замътивъ Демида) Старикъ. (злобно плачетъ) Видишь, какое мое житье? Братъ, родной братъ, такъ оскорбляетъ... И я ничего не могу противъ этого сдълать. Выгнать изъ дома—не имъю права; драться съ нимъ—я культуренъ!

Демидъ. Если ужъ у васъ такіе нелады, такъ нътъ ничего проще того, чтобы раздълаться вамъ.

Харцызовъ. Какъ это?

Демидъ. Подъли съ братомъ все имъніе твое пополамъ.

Харцызовъ. (пораженный) Подълить имъніе? Хмъ! (снисходительно) Почтеннъйшій,—ты глупъ.

Демидъ. (спокойно) Можетъ быть.

Харцызовъ. Развѣ моему брату можно довърить что? Онъ живо все спуститъ.

Демидъ. Да тебъ-то, православный мой, какое дъло?

Харцызовъ. Тебъ этого, почтеннъйшій, не понять.

Демидъ. (съ улыбкой) Ужъ куда мнѣ. Я человъкъ простой. Но все-же, правослагный мой, разъ

у васъ съ братомъ сейчасъ такіе нелады, то со времечкомъ не то еще будетъ.

Харцызовъ. Будетъ? (съ пафосомъ) Пусть будетъ, что будетъ! Мнъ не миновать гибели въ этомъ темномъ, безпощадномъ омутъ, именуемомъ жизнью. (переходя въ обычный тонъ) Да. Но кто виноватъ? Твоя племянница, старикъ. Она очень странный человъкъ. Я ее никакъ не могу понять.

Демидъ. А ты, православный мой, хорошенько подумай, тогда, можетъ быть, и поймешь.

Харцызовъ. Подумай? Думалъ много! Она груба, невоспитанна. Разбита жизнь, старикъ. Разбита!

Демидъ. А ты, православный мой, если мастеръ жить, сумъй скленть.

Харцызовъ. (тупо) Скленть? Чушь какую-ты, почтеннъйшій, несешь. Скучный ты старикъ!

Демидъ. Это оттого: люди мало веселятъ. (Харцызовъ идетъ въ домъ. Изъ него выходитъ Ольга. Они сталкиваются около бассейна.)

Харцызовъ. (останавливаясь—ехидно) Почтеннъйшая сестрица, а гдъ вашъ возлюбленный педагогъ, г. Ивинъ?

Ольга. (устало) Отстань.

Хардызовъ. Не его ли вы, почтеннъйшая сестрица, ищете?

Ольга. А если его, тебъ какое дъло?

Харцызовъ (расшаркиваясь). Повърьте—никакого! Жаль только васъ почтеннъйшая сестрица: вы за нимъ всегда бъгаете такъ, словно кошка въ мартъ за котомъ.

Ольга (оглядывая фигуру брата). Малъты, братецъ, плюгавъ, но вреденъ! Фу! (плюетъ).

Харцызовъ (запальчиво). Прошу, почтеннъйшая, не забываться!

Ольга (идеть къ Демиду). А что ты мив сдвлаещь? Выгнать изъ дому—домъ наследственный, не имвешь права; съ кулаками налетишь,—я женщина, тебя, какъ клопа раздавлю.

Харцызовъ (исчезая въ домъ—съ бѣшенствомъ) Акула!

Ольга (къ Демиду—позѣвывая). Добрый вечеръ, дълъ.

Демидъ. И тебъ тоже. Што, скушно?

Ольга. Скучно, дёдъ. Жизнь у меня невеселая. Она оборвалась какъ-то сразу, дико, нелёпо. Видишь,—я молода еще, а уже пятый годъ вдовствую. Въ этомъ домъ,—въ особенности осенью или зимой, я когда-нибудь съ ума сойду или повъщусь.

Демидъ. Ну, что ты такъ? А ты, дъвонька, возьми, да закружись (показываеть на пальцахъ) этакимъ волчкомъ въ свое удовольствіе... Ну, и повърь мнъ: отудбишь!

Ольга. "Закружись... волчкомъ..." (смѣется). А корошо это. Соблазнительно! (серьезно). Да только, дъдъ, что люди объ этомъ скажутъ? Или—развъ отъ своей совъсти потомъ куда уйдешь?

Демидъ. Люди? Совъсть? Эхъ, дъвонька.

Вотъ тебъ скушно, а люди-то, въдь, твоей скуки небось разогнать не придутъ. Да не только разогнать: они даже объ этомъ и не подумаютъ.

Ольга. Ну, это, пожалуй, и такъ. А совъсть? Демидъ. Что совъсть? Въ этакомъ дълъ—въ твоемъ дълъ—совъсть не нужна... Въ гробъ ты ее съ собой не положишь.

Ольга (изумленно). Какъ не нужна?! Стало-быть, можно развратничать сколько угодно—и ничего?

Демидъ. Ну, зачъмъ, дъвонька, развратничать? (немного затрудняясь). У тебя другое дъло... (увъренно). Тамъ человъкъ отъ несчастья несчастенъ, а ты несчастна оттого, что сама себъ жить не даешь. А ты поживи,—поживи дъвонька, въ свое удовольствіе такъ, чтобы можно было себя послъ этого уважать...

Ольга (треть лобь рукой). Уважать?

Демидъ. Ну, да. Ты только докумекайся, что я тебъ говорю-то, а тогда... Человъку міръ-то Божій кажется тогда только хорошъ, когда онъ весель, да доволенъ...

Ольга. Правда, дёдъ! Когда-то, когда жизнь мнъ казалась лучше, милъе... тогда я была весела, добра.

Демидъ. Ну, вотъ видишь. (Пауза). Эхъ люди, люди... И ничего имъ такого, что у нихъ есть, многаго и не надо... Надо, какъ-нибудь самому, а если возможность есть, и другимъ помочь,—полегче, да повольготнъе до могилы добраться; а они,—нътъ: нагрузятъ себя всякимъ хламомъ,

какъ ломовую лошадь, — ну и везутъ, и стонутъ, да еще и жалуются... Чудаки неразумные!

(Ольга смотрить внимательно на Демида. Демидъ встаеть и начиная прохаживаться поеть: "Ничего мий на свити не надо, только видить тебя, голубь мой").

Ольга. Веселый ты, дъдъ... Ты не похожъ на другихъ богомольцевъ. Тъ все или молчатъ, или о божественномъ говорятъ.

Демидъ. Ну, это они такъ... Настоящей-то въры у нихъ нътъ, ну, они для видимости и такъ и этакъ святыми то и прикидываются. Вотъ въсвященномъ писаніи сказано: "Въра твоя спасетътя!" Справедливо сказано. Кто въритъ, тотъ всегда веселъ—потому что знаетъ, что спасенъ будетъ...

Ольга. Я тебя, дъдъ, что-то не пойму. Я вотъ тоже върующая, а не весела.

Демидъ. Стало-быть, плохо въришь. Боишься своей въры.

Ольга, Вотъ, вотъ.

Демидъ. Этого не надо. Плохъ тотъ христіанинъ, который боится Бога... Отъ такихъ христіанъ большое зло въ жизни бываетъ. Ты, дъвонька, если хочешь быть настоящей христіанкой, живи такъ: человъка никогда и ни въ чемъ не обижай, а старайся помочь ему словомъ и дъломъ. Больше отъ христіанина Богу ничего не нужно.

Ольга. Да?

Демидъ. Ты ужъ повърь мнъ. На свътъ, дъвонька, много несправедливости расплодилось:

иной звёрь, какъ вотъ здёсь у васъ управляющій, сожреть въ жизни такой кусь, который-бы на десятерыхъ хватило, а иной со своей совъстью не съвстъ въ жизни и своей законной порціи.

Ольга (неопределенно). Что-жъмне, дедъ делать? Демидъ (быстро). Перво-на-перво — отсюда увхать.

Ольга (оживляясь). Убхать? А знаешь дёдъ: я въдь давно думала это сдълать. Скверно здъсь жить.

Демидъ. Такъ чего-же: и увзжай. И поживи тамъ, куда увдешь-то. Ты, дввонька, помни всегда одно: тъ годы, въ кои надлежитъ пожить, назадъ не возвращаются.

Ольга (въ раздумый). Уйду... (риштельно). Непремвнно увду!

Изъ дому выходять Владиміръ и Ивинъ. Оба отъ выпивки возбуждены, Владиміръ пошатывается).

Демидъ. Если ръшила, то такъ и дълай. Лучше этого, дъвонька, ничего не придумаешь.

Ивинъ (къ Демиду). Здорово, дъдъ!

Демидъ. Мое тебъ почтеніе, господинъ учитель. (здороваются).

Владиміръ (въ Ивину). Ну, какъ же насчетъ того дъла-то? Словомъ, — что ты мев посовътуещь? (Ольга садится и не спуская съ Ивина глазъ, наблюдаетъ за нимъ.

Ивинъ (съ недоумъніемъ). Насчеть какого дъла? Владиміръ. Ну, вотъ, что я тебъ десять минуть тому назадъ говорилъ.

Ивинъ. А-а..: (ръзко). Это, братецъ мой, не дъло, а... мерзость!

Владиміръ. Ивинъ, къ чему такія... словомъ, - грубыя выраженія? Разв'я безъ нихъ нельзя обойтись?

Ивинъ. По мнънію другихъ, можетъ быть

можно, по моему нельзя.

Владиміръ. Я сознаю... Словомъ, -- я противенъ, гадокъ... Но я хочу работать, хочу жить лучше. Но я не могу, не знаю, что мит работать. Словомъ, я не знаю, какъ и чвить оправдать свою жизнь.

Ивинъ (насмёшливо). Ступай копай землю, коли

дрова.

Владиміръ. Я чувствую, что я ничемъ не могу удовлетвориться въ жизни...

Ивинъ (къ Демиду). Вотъ, дъдъ, посмотри на

него. Что про него можно сказать?

Демидъ. Что? (Хлопая Владиміра по плечу-съ юношескимъ задоромъ). Эхъ ты, елка моя зеленая. Увязъ, брать, ты точно въ трясинъ. И хочешь выбраться изъ нея, а силенка-то у тебя жидкая, да и туты, какъ слъдуетъ, во спасеніе себя употребить не хочешь. Какой толкъ? Тонешь глубже да глубже. Хочешь выручу? (обнимая одной рукой Владиміра). Послушай меня на благо себъ!

Владиміръ (освобождаясь оть объятій Демида, грубо). Прошу, старикъ, безъ нъжностей. Я этого не люблю.

Демидъ. Эхъ, православный мой... плохъ ты,

да еще оказывается и съ шипами! Это для тебя очень нехорошо.

Владиміръ (къ Ивину). Пойдемъ.

Ивинъ (угрюмо). Прочь. Эхъ ты... плевелъ.

Владиміръ. Я съ тобой, кажется, скоро разойдусь. Ты иногда бываешь прямо нестернимъ. Словомъ, лучше быть совсъмъ одинокимъ.

Ивинъ. Ты разойдешься? Врешь. Или—върнъе: не знаешь, что говоришь. Въдь мы тутъ всъ одинокіе. Мы отошли отъ жизни, отъ людей, а жизнь, Владиміръ, этого безнаказанно не оставляетъ. Она любитъ въ людяхъ враждебную ей силу,—ту силу, которая грудью встръчаетъ ея удары. А тъхъ, кто трусъ, кто не живетъ, кто отлыниваетъ отъ живого дъла, она презираетъ... Какъ презираетъ? Точно такъ-же вотъ, какъ и насъ. Жизнь уже намъ, Владиміръ, сказала свое: "прозябайте, молъ, вы одинокіе, безсильные, никому ненужные..." (тише —съ болью). Да... Есть, Владиміръ, одиночество, невынужденное, а добровольное, не унижающее человъка, но то одиночество, Владиміръ, не нашъ удълъ, а удълъ гордыхъ, сильныхъ людей.

Владиміръ. Да да... словомъ, я тебя понялъ. (Оглядываеть домъ). Какъ я ненавижу этотъ домъ со всей его обстановкой Словомъ, мнъ здъсь все до омерзънія противно!

Ивинъ. При чемъ обстановка, стѣны? Развѣ онѣ въ томъ, что мы таковы, виноваты? (Пауза). Эхъ, чортъ возьми! Знаешь, Владиміръ, иногда мнѣ по временамъ хочется, чтобы случилось что-нибудь

такое, отчего всё люди, подобные мнё, тебё твоему брату, Лёсницкому, сразу умерли, а я умираль бы послёдній, то я съ злобной радостью посвятиль бы умершимь и себё какую-нибудь ядовитую эпитафію.

Владиміръ. А представь: я на эту тему тоже думалъ. И у меня даже есть сочиненная мною эпигафія.

Ивинъ. А ну?

Владиміръ. Жизнь свою устроить мы не умёли:
Нашъ итогъ—ничего ни себё, ни людямъ.
Словомъ, точно мы жили для цёли—
Пойти на съёденье могильнымъ червямъ.

Ивинъ. А недурно! Главное—въренъ смыслъ. Вотъ никогда не думалъ, что ты способенъ стихи писать.

Владиміръ. Отъ тоски люди и въ петлю лѣзутъ. Да дѣло-то не во мнѣ, а въ тебѣ. Словомъ, неужели твоя жизнь въ прошломъ была такъ плоха, что ты можешь примѣнить къ ней мою эпитафію?

Ивинъ. Она была лучше твоей. Но жизнь человъка только тогда хороша, когда она имъ во всъхъ отношеніяхъ разумно использована.

Владиміръ. Не пойму я тебя. Словомъ, ты обс всемъ судишь какъ-то легко, смаху. Сказать, что человъкъ обязанъ жизнь использовать разумно—нетрудно. Научи-ка ты лучше меня, какъ это сдълать?

(Изъ дому вырываются нъсколько аккордовъ рояля. Затьмъ

ельдують артистически исполняемыя отрывки изъ ораторіи Шумана "Рай и Пери" и 9-й симфоніи Бетховена).

Владиміръ (въ забыты). Талантъ. У Аглан большой талантъ.

Ивинъ. Чего тутъ учить? Найди себъ дъло. А впрочемъ—ерунда! Ты викогда и ничего не будешь дълать.

Владиміръ (разсіянно, прислупиваясь въ музыкі). Вотъ, вотъ. Словомъ, къ большому дёлу я не способенъ, а къ маленькому обидно и руки и голову прилагать. (Быстро, съ тоской). Не могу я... Не могу! (Бёжить въ домъ).

Ивинъ. (Вследъ ему). Конечно. Гдв намъ? Всв мы—ничтожные, себялюбивые, безъ любви къ какому-бы ни было дёлу, не хотимъ удовольствоваться той ролью въ жизни, какая намъ по силамъ, по способностямъ, а предъявляемъ къ ней чортъ знаеть какія требованія. (Кричить). Нетъ, ты сумей сдёлать маленькое, а тогда ужъ и скажи: дайте мев больше!

Ольга. (Къ Ивину). Ну, ну, не входите въ ражъ. Скажите-ка лучше, какъ научиться разумно жить. И в и н ъ (спадая съ голоса—льниво). Думайте. На это

человъку дана голова.

Ольга. Хорошо. Допустимъ, что человъкъ ръшилъ, что живя такъ, онъ будетъ жить разумно; но началъ этакъ жить и вдругъ понялъ, что самъ себя ввелъ въ заблужденіе, что онъ ошибся. Тогда что?

Ивинъ. Пусть ошибка послужить урокомъ.

Ольга. Но если такъ ошибешься многократно? Ивинъ (вяло). Ничего. Въ жизни учатся на своихъ ошибкахъ. Кто не ошибался, не заблуждался, тотъ въ жизни неопытный человъкъ.

Ольга. (Вдругъ). Я кочу увхать отсюда.

Ивинъ. Что?

Ольга (взволнованно). Уфхать отсюда хочу.

Ивинъ. Куда?

Ольга. Пока не знаю. Подумаю.

Ивинъ. Можетъ-быть, только этимъ и ограничитесь?

Ольга. Нътъ. Окончательно ръшила.

Ивинъ (сповойно). Если уъдете, буду за васъ радъ.

(Звуки рояля круто обрываются).

Ивинъ (съ горькимъ бѣшенствомъ). Замолкла. Когда слышу музыку—тоска! (Къ Демяду). Экъ, старикъ... Посмотри здѣсь на насъ, мы не живемъ, не идемъ впередъ, а какъ будто-бы полземъ, по своему пути и видимъ, что у насъ не жизнь, а что-то такое, чему даже трудно подыскать точное опредѣленіе. Мы сознаемъ, что ползти дальше, это значитъ упасть въ какую-то темную бездну; сознаемъ, что надо найти другой путь. Но мы, старикъ, непростительно лѣнивы, неподвижны. Мы мертвы! Въ насъ нѣтъ такого духа, въ которомъ могутъ жить сильныя стремленія. Какъ жалкія, отвратительныя черви, мы создали себѣ грязное болото: копошимся въ немъ, живемъ, дышимъ его одуряющими испареніями. И, развѣ только изрѣдка выглянемъ изъ

него: а нътъ-ли, молъ, у насъ подъ носомъ чистой лужицы? Для чего? Въдь, если таковую и найдемъ, то живо загадимъ. Не лучше-ли сразу утонуть глубже, съ головой...

Демидъ. Ну, вотъ. Эка ты, господинъ учитель, какъ отчаялся. Я тебъ сейчасъ скажу... (Изъ дому слышенъ отчаянный женскій крикъ) Демидъ-(тревожно.) Эхъ, что-то тамъ неладно! (Крикъ повторяется. Демидъ, Ивинъ, Ольга бъгутъ къ дому. Изъ него навстричу имъ выбигаетъ съ протянутыми впередъ руками и съ воплемъ: "Спасите"! Аглая. Волосы ея въ безпорядкъ; черная кофта на груди разорвана — виднъется бълье, одинъ рукавъ у кофточки оторванъ прочь. Столкнувшись съ Ивинымъ, она падаетъ на колени, обхватываетъ его ноги и

быется въ истерикъ. Появляется изъ дому Харцызовъ). Варвара. (выбёгая изъ дому) Негодяй! (наклоняясь къ Аглат) Ольга! Воды скорте! (къ Ивину) Надо ее перенести туда-къ столу. (Ольга бежить въ домъ). (Ивинъ и Демидъ несутъ Аглаю къ деревьямъ и усаживаютъ на стуль. Аглая затихаеть. Появляется Ольга и Поля съ водой;

мочать Аглав голову, дають пить). Демидъ. (къ Варваръ-сурово) Ну, племянница, (указывая на Аглаю) смотри на дѣвушку. Что можеть быть чище этого! Такъ-то вы здёсь живете... (Владиміръ появляется на балконъ-лицо дикое, голову сжи-

маетъ руками).

Харцызовъ. (къ нему) Ага! Изволили, почтеннъйшій братецъ, явиться. Я недоносокъ... Но я никогда не распускалъ себя до насилія надъ дввушкой.

Владиміръ. (угрожающе) А ну, поговори. Поговори!

(При звукахъ голоса Владиміра припадовъ у Аглан усиливается).

Варвара. Надо ее отсюда подальше. (Ивинъ и Демидъ несутъ Аглаю въ глубь сада. Всъ-Варвара, Харцызовъ, Ольга, Поля следують за ними).

Владиміръ. (протягивая руки къ уходящемъ) Когдато и я былъ болъзненно-чутокъ къ пошлости, подлости, а теперь... Словомъ, теперь ничего: ни стыда, ни раскаянія, одно только сожальніе о томъ, что все ограничилось неудачей. (Глухо рыдаеть)

ДВЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

(Около двухъ часовъ дня. Демидъ сидить подъ тенью деревьевъ въ креслъ. Владиміръ тихо, иногда на секунду останавливаясь и озираясь по сторонамъ, бродитъ вокругъ бассейна).

Владиміръ. (кавъ-бы самъ съ собой) Пустота. Скука. Словомъ-это не домъ фабриканта, а чтото такое противное, жалкое. Всё сидять по своимъ комнатамъ, другъ отъ друга бъгають. Я увъренъ, что въ каждомъ грязномъ, тесномъ углу фабричныхъ моего брата гораздо веселве и уютнве, чвиь въ этомъ домв. (къ Демиду) Знаешь, старикъ: я-мужчина, но я тебъ откровенно скажу, что по временамъ-ссобенно осенью и зимой-мнъ въ этомъ проклятомъ домъ жить страшно... Сидишь въ своей комнатъ, а тутъ еще вътеръ за окномъ бушуетъ, воетъ... Слушаешь—слушаешь его и вдругъ тебъ представится, что ты не въ домъ, гдъ ты родился и выросъ, а въ какомъ-то этакомъ нечистомъ мъстъ, гдъ ты долженъ непремънно пропасть и гдъ надъ тобой уже заранъе воютъ... Словомъ,—чортъ знаетъ, что такое! Такъ бы вотъ взялъ и сбъжалъ отсюда, куда глаза глядятъ.

Демидъ. И сбъти! Чего-же? Пойдемъ со мной по святымъ мъстамъ странствовать.

Владиміръ. Ну, къ этому не ощущаю въ себъ ни малъйшаго желанія.

Демидъ. Оно, православный мой, въ тебъ, какъ видно, ни къ чему желанія-то нътъ.

Владиміръ. Твоя племянница, старикъ... Словомъ,—она очень нелюдимая женщина. Раньше у насъ бывало много знакомыхъ мужчинъ и женщинъ, а какъ она сдълалась женой моего брата, то черезъ годъ никто ни ногой.

Демидъ. Стало-быть отучила?

Владиміръ. Выходить такъ.

Демидъ. И хорошо. Непріятныхъ людей отъ себя надо держать подальше.

Владиміръ. Да? Знаешь что, старикъ? Я люблю стариковъ, охотно съ ними бесъдую, но тебя... Словомъ,—тебя я почему-то не люблю.

Демидъ. Старики-то не всъ одинаковые бываютъ.

Владиміръ. (угрюмо) Ты такой-же грубый, какъ и твоя племянница.

Демидъ. Это, должно быть, у насъ въ роду. Владиміръ. Ты не видалъ сегодня Аглан? Демидъ. (оживляясь) Аглаи... Хорошая дѣвушка!

Владиміръ. Я тебя объ этомъ не спрашиваю. Демидъ. И господинъ лекарь, который—я уже это замътилъ: постоянно за ней увивается,—умственный человъкъ!

Владиміръ. Увивается, говоришь?

Демидъ. Да еще какъ!

Владиміръ. Я что-то этого не вижу.

Демидъ. Гдв тебъ? Ты—слъпъ. Ты себя, православный мой, не видишь...

Владиміръ. (въ раздумьт) Не понимаю, какътакой пень, можетъ увиваться. Я отъ него и словато, кажется, никогда не слыхалъ.

Демидъ. Говоритъ-то онъ, правда, мало. Онъ

все больше молчить да думаеть.

В надиміръ. (злобно) Думаетъ? О чемъ онъ можетъ думать? Твой господинъ лекарь—грубый мужланъ. Трубинъ тоже сынъ мужика. Словомъ, — я ихъ понимаю... (грубо) Что-же я съ тобою говорю? Словомъ, — Аглаи не видалъ?

Демидъ. Нътъ.

Владиміръ. А не знаешь, гдъ она?

Демидъ. А я почему знаю? Что я—сторожъ за ней?

(Владиміръ идеть въ аллею, но при вході въ нее сталкивается

съ Варварой. Варвара возвращается съ купанья; черезъ руку перекинуто полотенце. Съ секунду она смотритъ на Владиміра въ упоръ, съ отвращеніемъ. Владиміръ круто поворачивается и идетъ въ домъ, сильно хлопнувъ дверью. Варвара останавливается около Демида).

Демидъ. (кивая головой на Владиміра) Не любитъ онъ тебя, дъвонька.

Варвара. Я это, дядя, знаю.

Демидъ. А за что?

Варвара. Подлъ онъ. Съ первыхъ же дней, какъ я вышла замужъ за его брата, посмотрълъ на меня скверно, а я съ нимъ не церемонилась.

Демидъ. Стало быть, и къ тебъ подкатывался?

Варвара (морщится). Было.

Демидъ. Да, дъла... Да и муженекъ-то тебя тего... Вотъ на дняхъ еще мнъ на тебя жалился.

Варвара. Знаю. И это, дядя, знаю. (садится на стуль.

Демидъ. Плохое тебъ здъсь, дъвонька, житье.

Варвара. Не изъ хорошихъ. Молода была, неопытна. Не на ту дорожку напала.

Демидъ. Настоящій-то путь человѣку въ жизни сразу трудно замѣтить. А поживешь — увидишь.

Варвара. Думала, что—разъ буду богата буду помогать людямъ. Вышло совсъмъ не то: ни себъ, ни людямъ.

Демидъ. Хуже этого мало что бываетъ.

Варвара. Ошибка моя, дядя, большая.

Демидъ. Да ужъ чего... Я даже того, какъ это ты на немъ обмишулилась, и не пойму.

Варвара (махая рукой). Върила ему. Думала, что все, что говорилъ, правду говорилъ.

Демидъ. Напрасно. Въ такихъ людяхъ, на которыхъ бъдный человъкъ работаетъ, правда-то ръдко уживается.

Варвара (вставая и хмуро). Словомъ,—какъ говоритъ Владиміръ,—ошибка моя, дядя, большая.

Демидъ (усаживая Варвару). Ты погоди уходитьто. А вотъ господинъ механикъ говорить, что тотъ и не человъкъ, который свою ощибку не постарается исправить.

Варвара (оживляясь). Дядя! Нравится онъ тебъ?

Демидъ. Кто? Господинъ механикъ-то?

Варвара. Ну, да.

Демидъ. Еще бы! Онъ-то, такой орелъ. Да если бы я былъ бабой, я бы за нимъ на край свъта ушелъ.

Варвара (со смѣхомъ). А я вотъ, дядя, тоже... возъму да и уйду съ нимъ. Что ты на это скажещь?

Демидъ (внимательно вглядываясь въ Варвару). Что я могу сказать? Мое дъло—сторона. То время, когда старики молодыхъ учили, отошло.

Варвара (обнимая Демида). Дядя! Дядечка! Какъ я тебя любила, когда еще была дъвочкою.

Демидъ. А теперь развѣ не любишь?

Варвара. Нътъ—и теперь. Нельзя тебя забыть. Съ самаго ранняго дътства я помню тебя по отношению ко мнъ добрымъ, хорошимъ, ласковымъ.

Демидъ. Дъточекъ нельзя не любить. Ты тоже тогда была хорошая, слушала меня... Послушай меня, старика, и теперь. Человъкъ, дъвонъка, если онъ чего желаетъ, долженъ всегда сдълать, какъ ему хочется.

Варвара. Постой, дядя. Вотъ, напримъръ, Владиміръ, мой мужъ, управляющій... Если они чего захотять, такъ они тоже должны сдълать.?

Демидъ. Ну, вотъ кого взяла. Мы говоримъ— про человъка. Примърно, вотъ ты... Будешь ты такъ жить, какъ живешь здъсь,—а что отъ этого будетъ? Будешь всегда чувствовать непріятность, недовольство жизнью... Кому какая польза?—Ни тебъ, ни людямъ.

(Изъ дому выходить Аглая и идеть въ Варваръ и Демиду). Варвара. Это, дядя, такъ.

Демидъ. Ну вотъ. А если ты сдълаешь такъ, какъ тебъ кочется, то и сама ты ублаготворена, и людямъ, глядишь, пользу принесешь. Человъкъто, онъ только тогда пользителенъ для другихъ, когда самъ удовольствіе отъ жизни чувствуетъ

Аглая (подходя). Можно мий побыть съ вами? Варвара. Что за вопросъ? Пожалуйста. Особенныхъ секретовъ мы съ дядей не говоримъ.

Аглая (прохаживаясь). Золинъ тутъ не проходилъ?

Варвара. Не видъла. (къ Демиду). А я, дядя, слышала такъ: въ несчастъв люди—овцы, а въ счастъв—волки.

Демидъ. Это върно. Но не ковсъмъ оно подходитъ. Иной—достойный человъкъ, —ищетъ своего мъста въ жизни, и если его не находитъ, ему обидно; а ужъ коли онъ его разыщетъ — онъ себя оправдаетъ.

(Варвара задумывается).

Аглая. А въ томъ, что ты, дъдъ, сказалъ, смыслъ есть. Я съ тобой согласна.

Демидъ (къ объимъ). Разскажу я вамъ сейчасъ одну исторію. Видълъ я разъ такое несчастіє: оторвался камень отъ скалы и полетълъ внизъ... А одинъ человъкъ увидълъ это и—дай, молъ, я его остановлю. Ну, и всталъ камню на дорогъ.

Варвара. А камень-то большой?

Демидъ. Не маленькій.

Аглая. Вотъ безумецъ.

Варвара. Неужели онъ не понималь, что каминя ему не остановить?

Демидъ. Стало быть, не понималъ. Такъ и ты вотъ, про что я тебъ говорю, не понимаешь.

Варвара (подумавъ). Да, ты эту исторію-то, дядя,

воть къ чему приплелъ.

Демидъ. Что, раскусила? Такъ и ты: полетълъ твой мужъ подъ гору—на дорогъ ему не становись (строго). Въдъ ты ужъ не дъвочка. Должна понимать, что сколько съ нимъ не живи, а поль-

зы ни тебъ, ни ему... (хмуро) Можетъ быть, ты еще думаешь его спасти?

Варвара. Нътъ; объ этомъ давно не думаю. Демидъ (сурово). А тогда къ чему же тянешь канитель? Стыдно!

Варвара (красная отъстыда). Да, ты, дядя, правъ. (тихо) Я уйду отсюда.

Демидъ. Съ господиномъ механикомъ?

Аглая. Варя. Какъ бы я за тебя была рада.

Варвара. Нътъ, дядя, нътъ. Я уйду отсюда одна. Я буду, дядя, работать. Знаешь — я буду, какъ и прежде, когда была учительницей, бъдная, бъдная.

Демидъ (почесывая затылокъ, разочарованно). А я думалъ—съ нимъ. Напрасно. Онъ — дѣловитый человѣкъ.

Варвара. А ты почему знаешь?

Демидъ. Ну? Пока эдъсь живу, каждый день на фабрикъ съ нимъ вижусь.

Варвара (груство). Онъ меня, дядя, полюбить не можетъ. Развъ такая, какъ я, ему нужна?

Демидъ. Ну, ну... Этого, дѣвонька, не скажи... (Изъ дому выходить Ольга, за ней—Владиміръ. Онъ ньянъ).

Ольга. Что привязываешься? Почему я могу знать, гдъ она?

Владиміръ. Врешь. Знаешь. Словомъ—ты знаешь, но не хочешь говорить. (видить Аглаю—останавливается). Ага! Вотъ, гдъ вы? А я васъ ищу!

Аглая (холодно). Когда вы меня оставите въ поков?

Владиміръ (усмъхансь). А этого я вамъ не скажу. (подходя ближе и серьезно). Здъсь люди... (Косо поглядываеть на Варвару и Демида). Но чортъ съ ними! Аглая. Не отталкивайте меня отъ себя. У васъ музыкальный талантъ, у меня—тоже. Словомъ—вы мнъ родная натура! Пойдемте вмъстъ въжизнь. Я буду работать... (Аглая отварачивается отъ Владиміра, смотрить въ чащу деревьевъ).

Ольга (въ Владиміру). Иди. Иди отсюда. На тебя до какой степени ты нализался, — противно смотръть.

Владиміръ (желчю). И не смотри. Братъ тебъ противенъ. А Ивинъ не менъе моего пьетъ, а ты... словомъ — ты взираешь на него безъ отвращенія.

Ольга. И буду взирать. Онъ лучше, чёмъ ты. Владиміръ. Желаю счастья! (къ Аглав). Отвернулись. Словомъ,—не можете на меня смотрёть. И не надо! Но я... Отнынё я при всякомъ случав, когда вы будете съ этимъ мужикомъ—Золинымъ, я буду вслухъ напоминать... (Поворачивается и идя въ домъ) словомъ, что вы здёсь—приживалка.

Ольга. Вотъ здёсь и ноживи. Нётъ, надо поскоре отсюда убираться.

Варвара (съ удивленіемъ). Куда?.

Ольга. Я ръшила утхать въ Полтаву. Тамъ у меня есть кое-какіе знакомые.

Варвара. Надолго?

Ольга. Туда—не знаю на сколько; но отсюда навсегда. Что меня обязываеть здёсь жить?

Варвара. Да, конечно. Ты обезпечена.

Ольга. Мив теперь просто кажется непонятно: ради чего я здёсь жила года, скучала, смотрёла на пьянство, на скандалы своихъ братьевъ? Словно свётъ-то для меня клиномъ сошелся.

Варвара. Почему ты надумала такъ сразу?

Ольга. Я не сама. (указывая на Демида). Меня вотъ, дъдъ, надоумилъ. (обнимая Демида). Дъдынька! Хорошій! Хочешь я тебъ большой подарокъ сдълаю?

Демидъ (освобождаясь). Ну, ну. Какой подарокъ! Ничего мнъ не надо. А если ужъ кочешь сдълать мнъ подарокъ,—мои слова не забудь.

Ольга. Нътъ, нътъ. Я все, дъдынька, помню! Я все, что ты говорилъ, обдумала.

Демидъ. Коли обдумала, такъ значить хорощо. Живи, сама себя не забывай, да и о другихъ людяхъ помни!

Варвара (порывисто обнимая Ольгу). Я за тебя Ольга, рада.

(Изъ аллеи появляется Золинъ).

Аглая (бросаясь въ нему). Какъ долго! Какъ долго! У, противный медвъдь, гдъ ты пропадалъ? (спохватываясь). Вы получили мое письмо?

Золинъ (смъясь). Ты... Вы... (Серьезно). Да, получилъ (подчеркивая) твое письмо.

Аглая (тихо). Что же вы скажете?

Золинъ (просто). Что скажу? Да скажу, что то,

что ты предложила въ письмъ, я предлагалъ тебъ на словахъ раньше. А посему не надо бы тебъ и писать, а встрътила бы меня и сказала: я согласна.

Аглая. Думала и такъ сдёлать, да побоялась: а вдругь онъ раздумаль?

Золинъ. Ну, вотъ.

Аглая (ко всёмъ—со счастливымъ смёхомъ). Объявляю: (указываеть на Золина). Этотъ противный медвёдь—мой женихъ!

(Ольга и Варвара брасаются къ Аглав. Обмвив поцвалуями). Демидъ (подходя къ Золину—серьезно). Какъ будешь, господинъ лекарь, жить-то?

Золинъ. Просто, дъдъ.

Демидъ. Сказано хорошо. А все-таки. Какъ ты думаешь про жизнь-то?

Золинъ. Жизнь, дъдъ, вещь серьезная. Она точно темный и невъдомый лъсъ, въ который—какъ ни бейся, ни колотись—а итти надо...

Демидъ (качая съ одобреніемъ головой). Такъ... такъ, сынокъ. А дальше?

Золинъ. Живу я и вижу, что иные люди стоятъ передънимъ и думаютъ: , опасно въ него итти: дорогъ-то не видно . А иные — посмълъе — пойдутъ въ него, а пути-то не знаютъ. Тутъ бы имъ наде глядъть въ оба, да въ оба, а они — струсятъ, растеряются и, зажмуривъ глаза, идутъ куда попало.

Демидъ. Такъ... Ну, а ты что будешь

дѣлать?

Золинъ. Стоять, дъдъ, на одномъ мъстъ не

буду... Пойду—не сроблю! Я, дъдъ, здоровъ, молодъ. Люблю работать.

Демидъ (соединяя руки Аглаи и Золина). И идите, дътки! Протаптывайте пока узенькія тропинки,— другимъ ужъ слъдъ есть,—а тамъ, какъ къ лъсу-то попривыкнете и съ одного взгляда станете различать, гдъ правая, гдъ лъвая сторона,—можетъ быть, найдете и большую поляну... А ужъ на ней—ширь, свобода... Есть гдъ развернуться!

Варвара (съ восхищениемъ). Ай, да дядя! (Ольга и Аглая обнимаютъ Демида).

Ольга. Ты, дёдъ, всёхъ хорошо научишь; всёмъ добра желаешь. И ласковъ ты ко всёмъ.

Демидъ (освобождаясь отъ объятій женщинъ). Ну, ну... Не скажи, дъвонька! Добра-то, правда, я всъмъ желаю, но не ко всъмъ ласковъ. (Золину). Ну, вотъ ты, сынокъ, понимаешъ, что жизнь—вещь мудреная и что поддаваться ей нельзя. Пойми ты еще, сынокъ, и то, что лбомъ въ нее со всего размаха ударить,—иной разъ ухъ, какъ опасно... Иной человъкъ не разсчитаетъ силы да кръпости своего лба и... вдрыскъ расшибется!

Золинъ. Я этого, дъдъ, не боюсь.

Демидъ. Зачъмъ бояться? Надо дълать такъ: пъзь впередъ смъло, грудью, а когда поймешь, что не подъ силу: осади немножко назадъ, да помозгуй, что, молъ, и какъ? Въ этомъ, сынокъ, все!.. Не всякую дугу силой гнутъ: къ иной на помощь надо и умъ прибавить.

Золинъ (жметъ руку Демида). Спасибо, дъдъ. Боль-

шое спасибо. Я твоихъ словъ не забуду. (Харцызовъ быстро выходить изъ дому. Онъ—сильно возбужденъ. Его никто не замъчаетъ).

Демидъ (обнимая одной рукой Аглаю). Ахъ, ты, елка моя хорошая! И молодецъ же ты. Если бы былъ молодъ, самъ на тебъ женился. (Всъ смъются).

Аглая (весело). Аябы за тебя, дёдъ, пошла. Ей-Богу, пошла.

Демидъ (съ восхищениемъ). Подвела ты меня!. Здорово подвела! Я только было подумывалъ: а надо, молъ, ее подбить удрать отсюда. А она—на, поди! Безъ меня обощлась (указывая на Золина). А если бы его тутъ не было, тогда что?

Аглая. Все равно, одна бы отсюда ушла. У меня, дъдъ, талантъ. Буду надъ нимъ работать.

Харцызовъ (подходя и такъ безпомощно, чуть не плачеть). Господа. Господа. Что это такое? У меня при фабрикъ контора... Но это не контора, а, какъ я сейчасъ узналъ,—пріютъ для шайки грабителей!

Золинъ. А атаманомъ ея—вашъ управляющій? Харцызовъ. Да, да... И это я узналъ...(хватая руку Золина). Но дъло сейчасъ не въ этомъ. На фабрикъ чуть-ли не бунтъ... Мнъ кричали: "Жу-

ликъ"!-Вы мнъ должны помочь!

Золинъ. Въ чемъ?

Харцызовъ. Успокоить рабочихъ. Васъ они любятъ. Должны сказать имъ, что я въ грабежъ ихъ не виновенъ.

Золинъ (освобождая руку). Я этой каши не за-

вариваль, а посему и расхлебывать ее не желаю Харцызовъ. Но... (Изъ дому идеть Лесницкій).

Золинъ. Не желаю слушать. Кстати: я имъю вамъ заявить, что съ сегодняшняго дня больше у васъ не служу.

Харцызовъ. Почему?

Золинъ (сурово). Изъ рабочихъ очень много нервно-больныхъ, а у васъ при больницѣ нѣтъ самыхъ необходимыхъ медикаментовъ.

Харцызовъ. На этотъ счетъ вы должны были обращаться къ Лъсницкому.

Золинъ. Обращался. Выслушаль, и даль такой совъть: "Палецъ рабочій отшибеть—свинцовая примочка; простудился — хины; животь болить—касторки стаканъ вдуть. Больше, по его мнёнію, заводская больница ничего не должна имёть. А между тёмь — эти нервно-больные... Сколько ихъ? и какіе?—Ужасъ! (съ бёшенствомъ). Но что же я для нихъ могу сдёлать? У меня даже валерьянка не всегда имёлась!

Лѣсницкій (подходя и съ наглой усмѣшкой). Не волнуйтесь молодой человѣкъ. Скоро я для вашихъ нервно-больныхъ выпишу вамъ въ помощники профессора-невропатолога.

Ольга (къ Лесницкому съ пеклономъ). Здравствуйте, пожалуйста!

(Идеть въ глубь сада. За ней; въ моменть сообразивъ ея выходку, быстро идуть Варвара, Аглая, Золинъ. Харцызовъ тупо смотритъ имъ всявдъ).

Демидъ (вставая). Я жилъ лакеемъ у одного

барина. Онъ часто говориль два такихъ мудреныхъ слова. Скажу и я ихъ... (дёлаеть паузу, во время которой смотрить то на Лесницкаго, то вслёдъ уходящимъ). "Вотъ такъ географія съ исторіей".

Лъсницкій (со стиснутыми зубами). Ты...

Демидъ. Эхъ, православный мой. Какъ ты самъ себя уничтожилъ! Мужчина ты молодой, въ соку еще, а бабочки отъ тебя, словно отъ чумной собаки, бъгаютъ. (качая головой). Нехорошо.

Лъсницкій. Ты... старикъ! И такія слова... Демидъ. Эхъ! Пойду-ка и я за ними. (уходить).

Харцызовъ (старается говорить колодно, оффиціально, но злыя нотки и втъ-и втъ да и прорываются въ его голоск). Отъ одного вашего взгляда, почтени вйшій, всю сбъжали. Какъ отъ чумной собаки! Это — здъсь. А на фабрикъ. Я сегодня все узналъ... Это возмут-тительно! Вы... (быстро) вы, почтени в шій, всю контору, мою контору, набрали изъ жуликовъ и

Лѣсницкій (сміло). Но позвольте! Все, что вы сказали,—пустяки. Вы или невірно сами поняли, или вась кто-нибудь науськаль. Это я вамъ выясни все потомъ. А теперь у меня діло къ вамъ поважніве.

вмъстъ съ ними грабили рабочихъ, грабили

мен-ня...

Харцызовъ. Никакихъ дълъ, почтеннъйшій, разбирать я не хочу. Мнъ совсъмъ не до нихъ.

Лъсницкій (спокойно). На фабрикъ—съ рабочими бъда; иду сюда, чтобы посовътоваться, а тутъ тоже попадаю въ неудачную минуту.

Харцызовъ. У меня нётъ неудачной минуты... У меня вся жизнь неудачная! (сдерживая себя). Но къ дёлу. Къ дёлу. Обстоятельства, почтеннёйшій, теперь сложились такъ, что вы должны оставить управленіе моей фабрикой.

Лъсницкій (пораженный). Что?!

Харцызовъ. Я, почтеннѣйшій, васъ увольняю. Лѣсницкій. Но условіе... Вы о немъ забыли? По нему я имѣк право служить у васъ ещеполтора года.

Харцызовъ (гордо). Я вамъ уплачиваю за нихъ полностью.

Л в сницкій (думаєть—и гордо). Не надо.. Я ухожу безъ всякихъ уплатъ. Я хотвлъ бы только знать: — конечно, если вы это найдете нужнымъ сообщить мнв—сами вы надумали меня уволить, или вамъ кто посовътоваль?

Харцызовъ. Это, я думаю, почтеннъйшій, вамъ безразлично.

Лѣсницкій. Пожалуй, что и такъ. (тепло). Итакъ,—я ухожу. Но повърьте, глубокоуважемый Иванъ Семенычъ, что изгнанный вами, я не буду питать противъ васъ ничего враждебнаго, кромъ хорошихъ воспоминаній. Съ того времени, какъ я потерялъ свое состояніе и пошелъ служить, мнъ много приходилось видъть хозяевъ, но такого искренняго, безкорыстнаго, гуманнаго человъка, какъ вы, я встрътилъ впервые.

Харцызовъ (снисходительно). Что върно, то

върно. Вы, почтеннъйшій, понимали меня болье другихъ.

Л в сницкій (вдохновенно). Какъ преданный вамъ человъкъ, я хочу въ послъдній разъ предупрецить васъ, что вы окружены врагами... Вы должны быть осторожны. Очень осторожны! Вашъ семейный очагъ не застрахованъ отъ оскверненія... Ваша жена... Боже! Что это за женщина. Какіе у нейглаза...—обольстительные, манящіе! Смъхъ... Она ръдко смъется, но онъ... серебристый, звонкій! А ея станъ, ея молодыя, упругія, какъ будто бы въчно-дъвственныя формы! И такую женщину—предупреждаю: вы можете потерять... Трубинъ, онъ...

Харцызовъ (понуривъ голову). Знаю. Знаю. Я это давно замътилъ. И давно этого боюсь...

Лѣсницкій. Запомните, глубокоуважаемый, Иванъ Семенычь, что я вамъ сейчасъ скажу. Это трудно говорить, больно, но вамъ—вамъ я говорю это первому—я скажу. Мы по образу жизни далеко, далеко ушли отъ людей первобытныхъ временъ. У нихъ, когда у дикаря отбивали жену, онъ бросался на своего врага и, если былъ сильнѣе его, перегрызалъ ему горло зубами. А у насъ жена на глазахъ у мужа заводитъ амуры, а онъ смотритъ и, благодушно улыбаясь, думаетъ: "Пускай-де немного поразвлечется"! Потомъ узнаетъ, что разлечение жены зашло слишкомъ далеко... (наставляетъ на своемъ лбу рога. Харцызовъ болъзненно морщится). Узнаетъ и... молчитъ! Не возмущается! Ему

нельзя: онь человъкь культурный и горло негодяю, который оскверниль непорочность и чистоту его очага, перегрызть, какъ дикарь, не можетъ. Говорятъ: цивилизація, прогрессъ, культура очеловъчили насъ. "Очеловъчили"...-Васъ, глубокоуважаемый Иванъ Семенычъ,—это видно по васъ—да! а другихъ, хотя бы у всъхъ тъхъ, которые окружаютъ насъ, — гдъ у нихъ нравственные устои?

Харцызовъ (какъ эхо). "Гдѣ у нихъ нравственные устои?" (оживляясь) Знаете, Лѣсницкій... черезъ мѣсяцъ я поѣду на съѣздъ фабрикантовъ-мануфактуристовъ. Къ тому времени мы съ вами должны заготовить рѣчь...

Л в сницкій. Заготовимь, заготовимь.

Харцызовъ. И надо такую блестящую, какъ фейерверкъ. Понимаете? Я уже о ней подумываю. И вотъ это... да... Какъ вы сказали? Ага! "Нравственные устои". Это надо непремънно вклеить въ ръчь.

Лѣсницкій. Вклеимъ. Рѣчь для насъ съ вами—пустяки! Главное: не забудьте того, что я вамъ говорилъ сейчасъ. Я самъ на себъ это испыталъ. Я понялъ, поздно понялъ, что, если хочешь сохранить свою семью отъ распада, то временами надо быть рѣшительно-жестокимъ. Видишь, что въ домъ вошелъ не человъкъ, а паразитъ, который только тѣмъ и живетъ, что подкапывается подъ семейные устои, немедленно, не обращая вниманія на протесты жены,—вонъ его!

Харцызовъ (со стономъ). Да... да... Я тоже такъ думаю... Но... я какъ-то на это не могу все еще ръшиться.

Л в с ницкій. Пустяки. Вы хозяинь въ своемъ домв. А хозяинь только тогда хозяинь, когда онь, действительно, хозяйничаеть въ своемъ домв, какъ хочеть.

Харцызовъ. И я такъ думаю.

Лѣсницкій. Про Трубина я вамъ ничего не буду говорить: вы сами знаете, что онъ за птица. Помимо его вы должны еще считаться со старикомъ.

Харцызовъ. (Съ недоумъніемъ). Съ какимъ старикомъ?.

Лъсницкій. Дядя вашей жены.

Харцызовъ. При чемъ онъ?

Лъсницкій. Такъ вы не знаете, что онъ за гусь? Эхъ, вы, святая простота. Вы ни разу съ нимъ не говорили?

Харцызовъ. Говорилъ. Но особеннаго въ немъ ничего не нашелъ. Даже какъ будто-бы глуноватъ.

Л в сницкій (улыбаясь). Это онъ такъ... прикидывается. (Изъ чащи деревьевъ выходять Ивинъ и Демидъ. Идуть къ дему). Вотъ онъ кстати и идетъ. Хорошо бы его сейчасъ позвать да потолковать съ нимъ. Я! какъ онъ разсуждаетъ, не разъ слышалъ.

Харцызовъ. Где?

Лъсницкій. На фабрикъ.

Харцызовъ. (Изумленъ). Онъ и туда ходитъ,

291

Л всницкій. Къ Трубину, Какъ же, друзья? Водой не разольешь!

Харцызовъ. Вотъ оно что... (къ Демиду). Старикъ, поди-ка сюда!

Демидъ (останавливаясь). А на что я тебъ, православный мой, нуженъ.

Харцызовъ. Скучно. Вотъ и хочу съ тобой поговорить.

Демидъ. О чемъ будемъ говорить-то?

Харцызовъ. Да о чемъ придется. (Демидъ идетъ къ Харцызову, Ивинъ за еимъ).

Ивинъ. (Къ Демиду). Сегодня съ ранняго утра, чтобы не тащиться сюда, пиль изъ водки и пива стаканами ерша. Думалъ, что часамъ къ 12 дня буду безъ сознанія пьянъ, а вышло, что я-ни въ одномъ глазу. Дома-тоска. Притащился сюда. А что здъсь? (безнадежно машетъ рукой). Лошадиная у меня натура. Слона можно скорве споить.

Харцызовъ. Не хнычьте. Ради Бога не хнычьте! Безь вась тяжело. Хотите пить, идите въ мой кабинетъ.

Ивинъ (грубо, съ усмъшкой). Ну, къ вамъ я не поиду. На это у меня Владиміръ есть.

Харцызовъ. (Къ Лесницкому, указывая на Ивина). Чъмъ человъкъ гордится? (къ Ивину, злобно). Вообще, почтеннъйшій, прошу быть со мной поделикатнъе! Кто вы-учитель безъ мъста. А я... я извъстный на всю Россію фабриканть!

Ивинъ. И благодари Бога. Ибо, если бы не былъ имъ, то подохъ бы съ голода.

Харцызовъ. Никогда. Я образованный человекь. (Гордо). Курсъ коммерческого училища что-нибудь да стоитъ.

Ивинъ. (Идетъ къ дому). Зачёмъ врать? Вёдь всвиъ извъстно, что за тупость изъ второго класса исключили.

Харцызовъ. Я васъ презираю. (Лесницкому, тихо). Онъ не опасенъ?

Лвсницкій. Это винная бочка. Грубъ только. Харцызовъ. Съ этимъ ужъ я мирюсь.

Лвсницкій. Хотя, конечно, лучше бы было если бы и его того...

Харцызовъ. Обсудимъ. Все сегодня обсудимъ. (Къ Демиду). Ну, старикъ, давай поговоримъ

Демидъ (усаживается, какъ ему наиболъе удобно въ кресло). Хорошо. Ты, православный мой, начинай, а я послушаю.

Харцызовъ. Мнъ не съ чего начать. Я человъкъ молодой, нигдъ не бывалъ, а ты, поди, всю Россію исходилъ.

Демидъ. Гм... да... походилъ много. (Долгая пауза).

Лъсницкій. А ты, старецъ, судя по тому. какъ ты въ креслъ усълся, должно быть, вездъ себя хорошо чувствуешь?

Демидъ. Вездъ чудесно.

Лвсницкій. Человвкъ ты простой, а чувствуещь себя между господами свободно. Много ты ихъ видалъ на своемъ въку?

Демидъ. Немало.

Лѣсницкій. Ну, какъ ты на господъ вообще смотришь?

Демидъ. Просто. Иные, моль, хорошіе, а иныесъ виду баринъ, а въ душъ на подобіе камня: сверху гладокъ, полированъ, а долбони его—грубый булыжникъ.

Лвсничкій. Вонъ какъ!

Демидъ. Такъ, православный мой.

Лъсницкій. Да... Скажи, пожалуйста, старець, что это такое: зачьмъ ты всвую зовешь "православный мой"?

Демидъ. Затъмъ, что ходишь по Россіи и видишь, что люди все въ ней живутъ православные. Ну, и надумалъ ихъ такъ звать.

Лѣсницкій. Неправда, старець. Воть Трубина, я слышаль, ты зовешь, "господинь механикъ", Ивина—"господинъ учитель. Это почему?

Демидъ. Да такъ.

Лъсницкій. Не увиливай, старець. У тебя "такъ" ничего не бываетъ. Скажи, по чистой совъсти: почему людей разно зовешь?

Демидъ. По чистой совъсти? Хорошо. А это, православный мой, потому, православныхъ-то у насътьма-тьмущая, а христіанъ то среди нихъ чтото мало видать. Ну, вотъ ихъ другимъ именемт и отличаешь.

Л в с н и ц к і й. Мудришь ты, старецъ! Мудришь, и, какъ видно, въ душв никакихъ ты законовъ ни божескихъ, ни человъческихъ не признаешь.

Демидъ. Безъ закона жить нельзя. Законъ у

меня есть. Кръпкій законъ: въ душт написанъ.

Лъсницкій. Вотъ въ томь-то и дъло, что у тебя
написанъ, да не похежъ онъ на тъ, которые у

всвхъ.

Демидъ. Это-то и хорошо. Если онъ у меня свой, значить, я его выдумаль. А человъкъ такъ, съ бухту-барахту, никогда не станетъ думать. Значить, мнъ нужно было выдумать его. А это, православный мой, какъ ты думаешь, легкое дъло? Съ осла али со свиньи закона не возьмешь и не выдумаешь. Надо его брать и выдумывать съ людей, а ихъ въ міръ Божіємъ тьма-тьмущая; Вотъ ты и походи и посмотри на нихъ да и подумай...

Харцызовъ. Но развъ можно жить съ такимъ закономъ?

Демидъ. Жить? Живешь же вотъты, а у тебя есть какой законъ?—Никакого. (вставая и убъжденео). Нътъ върнъе и правильнъе закона, которому научить сама жизнь.

Харцызовъ. То-то ты свой законъ въ моемъ домъ всемъ и навязываешь.

Демидъ. Тебѣ не навяжу! Тебѣ онъ не подходитъ. А другимъ, кому слѣдуетъ, отчего же? Человѣческая душа-то, православный мой, она точно лампада. Пока въ ней есть маслице, а это маслице-то все то, чѣмъ живъ человѣкъ,—она горитъ хорошо, умилительно! А какъ останется маслица-то мало...

Лъсницкій. А отчего мало?

295

Демидъ. Выжгутъ... Ну, и начнетъ она ми гать да чадить... Статья. Какъ тутъ человъку быть? Надо маслица подлить, а какъ это сделать иной и не знаетъ.

М. СИВАЧЕВЪ.

Лъсницкій (сміясь). Ну, и философія.

Демидъ (угрюмо, съ презрѣніемъ). Да, философія. Человъкъ ты неглупый, очень неглупый. И если бы захотъль, то вмъсто зла, много бы могъ посъять добра.

(Идеть въ домъ, Лѣсницкій хохочеть).

Лѣсницкій (къ Харцызову). Видъли, что онъ за папа?

Харцызовъ. Да. Должно быть, очень вреденъ, старый чортъ. А главное-возмутительно: обращается на "ты", держится фамильярно! За панибрата. (цауза). Знаете, теперь, когда вы мив открыли на все глаза, о вашемъ увольнении ръчи быть не можетъ. Прошу меня извинить.

Лѣсницкій. О, что вы, глубокоуважемый...

Харцызовъ. Я такъ одинокъ! Мнв теперь нужно съ вами насчетъ многого посовътоваться. Подождите: я на моментъ заверну въ домъ, а потомъ пойдемте къ вамъ. Тутъ могутъ помвшать. У васъ посвободнее. (Идеть въ домъ. Изъ дому выходить Ивинъ. У него въ рукахъ бутылка водки. Харцызовъ брезгливо отъ Ивина сторонится).

Ивинъ. Попью на свободъ. Эхъ, райскія кущи, когда я допьюсь до васъ. (идеть къ Лесницкому).

Харцызовъ (останавливаясь у входа въ домъ и указывая на Ивина). Лѣсницкій! Культура, прог. грессъ, цивилизація очелов вчили насъ... А его? (со смёхомъ исчезаеть въ домъ. Глухой, невнятный ропотъ толны слышень за ствнами дома).

Ивинъ (глядить на Лесницкаго). Вотъ действи. тельность... Когда ни взгляну на васъ, всегда на вашей физіономіи вижу подлость.

ЛВсницкій (вызывающе). Что?

Лвинъ. Ничего?

Івснипкій. Я много отъ вась уже съвль дерзостей. Но теперь ихъ всть больше не хочу. (Наступая на Ивина). Вамъ кто далъ право такъ ко мий относиться)?

Ивинъ (спокойно). Ваша подлость. (За стиной сада вдругь раздается возбужденный гуль толиы. Выдълются возгласы "Жуликъ" Спалить фабрику". Лесницкій бросаеся въ чащу сада. Потомъ слышенъ его голосъ: "Господа. Господа, успокойтесь. Вы всв будете удовлетворены. Идите ейчасъ же въ контору". Гулъ толны замираетъ. Голесъ Леницкаго: "Хозяинъ и я не винсваты. Виноваты служащіе ві конторъ. Всь они будуть уволены и впредь ничего полобнаго не булеть". Харцызовъ выбегаеть изъ дому и испуганно предушивается. Толпа, уходя, глухо рокочеть. Появляется Лѣсницкій).

Харцызовъ. Что такое? Что за шумъ? Л в с ни ц к і й. Рабочіе. Я ихъ успокоилъ. Ушли. Придется нъкоторыхъ удовлетворить.

Харцізовъ. Ну, ну... Это еще подумаемъ. Повадки мъ, мерзавцамъ, давать не слъдуетъ. А теперь идмте къ вамъ.

Л в сницкій (идя къ Харцызову). Прежде зайдемъ

волна.

въ контору. (Исчезають въ домъ. Ивинъ ложится на зеилю въ тънь деревьевъ. Пьетъ водку прямо изъ горла бутылки).

ABNOTBIE YETBEPTOE.

(Оно происходить после третьяго черезь день. Часовъ восямь вечера. Богато, со вкусомъ обставленная гостинная, много претовъ, рояль. На дворе дождь. Слышно, какъ по временамъ дождевыя капли быють въ окна. Гостинная освещена элекрической люстрой. Окна завешены тяжелыми, темными штојами. Въ гостинной: Варвара, Ольга, Ивниъ, Трубинъ, Демидъ Влациміръ. Варвара осматриваетъ цветы. Трубинъ стоитъ около окна съ Демидомъ. Ольга—въ дорожномъ костюме съ кожаной сумкой черезъ плечо).

Владиміръ (бродить по гостинеой, — какъ-ст самъ съ собой). Что это? Словомъ-какъ можно тжъ поступить?

Демидъ (умильно). Вотъ такъ дождичењ! Милліон и съ неба падають!

Владиміръ. Какъ можно такъ поступить? Ивинъ. О чемъ, Владиміръ, говорище

Владиміръ. Аглая... Аглая... Словом — здъсь она почти изъ ребенка выросла во взролаго человъка, а уходя отсюда навсегда съ эимъ несчастнымъ студентишкой, никому ни слва!

Ивинъ. А тебъ, должно быть, жал, что она не спросилась тебя?

Владиміръ. Словомъ — ея поступокъ, это не поступокъ сознательнаго человъка. Сознательные люди тайно отъ всъхъ не уходятъ.

Ольга. И вовсе не тайно. О томъ, что она увзжаетъ, было извъстно миъ, Варъ.

Владиміръ (круго останавливается—пораженный). Да? Что же ты мнъ объ этомъ не сказала?

Ольга. Къ чему? Чтобы ты сдѣлалъ скандалъ? Владиміръ (злобно). Да, конечно... Словомъ—я что...

Ивинъ. Владиміръ, имъй совъсть. Припомни всъ свои поступки по отношенію къ Аглав — и молчи!

(Владиміръ, взглянувъ съ ненавистью на Ивина, потомъ на остальныхъ, съ низко понуренной головой быстро уходить въ правую дверь).

Ивинъ. Да, Аглая и Золинъ-молодцы! Мало говорили, а подумали и сдълали.

Ольга (къ Ивану). Ихъ вы одобряете, а сами много говорите, по ничего не дълаете.

Ивинъ. Я-статья особая. Мяв уже въ жизни нечего двлать.

(Изъ той двери, въ которую ушель Владимірь, въ гостинеую врываются мягкіе, точно что-то грустно-грустно оплакивающіе звуки віолончели. Всё съ минуту слушають).

Трубинъ (въ Изину). Вашъ пріятель музицируеть?

Ивинъ. Кому же больше? (въ раздумьф). Вотъ удивительно: когда Владиміръ играеть, тогда я забываю, что такое онъ. Слушаешъ и чудится,

299

что передъ тобой корошій человъкъ. Въ такія минуты я его искренно люблю. (наклоняется къ Ольгъ и что-то тихо ей говорить).

Трубинъ. Просто: у дурного человъка хорошій талантъ.

Демидъ. А я, господинъ механикъ, думаю не такъ: у испорченнаго человъка хорошая душа... Она-умнъе разума... Ну, вотъ она и плачетъ по хорошему человъку...

Трубинъ. Можетъ быть, старикъ, и такъ. Я музыки хорошо не понимаю.

Ольга. (Отвъчая шопотомъ Ивину, въ концъ произносить чуть слышно фразу). По вашему, всегда хорошо то, что грубо и жестеко.

Ивинъ. Это оттого, что меня самаго жестоко били.

Ольга (тихо). Если бы вы когда-нибуь любили женщину, то вы были бы мягче.

Ивинъ (встаетъ и въ сильномъ волненіи ходить). Ну. нътъ. Какъ разъ наоборотъ. Я нъкогда любилъ-и глубоко любилъ. Но я въ любимой дъвушкъ жестоко ошибся... До сближенія съ ней я совмъстную жизнь представляль чёмъ-то въ высшей степени красивымъ, содержательнымъ, но не то вышло на дълъ... (ръзко и гордо). И вотъ я предпочелъ: лучше быть всю жизнь одинокимъ-я люблю двтей, - не имъть радостей отца, лучше быть, какъ нъкоторые думають про старых в холостяков в, быть въ полномъ смыслъ несчастнымъ, чъмъ сознательно

имъть жалкую, унижающую человъка пародію на счастье.

Ольга (груство). Не пойму я этого. По-моему-лучше маленькое счастье, чёмъ быть совсемъ безъ Hero.

Ивинъ. Пусть такимъ счастьемъ пользуются другіе.

Ольга. И остались одинокимъ.

Ивинъ. Пусть. Я гордъ въ своемъ одиночествъ, ибо не женщины обходятъ меня, а я самъ ихъ избъгаю. (Звуки віолончели тихо и скорбно замирають).

Варвара. Ивинъ, не понимаю, въ чемъ главная причина, которая понудила васъ съ ней разойтись?

Ивинъ (угрюмо). Причина та: я думалъ, что она такая дорогая находка, которой жизнь вознаградила меня за все мое тяжелое, а вышло, что жизнь, въ лицъ ея, подала мнъ жалкую милостыню. (съ бъщенствомъ). Противно, до болъзненной горечи противно пить такое молоко, съ котораго тщательно и давно спиты сливки, но которое подается съ безсовъстными и наглыми увъреніями, съ омерзительной фальсификаціей, что оно еще будто бы не тронуто!

Ольга. (тихо). И вы этого не могли простить? Ивинъ. Не могъ. Если въ чувствъ мужчины и женщины нътъ уваженія другь къ другу, — а уваженіе, -это цементь того, что называють любовью, -то такое чувство противно. Какъ можно выносить ту женщину, которая тысячу разъ говорила человъку, что ея чувство выросло на уваженіи къ нему, а на дълъ отравила, осквернила ложью всъ лучшія чувства его души и сердца-

Ольга. Нужно было простить.

Трубинъ. Да, но въ такомъ случав, если бы дъвушка эту непріятную и горькую правду сказала своевременно.

Ивинъ. Вотъ-вотъ! Обманъ отравилъ мнѣ все. Я имѣя доказательства, могъ бы вынудить у ней правду, но къ чему? Дешева и такъ же противна, какъ и ложь, та правда, которая вынуждена.

Варвара (какъ бы шутя). Вы оба жестоки. (къ Демилу). Дядя, скажи: можно простить человъка, когда онъ, побоясь сказать правду, сказаль ложь.

Демидъ. Можно, да только такь: Богъ, Онъ, говорять, милосердъ; милосерднъе Его человъкъ будто бы не можетъ быть, но и про Него говорять, что Онъ пускаетъ гръшника въ рай только тогда, когда гръшникъ чистосердечно во время раскается.

Трубинъ. Хорошо, дъдъ, сказано.

Ивинъ. Спасибо, старикъ, что за меня сказаль, а не за племянницу.

Демдъ.. Ну, что племянница? Племянница не правда, она не спасетъ.

Ольга. Вы просто всё трое ненавидите женщинъ.

Трубинъ. Напрасно такъ думаете. Я върю, что хорошая женщина, это — поэзія жизни.

Ивинъ (вдовито). Я тоже не женофобъ. Я тоже

люблю женщинъ. Но съ тъхъ поръ, какъ одна изъ нихъ обожгла меня, люблю такъ: на многихъ изъ нихъ хорошо и пріятно посмотръть только издали.

Варвара (спокойно). Ивинъ. Не злитесь. Вы сейчасъ сказали про многихъ женщинъ горькую правду. Но нъкоторыхъ изъ нихъ и нельзя винить въ томъ, что онъ плохія. У иныхъ жизнь сложится изъ мелочей въ какое-то нельпое гнетущее недоразумъніе такъ, что все хорошее постепенно у женщины исчезаетъ.

Трубинъ. Это не служить оправданіемъ. Надо уходить отъ такой жизни.

Варвара. Надо... Надо... Я тоже думаю, чтобы люди были сильне, смеле, такъ какъ жизнь, это—все равно, что вековой наследственный домъ. Съ его стенами, обстановкой люди сроднились, но обстановка-то ужъ тяжела, неудобна; стены гнилы, трухлявы такъ, что вотъ-вотъ рушатся. Выходитъ, что какъ ни бейся, ни колотись, но въ силу самосохраненія домъ надо ломать и строить другой. (Тише). Но... пока все думаю...

Трубинъ. Нечего думать. Надо строить. Каждое поколъніе обязано для будущихъ потомковъ
создавать не болье прочное и удобное и не изъ
самосохраненія зданіе жизни, а болье совершенное и удобное, чъмъ то, которое унаслъдовано
отъ предковъ. Понимаете: это безъ конца! Ибо,
что такое жизнь? Жязнь—глина, скульпторъ—
человъкъ. Нужно давить, мять жизнь до тъхъ

поръ, пока она не Судетъ годнымъ матеріаломъ для созданія художественныхъ формъ. Но какими художественными формами удовлетвориться скульпторъ нашего времени, ими не удовлетворенъ будетъ скульпторъ будущаго. Разрушать и созидать—вотъ въчный девизъ человъчества.

Ивинъ. И неужели безъ конца?

Трубинъ. Говорять, что есть грань, дальше которой художественное творчество человъка идти не можетъ. Но я не върю въ это. Каждая эпоха родитъ своего генія, а геній создаетъ новую эпоху.

Ивинъ (медленно). У васъ кипучая жизнь въ

Трубинъ. Иначе не могу. Жизнь имъетъ для меня прелесть только тогда, когда она—могучая ръка, бурный водоворотъ. Устанешь—короткій отдыхъ, и снова тянетъ къ борьбъ, къ опасностямъ...

Ивинъ. У васъ—смълая мысли о будущемъ... А у меня: о будущемъ я не думаю, въ настоящемъ—не живу. Я наблюдаю только за однимъ; а не увижу-ль, молъ, гдъ красота въ жизни? Но красоты что-то не вижу, а сколько безобразія—не стоитъи говорить.

Трубинъ (хмуро). Какой толкъ? Мало въ жизни красоты—создавайте!

Ивинъ. Не умъю.

Трубинъ. Ну, видите передъ собой безобразный предметъ и, если не знаете, какъ взамѣнъ его создать лучшее, такъ коть съ глазъ долой: сломайте, разбейте, уничтожьте его.

(Владиміръ пьяный и всклокоченный, врываясь въ гостинную и подбъгая къ роялю).

Владиміръ. Аглая! Аглая! Этотъ инструменть при тебъ оживляль этотъ проклятый домъ Гремъли то бурные аккорды, то лились тихіе, томящіе... Они мнъ напоминали студенческіе годы... Словомъ, напоминали то, что никогда не вернется. Аглая... Аглая... (плачеть). Будь я... проклять!.. (ко всъмъ). Господа. Господа. Я былъ по отношенію къ ней гнусенъ... Словомъ—она черезъ меня отсюда ушла... Но повърьте: я ее любилъ... глубоко любилъ!

Ивинъ. Аглаи, Владиміръ, нѣтъ. Аглаю ты продюдюлилъ.

(Изъ левой двери мужская и женская прислуга начинаеть черезъ гостинную выносить сундуки, корзины, коробки).

Ольга (прислугѣ). Вещи, пожалуйста, укладывайте осторожнъе.

Кучеръ и дворникъ (вмѣстѣ). Ужъ будьте спокойны. Все будеть въ лучшемъ порядкѣ.

Варвара (тихо). Сегодня въ этомъ домъ изъ женщинъ, исключая прислуги, я останусь одна.

Владиміръ. Будь я проклять!

Ивинъ. Что воешь? Развъ для тебя она? Владиміръ (тупо). То-есть, это какъ?

Ивинъ. Просто. Подумай-ка: что ты могъ ей дать?

Владиміръ. Да. Словомъ—я для нее слишкомъ грязенъ. "Грязенъ". Это какъ будто бы крайнее выраженіе. Но нътъ. Словомъ—никто не знаетъ, какіе грязные ужасы живутъ въ моей душъ.

Демидъ (подходя къ Владиміру). А ты очисться. Будь получене, поразумнѣе и... можетъ быть, тогда найдешь такую же, какъ Аглаюшка... или даже лучше!

Владиміръ (безнадежно отмахиваясь руками). Нѣтъ, нѣтъ, старикъ. Что ты мнѣ совѣтуешь и сулишь— никогда быть не можетъ. Развѣ я человѣкъ? Словомъ — передъ тѣми умными людьми, которые мнѣ встрѣчались въ жизни, я всегда тщательно старался скрывать убожество своей души, мищету мысли. Но меня къ умнымъ людямъ по временамъ влекло. Дѣлалъ попытки подходить къ нимъ. Но стоило только подойти—сейчасъ же появлялась боязнь: а вдругъ, молъ, подумаетъ, что я... словомъ — китайскій болванчикъ, пустая балаболка...

Ивинъ. Ага! Вонъ какъ заговорилъ!

Владиміръ (къ Демиду). А потомъ уже и въ самомъ дълъ вообразищь, что человъкъ тебя такъ именно и понялъ. И вмъсто того, чтобы послушать, научиться отъ него чему нибудь, загнешь голову передъ нимъ надменно, гордо, высоко... Словомъ, я—де, молъ, самъ хорошо все понимающій человъкъ.

Демидъ. Нехорошо такъ. Нехорошо!

Владиміръ. Эхъ, старикъ! Я бы разсказалъ про себя многое, но... мнъ стыдно.

Демидъ. Ну, вотъ. Чудаки люди. Имъ стыдно

сказать про себя то, что они въ жизни не постыдились сдълать. Тутъ какъ разъ наобороть надо говорить.

Владиміръ (озираясь по гостиной). И воть еще въ бытность студентомъ - первокурсникомъ, я началъ чувствовать, мучительно чувствовать, что мнѣ нужно себя чѣмъ-то коть немного уравновъсить, что нужно чему-то научиться. Словомъ, что-то выдумать, за что бы я могъ уцѣпиться, какъ за прочную опору... Но прошли года. Я ничего не выдумалъ. Словомъ, у меня нѣтъ въ жизни никакой опоры. Я теперь даже не знаю: къ чему я родился, зачѣмъ я учился, для чего живу? (подходя къ Трубину). Скажите мнѣ. Словомъ—что такое жизнь? И зачѣмъ человѣкъ долженъ жить? Какія у него обязанности передъ жизнью?

Трубинъ. Сказать. Къ чему? Буду говорить не поймете, а если и поймете, мимо ушей пропустите; за собой позову—не пойдете.

Владиміръ (отходя и злобно). Да ужъ за вамито я ни въ какомъ случав не пойду. Словомъ—такихъ людей, какъ вы, какъ бывшій здёсь студентишка Золинъ, я не люблю и боюсь. Глядя на васъ, мнё кажется, что вы окованы ледяной броней, что у васъ какой-то особый, свой, никому недоступный міръ. Словомъ—съ чёмъ живете,—васъ не поймешь.

Трубинъ. Съ однимъ девизомъ: живи и работай. Но если утратишь способность работать дай дорогу другимъ, а самъ уходи къ чорту. Владиміръ. Все, что только я отъ васъ когда-либо слышалъ, —все грубо и жестоко. А этого... словомъ, этого мнв не надо. Скажите мнв лучше что-нибудь такое, что бы дало мнв ввру въ то, что въ жизни есть что нибудь святое. У меня сейчасъ нвтъ... словомъ, —до сихъ поръ я не видалъ въ жизни ничего святого. Скажите мнв о той правдв, которую вы чтете за правду; о той вврв, которой върите.

Трубинъ. Къ чему? Моя правда — не ваша правда. Моя въра—тоже не ваша въра. Моя въра, это—въра въ себя. Но эта въра вамъ не по плечу.

Владиміръ (ядовито). Да, понимаю. Словомъ—вы создали себъ свой культъ и молитесь ему.

(Изъ лѣвыхъ дверей тихо выходять и останавливаются около нихъ Лъсницкій и Харцызовъ).

Трубинъ (съ усмъшкой). Культъ? (серьезно). У меня не было и не будетъ такого культа, которому бы я молился. Къ чему онъ? Я встрвчалъ такихъ людей, которые культа не имъютъ, но жизнь ихъ—подвигъ. И встрвчалъ такихъ, которые и съ культомъ ухищряются быть такой ямой мерзости, которую не очиститъ никакой культъ и никакія молитвы.

Демидъ (къ Владиміру). Эхъ, ты, православный мой, хочешь спастись — уважай себя, жизнь—вотъ и спасенъ будешь...

Трубинъ. Старикъ, ты—молодецъ! Харцызовъ (быстро подходя въ Трубину). Я васъ попрошу здъсь такихъ вещей не одобрять. Вы, почтеннъйшій...

Трубинъ (быстро надвигаясь на Харцызова и смотря на него въ упоръ, —тихо). Ну?

Харцызовъ (пятясь назадъ). Вы, почтеннъйшій... Трубинъ (смотрить также, — хватаетъ одной рукой Харцызова за грудь). Ну?

Харцызовъ (спадая съ тона и трусливо). И вооб-

ще, г. инженеръ...

Трубинъ (отпуская Харцызова, отходить и—со стиснутыми зубами). То-то. Я вамъ дамъ почтеннъйшаго. (Къ Ивину, кивая головой на Харцызова). Вотъ—глупъ, подлъ и такъ жаденъ, что въ концъ концовъ сожретъ самаго себя.

Харцызовъ (заученнымъ тономъ). Г. инженеръ. Я сегодня считаю своей обязанностью предупредить васъ, чтобы вы потрудились приготовить фабрику къ сдачъ другому инженеру, который заступить на ваше мъсто черезъ недълю.

Трубинъ. Вы со своимъ предупреждениемъ опоздали.

Харцызовъ. Какъ, г. инженеръ? что?

Трубинъ. О томъ, что я не хочу у васъ служить, мною было заявлено вашему управляющему недълю тому назадъ. Сегодня истекъ срокъ, и завтра на фабрикъ вы меня не увидите.

Харцызовъ (къ Лъсницкому). Что же это такое? Почему вы мнъ объ этомъ своевременно не заявили.

Лѣсницкій (нагло). Такого заявленія отъ г. Трубина ко мнѣ не поступало.

Трубинъ (спокойно). Мерзавецъ.

(Варвара тихо плачеть).

Демидъ (къ ней—сурово). Видишь? Погоди: и ты дождешься того, что тебя отсюда попросять.

Варвара (подходить къ мужу, — слабо и безпомощно). Какъ же ты могъ? (преображаясь, внезапно съ силой). Чаша моего терпънія переполнилась! (указывая на Лѣсницкаго). Вонъ! сію минуту вонъ!

Харцызовъ. Что?

Варвара. Немедленно его удалить!

Харцызовъ (взвизгивая). Удалить? его удалить?—Нътъ! Я удаляю того, кого нужно.

Варвара (топая ногой). Вонъ! Еще разъ прошу: сію минуту—вонъ!

Харцызовъ. Не будетъ этого. Не будетъ! Довольно, почтеннъйшая! Я много кое-чего дълалъ по вашему, а теперь не кочу. Тотъ чадъ, который мнъ туманилъ голову со дня нашей свадьбы — прошелъ.

Варвара (къ Трубину). Почему вы мит не сказали о томъ, что оставляете фабрику?

Трубинъ. Полагалъ, что не къ чему.

Варвара. Напрасно. Мнъ это нужно было знать.

(Трубинъ внимательно глядитъ на Варвару).

Харцызоврь (то къ жент, то ко встить—съ нафосомъ). Женитьба на васъ, почтеннъйшая, кажется мнъ теперь проклятымъ гавожденіемъ. Но... я

сумъю... я сумъю исправить ошибку, нъкогда созданную моимъ безуміемъ и великодушіемъ... Теперь не вы меня, а я васъ, почтеннъйшая, буду держать въ ежовыхъ рукавицахъ.

Варвара. Да?

Харцыз'овъ... (ко всёмъ). Говорятъ: культура, прогрессъ, цивилизація очеловёчили насъ... Очеловёчили? А гдё у насъ, позвольте спросить, нравственныя устои? (къ женё). У васъ, почтеннёйшая, ихъ нётъ; я вамъ покажу ихъ! Я вамъ...

Ивинъ. (Лъсницкому, со смъхомъ указывая на Харцызова). Вашъ ученикъ гастролируетъ.

Харцызовъ... дамъ ихъ почувствовать!

Варвара. Когда на человъка обрушится внезапно что-нибудь большое, тяжелое, то онъ сразу потеряетъ сознаше и не пойметъ, что съ нимъ случилось несчастье. Не такъ вышло у меня. (указывая на мужа). Медленно-медленно, при полномъ сознаніи, я годами чувствовала, какъ отвратительно-пошлая тяжесть въ лицъ этого человъка росла, росла, а я, подъ давленіемъ ея,—слабъющая, изнемогающая,—хотъла жить, жить и жить!

Харцызовъ. Вы, почтеннъйшая...

Ивинъ. Оказывается, у гастролера еще что-то въ запасъ есть.

Варвара (въ мужу). Молчи! Жалій. Несчастный Харцызовъ (забываясь оть бёшенства и—грубо). Нёть, ты молчи! Я тебё покаж-жу! Акула! (Ивинъ подходить къ Харцызову, береть подъ руку и силой ведеть въ уголь гостинной).

Харцызовъ (упираясь). Позвольте! Позвольте! Вы что?

Ивинъ. Если самъ никогда не былъ серьезнымъ человъкомъ и никогда не говорилъ серьезныхъ вещей, предоставь говорить ихъ другимъ.

Владиміръ (съ кохотомъ). Вотъ такъ комедія. (Ивинъ старается силой усадить Харцызова на стулъ). Хлюпни! Хлюпни его! Словомъ — нечего съ недоноскомъ церемониться. (Ивинъ усаживаетъ). Вотъ такъ дрюкнулъ. (Трубинъ, Демидъ смъются).

Ольга. Господа. Господа.

Лъсницкій (идеть къ Ивину). Ивинъ. Какъ вы смъете употреблять насиліе?

Трубинъ (загараживая дорогу Льсницкому). Ну?

Лъсницкій (отступая). Иванъ Семенычъ, протестуйте!

Всякая тля будеть здёсь командовать, а ты...

Харцызовъ (вырывая руки у Ивина). Какъ вы смъете?

Ивинъ. Ты, Владиміръ, здёсь не козяинъ чтоли? Послё этого не уважаю тебя.

Владиміръ. А и въ самомъ дълъ. (вскакиваетъ и идетъ къ Лъсницкому). Словомъ—ты что тутъ?

Ольга (подбігаеть къ Владиміру и схватываеть его за руку). Господи! Господи! Скандаль... Какъ въ кабакъ!

Владиміръ (рвется къ Лѣсницкому). Пусти. Словомъ—дай я хоть разъ покажу этому мерзавцу... Ивинъ (реветь). Ат-ту его!

(Владиміръ вырывается отъ Ольги. Лѣеницкій скрывается въ лѣвую дверь).

Владиміръ. Вездѣ найду. Словомъ—никуда не скроется. (исчезаеть за Лѣсницкимъ, Ольга за Владиміромъ).

Харцызов т. Лъсницкій! Лъсницкій! (Къ Ивину). Пустите! Бога ради пустите! (плачеть). Что я вамъ сдълалъ? Что? Я—такой безсильный и безвредный человъкъ...

Ивинъ. Пой. Пой. Ты— безволенъ, безхарактеренъ, но ты можешь исказить и обезобразить жизнь другимъ болъе, чъмъ иной суровый и жестокій человъкъ.

Трубинъ. Върно. Безсиліе ничтожной личности—гнусняй хищный звърь; сила, одухотворенная разумомъ человъка,—великодушіе. (къ Варварь). Жизнь, это—точно огромный хлѣвъ. въ немъ люди сами же построили себъ массу перегородокъ, а потомъ жалуются, вопять, что имъ тъсно душно, нътъ свъта. Сильные ломаютъ все, что имъ мъшаетъ. Какъ поступите вы?

Варвара (подумавь). Что нужно для того, чтобы итти въ жизнь вмъстъ съ такимъ человъкомъ, какъ вы?

Трубинъ. Вавъсить свое чувство, разобраться въ немъ; и если оно вложитъ въ ваше сознание въру въ меня, въ наше счастие, то... вотъ вамъ моя рука! (протягиваетъ руку. Харцызовъ, туно моргая глазами, прислуживается. Демидъ весь—внимание).

Варвара. Не нужно ли еще чего?

Трубинъ (убираетъ руку, морщится и—угрюмо). Есть еще одно: при совмъстной жизни вы не всегда и не во всемъ будете имъть полную свободу дъйствій.

Варвара (отступая шагъ назадъ). Почему?

Трубинъ. Потому: если два человъка въ одной лодкъ попадутъ въ опасное теченіе, то болъе сильный изъ нихъ, во избъжаніе гибели обоихъ, долженъ подчинить себъ слабаго и руководить имъ.

Варвара (тихо). Подчинить? Руководить? (внезапно—со страстью). Это грубо. Такія вещи не надо говорить!

Трубинъ. А я, наоборотъ, считаю, что надо. Варвара. Я такой жизни не хочу.

Трубинъ. Какъ котите. Вы мив дороги, но двло мив дороже васъ. Повторяю: жизнь со мной, это—жизнь опасностей. И какъ новичекъ въ моемъ двлв, вы, если это понадобиться, должны подчиняться мив безусловно.

Варвара (неопредъленно). Да...

(Демидъ вскакиваетъ и, подойдя къ звонку нажимаетъ киопку).

Харцызовъ (хватаясь за голову). Господи! (въ женъ). О чемъ ты съ нимъ говоришь? Чего ты отъ него хочешь?

Трубинъ (къ Варварѣ). Знаете—жизнь мудра. Она, какъ алчный ростовщикъ, держитъ свои сокровища въ тайнъ, а людямъ показываетъ мишуру за золото, а золото—за мъдь. Все, что въ ней не имъетъ цъны, она выдвигаетъ предъ близорукими людьми подъ такимъ угломъ зрънія,
что малоцьное кажется блестящимъ, заманчивымъ, дорогимъ, а то, что имъетъ великую цъну,
она прячетъ въ свои лабиринты. Нужно итти
искать это великоцьное! И чтобы не обмануться,
нужно при поискахъ принять себъ за правило,
что хорошее, цънное въ жизни—въ маломъ, а
это-то малое и есть въ жизни великое... Такъ и
вы: у васъ нъкогда было въ жизни корошее, цънное, но жизнь обманула васъ... (указывая на обстановку). Развъ это стоитъ того, что вы имъли? И
если бы допустить, что комфортъ, роскошь здъсь
вы любили, то какой дорогой цъной вами это
покупалось?

Варвара (подходить къ Трубину и береть его за руку). Иду съ вами. И объ одномъ прошу: никогда и ни чъмъ не напоминайте мнъ о жизни здъсь. Я кочу забыть эту жизнь, вытравить ее изъ памяти.

(Входитъ Поля).

Трубинъ. Объщаю.

Харцызовъ (вскакиваеть). Господи! Какой позорь! Какой позорь! (жень). Это что значить?

Демидъ (къ Полѣ строго, указывая на Варвару). Барыня сегодня ѣдетъ. Собирай ея вещи поскорѣе. Поля (къ Варварѣ). Какія вещи прикажете собрать?

Варвара. Никакихъ. Идите, Поля. (въ Демиду). Дядя, ты напрасно позвалъ Полю. Я ничего отсюда не возъму.

Демидъ. Свое возьми.

Варвара. Своего у меня, дядя, здёсь ничего уже нътъ. Уйду—въ чемъ есть.

Хрцызовъ (пораженный). Ты уходить? Ты уходить? Сты общенствомъ). Ну, нътъ. За меня права, законъ!

Варвара. Ивинъ, прощайте! Дядя, (указывая на Трубина) черезъ два часа будь у него: тамъ увидимся. (идетъ съ Трубинымъ къ дверямъ).

Харцызовъ (бросаясь за ними). Ну, почтеннъйшая, нътъ... Отъ меня не такъ-то легко уйти!

Трубинъ (заступая Хардызову путь). Тубо.

Варвара (къ Трубину). Оставъте его. Что можетъ сдълать такой жалкій? (смотрить на мужа).

Харцызовъ (плачеть). Варя, — не уходи. Не уходи. Не оставляй меня. Я передъ тобой виновата. Я тебъ все дамъ. Дамъ много денегъ. Помогай людямъ!...

Варвара. Не повърю. Опять обманешь.

Харцызовъ. Я? (выхватываеть изъ кармана книжку). Сколько? Пятьдесятъ тысячъ?

Варвара. Мало.

Харцызовъ. Сто.

Варвара. Мало.—Двъсти тысячъ.

Демидъ (къ Варваръ). Дъвонька, не върь. Есть нословица: тонетъ — топоръ сулитъ; вытащатъ — и топорища жаль.

Харцызовъ (послѣ момента колебанія). Даю! Потомъ еще больше дамъ. (вдетъ къ столу).

Ивинъ. Ужъ не чекъ ли въ банкъ писать?

Харцызовъ (напыщенно). Да, чекъ. Сейчасъ при всъхъ. Вы думаете, — я что? Мнъ върить нельзя? Плохо меня всъ здъсь понимаютъ. (садится въ столу, развертываетъ чековую книжку).

Варвара. Не трудись. Не надо мнв твоихъ денегъ. Во первыхъ, слишкомъ поздно ты на это ръшился, а во втерыхъ жизнь съ тобой меня многому научила. Какая польза будетъ отъ твоихъ денегъ? Я знаю: я буду помогать твоимъ рабочимъ, а ты — все, что дашь мнв, постараешься выжать изъ нихъ же. Вотъ если бы ты былъ самъ добръе, тогда другое дъло. Но ты добрымъ быть не можешъ. Люди, сознаніе которыхъ не знакомо съ высшимъ порядкомъ человъческихъ чувствъ, подлы. Они иногда щедры къ тому, что имъ дорого, а что имъ не нужно или къ чему они равнодушны, они эгоистичны и жестоки.

Харцызовъ. Я буду добръ! И къ своимъ ра-

Варвара (къ мужу, съ поклономъ). Прощай.

Трубинъ (Варварв). Время еще есть подумать. Повторяю: жизнь со мной—это жизнь опасностей. (обводя жестомъ гостинную). Подобнаго у насъ никогда не будетъ ничего. Подумайте!

Варвара. Мнѣ нечего думать. Разъя съ вами иду—значить все обдумано. Я не скажу, что я вполнѣ рѣшила, что вы тотъ человѣкъ, который мнѣ нуженъ. Можетъ быть, я въ васъ ошибусь. Пусть будетъ такъ. Но лучше въ поискахъ луч-

шей жизни ошибки, чты сидть здёсь, (жесть на гостинную) не предпринимая ничего.

Трубинъ. Это такъ. Но...

Варвара (бурно). И наконецъ: что за предупрежденія? Не подходящій я вамъ человъкъ—идите отъ меня прочь. Пойду одна! Одинъ всегца или скоръе погибнетъ, или скоръе научится понимать лицо жизни.

Трубинъ (увлекая Варвару). Всюжизнь сътвмъ, въ чемъ она состоитъ и что дастъ, — все пополамъ.

Демидъ (въ упоеніи). Вотъ голова! вотъ голова! Такая голова, что ажъ жалко, что я не баба. (къ Харцызову. Спокойно, насмѣшливо). А ну, почтеннъйшій, что? а? гдъ жена?

Харцызовъ (растерянно озираясь по гостинной). Жена?

И в и н ъ (протираетъ глаза и, оглядывая гостинную съ такимъ видомъ, точно еще не въритъ происшедшему,—тихо). Неужели ушли? (еще оглядываетъ гостинную — къ Харцызову). Ну, что ты нахохлился? Понимаешь ли ты, что твоя жена... что свою жену ты продюдюлилъ? (хлопаетъ въ ладоши и во всю силу легкихъ). Люди, люди! Всъ, кто есть въ этомъ домъ—сюда!

(Харцызовъ, недоумъвая, смотритъ на Ивина. Демидъ смъется. Воъгаетъ Ольга, за ней—Владиміръ. Изъ за дверей выглядываютъ: Поля, кухарка).

Ольга (испуганно). Что такое здёсь?

Демидъ. Здъсь, дъвонька, такія дъла... такія дъла... (радостно). Племянница-то моя... племянница-

то... Ушла съ господиномъ механикомъ. Вотъ разбойница!

Владиміръ. Куда ушла?

Демидъ. Куда?—Жить. У мужа-то вишь, нехорошо показалось...

(У Харцызова подавленный и уничтоженный видъ).

Владиміръ (поглядывая на него, — съ вдкой улыбкой). Вотъ такъ клюква!

Демидъ. Такъ... Такъ.. Рыба-то ищетъ, гдъ глубже, а человъкъ---кто лучше.

Владиміръ. Ты, старикъ, кажется, одобряешь поступокъ своей племянницы?

Демидъ. Ну, какъ сказать? Пусть ужъ это останется при мнъ. Племянница у меня не маленькая. Какъ котъла, такъ и сдълала. А я... не мой конь, не мой и возъ!

Владиміръ. И хитеръ ты, старая бестія.

Ольга (къ Ивину). Завтра въ этомъ домъ не будетъ ни одной женщины.

Владиміръ. (неопредѣленно) Ни одной... (задумывается).

Ивинъ. (къ Ольге) А вы-то куда денетесь?

Ольга. Десять разъ вамъ уже говорила, что уъду. Вещи уже всъ уложены. Черезъ часъ ъду. (Ивинъ молчитъ).

Ольга. Вы мив ничего не скажете?

Ивинъ. Что вамъ сказать? — Скатертью дорога!

Ольга. (съ болью) И только? Въдь мы здъсь съ вами видълись чуть-ли не изо дня въ день нъ-

сколько лътъ... Мы привыкли другъ къ другу... И в и н ъ. (смотря на Ольгу) У меня къ вамъ привычки не было, а вы, какъ привыкли, такъ и отвыкнете.

Ольга. (тихо идеть къ двери) Прощайте.

Ивинъ. Желаю счастья. Не поминайте лихомъ.

Ольга. (не дойдя до двери, останавливается, — махая рукой) Все равно! (быстро идеть къ Ивину, съ волненіемъ, смущенно) Въ послівдній разъ... Къ чему вы здівсь останетесь? Всів ушли отсюда... Съ ківмъ вы здівсь будете? (съ глубокимъ чувствомъ) Милый. У вдемте со мной. Я богата...

Ивинъ. Меня не купите.

Ольга. Не то... не то...

Харцызовъ. (вскакиваеть) И ты, моя—сестра? Развратница!

Ольга. (не обращая на брата вниманія) Я хотіла сказать, что съ моими деньгами вы, можеть быть, надумаете приняться за какое-нибудь хорошее діло. Я вамъ буду помогать...

Ивинъ. (угрюмо) Оставьте меня. Неужели вы въ теченіе нъсколькихъ лътъ не могли понять, что того, чего вы отъ меня хотите, я вамъ не могу дать.

Ольга. Ничего я отъ васъ не хочу. Не можете меня любить, такъ хоть дайте мнв быть около васъ всегда. Быть сестрой, другомъ... Я и этимъ буду счастлива. Въдь я сама не знаю, что у меня къ вамъ. Иногда хочется подойти къ вамъ и

придаскать такъ, какъ мать своего ребенка... Только какъ ребенка...

Ивинъ (перебивая). Въ такія чувства я не върю. Это такъ—пока сейчасъ говорите...

Демидъ (къ Ольгѣ). Его забудь. Вонъ изъ головы! Онъ что—ушибленный человъкъ. Съ нимъ иъсню хорошо не споешь...

Ольга (подходеть въ Демиду. Цёлуеть его). Дёдынька! Дёдынька! (плачеть). Спасибо тебё, дёдынька. Научилъ меня... Уёду отсюда... И можетъ быть, забуду (указываеть на Ивина) его... (быстро выбёгаеть).

Владиміръ (посмотрѣвъ Ольгѣ вслѣдъ). Чортъ знаетъ что. О чемъ-то говорятъ... за что-то благодарятъ... ничего не понимаю.

Демидъ. Смъкалка у тебя слабовата.

Владиміръ. Ну, ну... ты того... Словомъ-

Ивинъ (въ Владиміру). Оставь старика. Ступайка ты лучше за водкой, за пивомъ. Будемъ пить, пить, пить...

Владиміръ. На это прислуга есть.

Ивинъ. Завтра и она сбъжитъ.

(Владиміръ звонитъ. Входитъ Поля).

Владиміръ. Поживъе: водки, вина сюда.

Харцызовъ (къ Полѣ). Пошли тамъ кого нибудь за Лъсницкимъ. Пусть немедленно идетъ сюда. Поля. Онъ здъсь. Ждетъ вашихъ приказаній.

Лъсницкій (изъ пріотворенной двери). Глубокоуважаемый Иванъ Семенычт, я здесь. (Харцызовъ бросается къ двери).

ВОЛНА.

Владиміръ (къ Лъсницкому). Идите. Бить васъ теперь не буду.

Л всницкій (входя и сь опасеніемъ поглядывая на Владиміра). Шутить, глубокоуважаемый Владиміръ Семенычъ, изволите.

Ивинъ. Ну, Лъсницкій, будьте теперь здъсь козяиномъ. Теперь вы здъсь поцарите.

Харцызовъ (къ Лъсняцкому). Другъ! дорогой другъ! У меня случилось что-то страшное... неожиданное... Жена ушла.

Лѣсницкій (развязно). Успокойтесь, успокойтесь. Дѣло, можеть быть, еще поправимо... Вы только не поддавайтесь первому впечатленію. (Къ Владиміру и Ивину). Не унывайте, господа. Не унывайте! Мы теперь всѣ, если можно такъ выразиться, (злорадный взглядъ на Харцызова) на вдовьемъ положеніи... Но въ немъ развѣ нѣтъ своей прелести? (къ Харцызову). Забыть... вамъ жену надо забыть.

(Поля подаеть на большомъ подносѣ вина и стаканы. Всѣ, исключая Лѣсницкаго и Демида, наливають каждый себѣ и пьють).

Харцызовъ. Забыть? Какъ больно думать... Лъсницкій. Иванъ Семенычъ, свътъ не клиномъ сошелся.

Харцызовъ... что она будетъ принадлежать другому.

Лѣсницкій. Да... да... Но есть дамочки... малина съ молокомъ!

Харцызовъ. Что?

Л в с н и ц к і й. Мы, если такъ можно выразиться, въ недалекомъ будущемъ разыщемъ здвсь... (Затрудняясь) вообще... деликатно выражаясь: есть парники, въ которыхъ такія огурчики наливные произрастають, что... прямо облизнешься!

Харцызовъ. Да? (со злобой). Моя жена ушла отъ меня. Чёмъ я ее обижалъ? Чего ей не доставало?

Л всницкій. Глубокоуважаемый Иванъ Семенычь, всякій здравомыслящій человвкь вась пожальеть... Сочувствіе общества будеть на вашей сторонь.

Харцызовъ (растроганно). Другъ! Идемте выпьемъ. (Идутъ, наливаютъ, чокаются и пьютъ).

Владиміръ. Теперь въ этомъ домъ, исключая прислуги,—ни одной женщины. (Съ теской). Уъхали онъ... сбъжали...

Демидъ (къ Владиміру). А узжай-ка, братъ, и ты. Владиміръ. Я? (думаеть). Куда я уъду? (кричить). Мнъ некуда ъхать. Словомъ—у меня нигдъ ни одной не только близкой, но и знакомой души, нътъ!

Харцызовъ (къ Владиміру). Что кричишь? Нужно быть корректнымъ... У меня не такое несчастіе, но я... перенесу его гордо. Сочувствіе общества на моей сторонъ.

Владиміръ (съ презрѣніемъ). Молчи, братъ. (Съ усмѣшкой). Сочувствіе общества на твоей сторонѣ. Ну, и будь доволенъ этимъ. (Къ Ивину,—съ тоской). Ивинъ. Ивинъ. Что мнѣ сейчасъ пришло въ го-

лову... Понимаешь: ты, я,—мы внѣ жизни. Мало этого: каждый изъ насъ и самому себѣ не нуженъ... Къ чему же жить? Начинать жить снова— нѣтъ ни силъ, ни желаній. (Ивинъ въ отвѣтъ махаетъ рукой).

Лъсницкій. Не унывайте, глубокоуважаемый, Владиміръ Семенычъ. Погодите: вы оживете. (указывая на гостинную). Въ этихъ стънахъ въ недалекомъ будущемъ, вмъсто царившей здъсь до сихъ поръ пустоты и скуки, жизнь забьетъ ключомъ. Не будь я Лъсницкій, если этого не будетъ.

Владиміръ. Въ томъ, что это будетъ, я увъренъ.

Лѣсницкій. Такъчто же унывать? Если вамъ скучно безъ дѣла, то у меня относительно вашей фабрики грандіозные планы...

Владиміръ (нетерпъливо). Знаю. И это знаю.

Лъсницкій. Я хочу на фабрикъ ввести массу нововведеній, усовершенствованій...

Владиміръ (грубо). Отстаньте вы отъ меня къ чорту со своей фабрикой. Жрите ее у брата. Я вамъ въ этомъ не мъщалъ и не помъщаю. (Лъсницкій отходить съ Харцызовымъ въ уголь гостинной; о чемъто тамъ тихо шепчутся).

Владиміръ (подходя къ розлю). На немъ играла Аглая... (медленно беретъ звенящіе отчаявіемъ и болью акторды). Къ чему же жить? Когда здёсь была Аглая—я иногда вёрилъ: она спасетъ меня. Теперь думаю иначе... Словомъ меня трудно спасти. (глухо). Знаешь, Ивинъ: есть что-то проклятое во мнъ...

Я люблю женщинъ. Я не могу безъ нихъ жить... Ивинъ. Й живи. Женись—и живи.

Владиміръ. Легко сказать. Жениться на одинъ-на два мъсяца? Правда, иногда думается, что, можетъ быть, и есть женщина, способная привязать меня къ себъ на всю жизнь. Но если такая не встрътится, что тогда? Словомъ-въчные поиски... Да и какъ искать? Лгать я не могу. А такъ... словомъ, если своевременно оговорить, что сходишься, можеть быть на кратковременную связь-какая же женщина на это пойдетъ? Но, наконецъ, и это бы ничего: ищу, но не нахожуну, и ладно. Главное: за такой образъ жизни люди меня будутъ презирать. А я этого не могу выносить, какъ не могу и понять: во имя какой морали они будуть имъть право презирать меня? А презирать они будуть. Будуть жестоко, злобно, тупо топтать въ грязь не задумываясь надъ тъмъ, что топчутъ человъка, который если и другимъ причиняеть страданія, но глубоко страдаеть и самъ. И вотъ, если бы я былъ Лъсницкимъ-я бы могъ жить... Но я-не онъ...

Лѣсницкій. Пустяки. Плюньте, глубокоуважаемый, на людей. (подходить къ Владиміру). Хотите, я васъ научу, какъ переступить одну границу... И когда вы ее переступите, кы будете на неуваженіе, на презрѣніе людей смотрѣть спокойно.

Владиміръ. Эхъ, Лъсницкій. Въ сущности, презирая васъ, я былъ неправъ. Словомъ, я, можетъ быть, то же, что и вы, но только не совсемъ

изъ одного тъста. Вашей границы я переступить не могу... (къ Ивину—взволнованно, сдерживая слезы) Ивинъ. Изъ всъхъ мужчинъ, которые мнъ встръчались на моемъ въку, я тебя одного почему-то любилъ. Ты былъ ко мнъ иногда суровъ, грубъ, но я знаю, что ты меня когда-нибудь вспемнишь съ добрымъ чувствомъ... (быстро идетъ въ лѣвую дверь)

Ивинъ. Владиміръ. Владиміръ. Вернись!

Владиміръ (изъ другой комнаты). Ты меня еще увидишь. Сейчасъ у меня одно дъло. Словомъ, боюсь, какъ бы ты не помъщалъ.

Поля (выходить изъ правой двери, спокойно къ Харцызову). Баринъ, на фабрикъ пожаръ.

Лъсницкій и Харцызовъ (вмъсть). Что?

Поля. Фабрика горить. (со страхомь). Говорять, что рабочіе и домъ хотять поджечь.

Лвсницкій. Кто говорить?

Поля (уходя). Сами же рабочіе.

Лѣсницкій. Пойду къ телефону. (убъгаеть въ лъвую дверь. Ивинъ встаетъ, тушатъ люстру, сдергиваетъ съ оконъ шторы. Гостинную заливаетъ зарево пожара. Харцызовъ, схватываясь за голову, становится у окна. Его поза—исиреннее отчаяніе).

Ивинъ (къ Харцызову со злобнымъ презрѣніемъ). Смотри! Любуйся! Про тебя можно сказать: ты—баловень. Судьба тебъ дала богатство, дала хорошую жену. Но что ты людямъ далъ? Ничего! Но™жизнь щедра. Она безжалостно, неожиданножестоко щедра: жены у тебя уже нътъ, фабрика горитъ. Но придетъ время, когда ее у тебя и

совсёмъ не будетъ. Это будетъ то время, когда жизнь дастъ тебъ то, чего ты достоинъ.

Демидъ (выступая передъ Харцызовымъ). Вѣрно. У жизни хоть и нѣтъ словъ, но она прикажетъ тебъ: а ну, молъ, рядись ворона, на забаву людямъ въ павлинья перья...

Харцызовь (въ бъменствъ). У человъка несчастье, а вы что? Звъри! (къ Демиду). Ты... чортъ старый! Богомолъ... По святымъ мъстамъ ходишь, а жену, сестру, Аглаю... всъхъ, мерзавецъ, развратилъ!.. (подступаеть къ Демиду съ кулаками). Я тебъ сейчасъ покажу!..

Ивинъ (слегка толкаетъ Харцызова—онъ отшатывается на нѣсколько шаговъ). Оставъ старика. Старикъ, кому можно, добра желаетъ. Развѣ въ томъ, что здѣсь произошло, одинъ старикъ виноватъ? Виноватъ ты, Лѣсницкій, Владиміръ... мы всѣ виноваты. Мы создали здѣсь скверную жизнь, а старикъ воспользовался этимъ и подтолкнулъ кое-кого и куда слѣдуетъ. (глядитъ на Харцизова съ сожалѣніемъ). А впрочемъ, зачѣмъ я съ тобой говорю? Ничего, Харцызовъ, ты не понимаешь.

Демидъ (къ Ивину). Это върно. И смъшной онъ... Хотълъ рыкнуть, какъ левъ, а вышло тявкнулъ, какъ щенокъ. (хмуро къ Харцызову). Эхъ, ты православный мой. Развъ ты меня можешь обидъть? Меня вотъ жизнь обидъла разъ—да такъ: до могилы! (къ Ивину). Господинъ учитель, уйдемъ отсюда. Теперь въдь мы не къ мъсту тутъ? а?

Ивинъ. Оставь меня дъдъ. Ты сказалъ, что я "ушибленный человъкъ", что пъснь со мной хорошо не споешь... Ты—върно сказалъ.

Демидъ. А все-таки. Ты—учитель. Дфтишекъ

бы учить. Въдь это больно хорошее дъло.

Ивинъ (съ болью). Старикъ, я любилъ свое дѣло; я имъ жилъ. Но у меня его отняли. И когда это случилось, я понялъ, что жизнь кончена.

Демидъ. А кто отнялъ-то?

Ивинъ. Я—учитель, уволенный по циркуляру. Знаешь, что такое циркуляръ? Это...

Демидъ. Знаю. Какъ не знать? Чай, я русскій человъкъ...

Ивинъ. Жизнь, старикъ, кончена!

Демидъ (увыло). Эхъ, болъзный ты мой... (чешеть затылокъ, — живо). А ты бы 'того... пойдемъ гулять со мной? Это пользительно и любопытно... Можетъ быть, и отудбишь...

Ивинъ. Старикъ, я тебя понимаю. Но пойми и ты меня: то дерево, которое зачахло оттого, что на много лътъ было заслонено отъ лучей солнца —ничъмъ не оживишь.

Демидъ (грустно). Статья... (думаетъ). Да, что върно, то върно: ты, господинъ учитель, такой камень, который не скоро съ мъста сдвинешь... (пауза—весело). Ну, комаръ меня укуси... Надо прогуляться въ Герусалимъ.

Ивинъ. Ты бы съ весны, а то, въдь скоро осень.

Демидъ. Это ничего. Правда, я бы погостилъ здъсь еще, да не къ чему. Прощай, господинъ учитель. (Кланяется Ивину. Ивинъ молча отвъшиваетъ Демиду почтительный поклонъ. Демидъ, взглянувъ на Харцызова, качая головой). Ну, православный мой, пойду посмотръть, какъ твое добро горитъ. Другого бы пожалълъ, а тебя нътъ. (идетъвъ правыя двери).

Харцызовъ. Вонъ отсюда, чортъ старый!

Лѣсницкій (входить. Блёдень, взволновань). Телефонь, очевидно, порвань. Звониль-звониль—отвёта нѣть.

Харцызовъ (тономъ хозяина). Вы, Лъсницкій, должны итти туда.

Лѣсіницкій. Не могу. Фабрика окружена рабочими. Они, какъ передаетъ ваша домашняя прислуга, крайне возбуждены.

Харцызовъ (умоляюще). Лѣсницкій, идите... Спасите, что можно спасти. Вѣдь еще неизвѣстно, заплатитъ ли мнѣ убытки страховое общество. Скажетъ: поджогъ устроенъ рабочими, а мы за это не отвѣчаемъ. Лѣсницкій, идите туда.

Лѣсницкій (дерзко). Если бы я и пошель, думаю, что это будеть безполезно. Но я не пойду: жизни своей я вамъ не продаваль. Я вамъ давно говориль: увольте Трубина. Вы медлили. (Указывая на зарево). А теперь воть любуйтесь: это дѣло его агитаціи.

(въ гостиную гулко врывается звукъ выстрела).

Харцызовъ (бросаясь въ уголъ гостинной, — съ ужасомъ). Рабочіе! Сюда идутъ. О, Боже!

(Ивинъ спокойно налеваетъ вино и вьетъ. Лѣсницвій со скрещенными на груди руками застываетъ среди гостинной. Съ полминуты полная тишина).

Поля (вобгая и на обгу). Владиміръ Семенычъ... (круго останавливается среде гостинеой) застрълился!

Л всницкій. Неужели?

Поля. Ужасти! Ажъ мозги у него изъ головы вылетъли! (Ивинъ встаетъ и уходитъ).

Лъсницкій (радостно). Миръ его праку!

Харцызовъ (выходя изъ угла и облегчение). А я подумалъ, что рабочіе сюда пришли.

Лъсницкій (къ Харцызову). Поздравляю: вы теперь полный хозяинъ фабрики. Все—ваше.

Харцызовъ (съ поклономъ). Благодарю. (равнодушно). Братъ что? Негодный быль человъкъ... (съ гордостью). Что онъ такъ кончитъ — я это зналъ. (подходитъ къ окну, — съ отчаяніемъ). Горитъ! Горитъ! Какой убытокъ.

Поля (къ Хардызову). Баринъ. Какъ же тамъ Владиміръ Семенычъ? Одинъ онъ. Надо бы туда итти.

Харцызовъ. Отстань. (указывая на зарево). Видишь? Я долженъ туть быть. Мое добро горитъ. А къ нему итти... Зачъмъ? Что я,—оживлю его? Иди ка къ нему сама.

Поля (ръшительно). Ну, нътъ. (садится на стулъ). Хоть убейте меня, а отсюда не выйду.

Харцызовъ (гивно). Это, почтеннъйшая, почему? Какъ ты осмъливаешься не повиноваться? Поля. Боюсь я. Я въ домъ одна. Дворникъ, кучеръ, кухарка—всъ ушли на пожаръ.

(Входитъ Ивинъ. Онъ крайне возбужденъ, волосы страшно всклокочены, взглядъ дикій, блуждающій).

Ивинъ (глухо къ Лъсникому). Вы понимаете... вы понимаете... Онъ черезъ двъ стъны, у себя въ комнатъ... Мертвъ и одинокъ. Вы понимаете: жилъ человъкъ, и никому до него дъла не было, умеръ—тоже. Мертвъ и—одинокъ. И когда я тамъ смотрълъ на него, меня охватилъ безумный ужасъ. Мертвъ и одинокъ!

Лъсницкій (спокойно съ улыбкой). Мертвыхъ я менъе боюсь, чъмъ живыхъ.

Ивинъ. И я стоялъ тамъ и думалъ: умру я и, можетъ быть, такъ же около меня никого не будетъ. Мертвъ и одинокъ. И я понялъ одно, чего до сихъ поръ не понималъ. Какое страшное заблужденіе... Какой самообманъ. Мнѣ нужна была женщина, нужна была та атмосфера, которая создается семьей, а я увърилъ себя, что жизнь прожить могу и одинъ. Увърилъ, а когда возникали сомнънія, я гналъ ихъ прочь. Но когда я былъ тамъ, около Владиміра, я въ одинъ мигъ понялъ, что создалъсебъложь, въ которую върилъ 15 лътъ.

15 лътъ жизни!.. А скоро, можетъ быть, я и умру и такъ же, какъ и онъ тамъ... буду мертвъ и одинокъ! Что же теперь дълать? Куда уйти отъ ужасаужаса, что я самъ себя обманывалъ 15 лътъ, и ужаса, что когда умру, буду мертвъ и одинокъ.. (хватаетъ руку Лесницкаго). Лесницкій! Лесницкій! скажите, что мнъ дълать?

Л в сницкій. Туть нечего и спрашивать. (указывая на Харцызова). Его сестра-Ольга - женщина хотя и простая, но хорошая и добрая и любить васъ. Идите къ ней.

Харцызовъ (къ Лъсницкому съ негодованіемъ). Но, позвольте, почтеннъйшій. Вы за кого мою сестру считаете? Моя сестра-порядочная женщина!

Ивинъ. Ольга? Ольга? (съ сильной радостью). О. да. Ольга! Ольга! Воть чья любящая рука, когда умру, закроеть мит глаза. Къ ней! Къ ней! Я еще успъю. (идетъ, останавливается). Жаль Владиміра. Если бы онъ сегодня не покончилъ, его, можетъ быть, можно было бы спасти.

Лѣсницкій. Наврядъ-ли. (указывая на стену). Тамъ произошла сегодня не драма-а финалъ ея.

Ивинъ (подумавъ). Пожалуй, да.

Л в с н и ц к і й (подталкивая Ивина). Но идите, идите. Ольга еще не ужхала. (смотрить на часы). Вы еще вастанете ее на вокзалъ.

Ивинъ. Да, да. Но не застану — розыщу. Къ ней! (быстро уходить).

Харцызовъ (злобно набрасывансь на Лесни каго).

Вы чему, почтеннъйшій, человъка научили? Вамъ, почтеннъйшій, кто позволиль? Вы, почтеннъйшій, имъли право...

Лъсницкій (обрывая). Почтеннъйшій. Рэчь у насъ сейчасъ пойдетъ не объ этомъ. Знаете: я быль прежде богать, но когда объдняль, поняль, что я сдълалъ большую ошибку. Какъ я за нее поплатился? Одинъ вы мнъ чего стоили... Теперь настала пора исправить свою ошибку. Около васъ теперь, кромъ меня, никого...

Харцызовъ (жалобио). Да, кромъ васъ, —никого.

Лъсницкій. На моемъ пути-тоже. Вы, собственно, ни на что неспособны. Но я около васъ. Идите и сейчасъ же пишите заявление губернатору о поджогъ фабрики.

Харцызовъ (съежился, --робко). Но я сейчасъ не могу писать. У меня въ головъ ни одной мысли. Да и къ чему писать? А если ужъ писать, такъ пишите вы.

Лъсницкій. Мнъ нельзя. (съ проніей). Кто я? Я-управляющій вашей фабрикой. Воть если бы я быль хозяиномъ ея, тогда, разумъется, ни о чемъ бы васъ просить не сталъ. (серьезно). Трубинъ на фабрикъ развелъ массу неблагонадежныхъ рабочихъ. Надо фабрику отъ нихъ очистить. Ну, идемте. (трегается). Будете писать, какъ и все, что когда-либо вами писалось, подъ мою диктовку. (Харцызовъ, робко и растерянно оглядываясь по сторонамъ,

не трогается съ мъста)

Лѣсницкій (останавливаясь и съ необычайной силой). Почтеннъйшій, Иванъ Семенычъ! Вы слышите? Время дорого. Ну? (указываеть на дверь).

Харцызовъ (стараясь улыбаться). Да... да... Вы дорогой, върно сказали: время дорого.

(Быстро, мелкими шагами трусить за Лъсницкимъ. Поля идетъ за ними. Исчезають въ правыя двери).

Занавъсъ.

"Прокрустово ложе" т. І. цѣна І руб. "Прокрустово ложе" т. ІІ. цѣна І руб.

("Прокрустово ложе" книга третья и четвертая готовятся къ печати)

Изъ отзыва Л. Н. Толстого.

...Очень интересная книга! Книга заставляеть задуматься...

Изъ отзывовъ печати.

... Въ этой книги разсказана исторія жизни и мысли, — исторія исканій житейскихъ и литературныхъ, больного литератора изъ рабочихъ, представляющая громадный общественный интересъ.

...Эта книга увела насъ за предъды дитературы, увела въ жизнь, гдъ тысячи, быть можетъ, милліоны людей съ проснувшейся жаждой полнаго и облагороженнаго существованія, людей, придавленныхъ нищетой, невъжествомъ, скудостью и жестокостью существованія, стучатся въ двери нашей культуры, просятъ хлъба и получаютъ камень...

Русскія Въдомости.

...Несмотря на то, что основная тема г. Сивачева и даже отдёльныя ея подробности уже стали достояніемъ литературы, ("Голодъ" К. Гамсуна, "Дикая орда" Б. Ибаньеса, "Крестьяне-студенты" А. Гарборга) книга его читается съ такимъ интересомъ, какъ будто никто раньше объэгомъ не писалъ. Это впечатлѣніе новизны обусловлено тѣмъ, что книга Сивачева не романъ, а непосредственная живая жизнь. Въ этой книгъ бъется и истекаетъ кровью живое человъческое сердце.

Авторъ не позируетъ передъ читателемъ, не старается

поддълать свою физіономію, не хочеть казаться интересите, чъмъ есть.

Эта искренность, не щадящая ни себя ни другихъ, невольно подкупаетъ.

Современный Міръ.

...Два тома "Прокрустово доже" М. Сивачева действительно редкое явление въ литературъ. Мытарства автора этихъ книгъ свыше человъческихъ силъ. И теперь онъ о этихъ мытарствахъ разсказываетъ ярко, углубленно, съ огромнымъ подъемомъ духа. И когда читаешь его страшныя, кошмарныя книги, гдв каждая страница написана кровью, освящена болью и гиввомъ, тогда становится понятнымъ, какъ этотъ человъкъ, будучи въ тому же еще боленъ хроническимъ недугомъ, имълъ силы столько пережить: это мученикъ своего дара! И дара не малаго. Много въ этихъ книгахъ такихъ блестящихъ мъстъ, гдъ прямо встаетъ экстатикъ: ради возможности творить, онъ не боялся страданій. И теперь, когда какимъ то чудомъ выбился, онъ въ сущности кричить не о своихъ страданіяхъ, а о страданіяхъ души вообще. И крики его настолько сильны, полнозвучны и красочны-я сказаль бы, что въ этихъ крикахъ есть и то отъ нутра подлинныхъ пророковъ...

Весна.

...Виденъ въ авторѣ человѣкъ, дѣйствительно, не мало страдавшій, мыслившій и (достоинство не каждаго писателя) прочувствовавшій свои мысли. Къ Сивачеву можно примѣнить афоризмъ Аполлона Григорьева: "наши мысли суть наши чувства, вымучившіяся до формулъ и опредѣленій*.

...Надо прочесть эти мрачныя, желчныя страницы, не безъ силы и горячности написаннныя,—патетическій обвинительный актъ противъ сопіальной неправды, противъ жизни "опохабленной, поруганной", противъ "пританв-

тагося за завъсой лживыхъ явленій общечеловъческаго гада". чтобы признать въ Сивачевъ, по-крайней мъръ, то дарованіе, которое, по слову римскаго поэта, "versus fecit"—огненный гнъвъ души... Жизненность, наблюдательность, художественныя черточки, мрачный павосъ—достоинства Сивачева.

Недъя.

... Тамъ, гдж авторъ болже или менже объективенъ и просто живописуетъ свои неудачи, несчастья, голодовки, — книга захватываетъ правдивостью, а мъстами она положительно талантлива. Это — человъческій документъ, написанный сокомъ нервовъ и кровью.

Живое слово.

...Эта интересная книга является воплемъ души одинокой, страдающей и обманутой. И нужно признать, что написана она живо, интересно и порой затрагиваетъ рядъ наболёвшихъ возлё нашей литературы вопросовъ...

Свободныя мысли.

...Познакомиться съ книгой Сивачева совътую...Унего имъются такія мъста, отъ которыхъ бросаеть и въ жаръ и въ холодъ и, что очень цънно, не имъетъ "золотой середины"...

...Все у Сивачева въ такихъ цавно невиданныхъ краскахъ: родныхъ и близкихъ ...

...Овъ опускается до неизвёданныхъ и неизвёстныхъ профессорамъ "экспериментальной" психологіи Бехтереву и другимъ, глубинъ человіческаго страданія и психическаго состоянія, когда люди въ одно мгновеніе сходять съ ума, отправляются на висёлицу...

Всей книги Сивачева не перескажеть и интересую-

Огни.

СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ.

Германа Банга. Піо Бароха. Бьеристьерие-Бьерсона. К. Валишевскаго. Якова Вассермана. Томаса Гарди. Карла Гауптмана. Густава афъ-Гейерстама. Жориса-Карла Гюисманса. Бласко Ибаньеса. Маріи Конопницкой. Генриха Манна. Томаса Манна. Менделе-Мойхеръ-Сфоримъ. Джоржа Мередита. Леона Переца. Владислава Реймонта. Отто Рунга. Михаила Сивачева. Августа Стриндберга. Проф. Макса Ферворна. Антоніо Фогаццаро. Шоломъ Алейхема. Александра Ширванзадо. Бернара Шоу. Жорже Экоута.

